

ISSN 0132-0637

Октябрь

4 1999

1999

4

Октябрь



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

4

1999

АПРЕЛЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Татьяна АНДРОНОВА. Безымянная свобода. Стихи	3
Алексей ВАРЛАМОВ. Купол. Роман. Окончание	20
Сергей БАБАЯН. Письма читателей. Рассказ	60
Павел КРУСАНОВ. Три рассказа	78
<i>Нечаянные страницы</i>	
Павел БАСИНСКИЙ. Гражданин мира. Исповедь патриота	96

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Борис ЛЕСНЯК. Мой Шаламов	111
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

<i>«Бывают странные сближения...»</i>	
Валерий ПИСИГИН. Две дороги	130

Александр МЕЛИХОВ. Если соль перестанет быть соленой	171
Год как век	
Рубрику ведет Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ	174

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Алексей ВЛАСЕНКО. Категория «ужасного» в эстетике Волошина. Культурологический этюд	178
Сергей АФАНАСЬЕВ. Игорь Иртенев — зеркало русской капиталистической революции	184
Мелочи жизни	
Павел БАСИНСКИЙ. О понимании	188
В несколько строк	
Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ	191

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Инна БРЯНСКАЯ	<i>публицистика</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 4346 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 02.03.99. Подписано к печати 26.03.99. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 9590 экз. Заказ № 527. Цена 17 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Татьяна АНДРОНОВА

Безымянная свобода

* * *

В летний дождь обложной, когда тучи со всех сторон,
вспоминаю тебя, узнаю,
бесконечно любимая жизнь! Твой великий, суровый закон
и великую слабость твою...

В каждодневной страде вспоминаю друзей и родных,
и мне кажется, там
не хватало любви. Разных чувств, грозových, проходных,
было много, не счастье, но в замученной жизни славянским чертам
не хватало тепла и любви —
от рождения лишь отрешенность в крови,
лишь усилие выжить в тисках ледяных, разводных.

Грустно мне вспоминать в летний дождь кольцевой, обложной,
наш погубленный век,
видеть лица людей с вездесущей печатью, тройной:
горечь нищей судьбы, безнадежность и гнев на столетья вперед!
Видеть целый народ,
словно это один человек!
Дай Бог силы не сгинуть, не умереть
в отупляющем рабстве, в кабале и войне не сгореть!
1996

* * *

Великая ложь по Земле гуляет.
Великая месть черной тенью — за ней.
Великое горе песню слагает.
Великий плач стал речью людей.
Но мы еще живы! Нам негде укрыться,
кроме родной, терпеливой Земли,
но, кровью размытая, бредит земляца,
чтоб Ноев ковчег, не промедлив, нашли...
1995

* * *

Смешались расы, как в котле,
живем, всегда скорбя от жажды
родного места на Земле,
где нет судьбы в двуликом зле —
на грани общей лжи и правды.
1997

* * *

На стыке кровавых времен
 пусть будет кто-то из нас
 могучим умом озарен,
 великим путем окрылен
 и силой возвышенных фраз!

На стыке кровавых времен
 пусть будет кто-то из нас
 защитником русских знамен,
 пусть будет над ним вознесен,
 народом своим вознесен,
 на тысячу лет, не на час,
 нимб жизни — созвездье имен
 защитников русских знамен!

1998

* * *

Девяностые-судьбоносные
 отмечают вехи народа
 и дороги его перекрестные:
 всю оболганную Россию,
 обворованную Россию,
 оскорбленную, оскверненную,
 всю униженную Россию —
 всю, от гения до урода!
 Среди буйства «братишек младших»,
 ненасытных, наглеющих, прочих,—
 вот она, Россия всех падших,
 наша родина чернорабочих,
 на сто лет вперед убиенная!
 Всем, безумная, поклонилась,
 все другим отдала, блаженная,
 будто с отчим домом простилась...

1995

Трехнедельный рай

Тишина первородная, сушь.
 Вдалеке, за песками,— закат,
 как цветок, украшающий глушь,
 над неведомым входом плакат.

В ясном мире, широко, пустом,
 вечно даль открывает лишь даль,
 за холмом, за травой и кустом —
 снова небо, безмолвье, печаль.

Вижу мысленно древний пейзаж,
 нашу жизнь в полунищем дому,
 но, какая мерещилась блажь,
 не скажу никогда — никому!

Не скажу, как взвивались мечты
 и — в трубу серебристым дымком,
 переливчатым гулом плиты,
 белым паром над чугуном...

Испытала славянская кровь
злое, страшное рабство! Свила
свои гнезда вселенская новь,
нашу жизнь выжигая дотла!

Как мы гибли, я не скажу:
стыдно, давит душевный гнев.
О бессилье своем отложу
говорить, помертвев, побледнев...

Уже нет ни царей, ни вождя,
а надежда, она — будто гром,
затихает после дождя,
ничего не меняет кругом.

Но люблю смотреть до сих пор
в пустоту, через травы, туда,
где небесный, лазурный ковер
расплавляется, как слюда.

Вот он, наш трехнедельный рай!
Дышит жарко летняя степь.
Море, буйствуй, шуми, подпирай
этих гор синеватую цепь!

Этих скал могучую грудь
полощи и целуй без конца!
Здесь мой прадед прокладывал путь
по волне и земле до крыльца.

Дальше шествуй, свободный взгляд,
за предгорья к равнине родной!
Всюду очи от солнца болят,
но душа — от причины иной.

Были молоды мы и сильны,
да наивность — сомнений сильней,
оставляет нам только сны,
но жалеет и плачем о ней.

1999

* * *

Властители мира вонзают
клыки свои в русские кости.
Народы и страны терзают,
наглея, незваные гости.

От гнусного, жадного пира
разрушена жизнь, распята.
Шикуют властители мира,
в беспамятство веруя свято.

Наследные эти тираны
все те же, как были когда-то,
лишь яростней стали их кланы,
в беспамятство веруя свято.

Но будут кровавые эры —
великие битвы, расплата
для тех, кто резвится без меры,
в беспмятство веруя свято!

Им Время примчит извещенье,
вращаясь по вечному кругу,
народную Память — отмщенье,
земную, свирепую вьюгу.

1998

С факелом гнева

Сквозь времена, пустыни и чащобы,
сквозь зло ползучее и хищное зверье
стремимся мы в неведомое, чтобы
не сгрызло нас людское комарье.

Нет отдыха ему, забавы или смерти,
снует без устали кровавое ворье,
и жизнь других веками губит, вертит —
страшнее хищников людское комарье!

Мы одолели бы властителей планеты,
семерок и восьмерок — древнейшее царье,
но бденье вампирят с рассвета до рассвета,
ничем не одолеть людское комарье!

1997

Чужеродец Сизиф

Жизнь с вечною войной
повреждает ум людей:
корчит рожи за стеной
миротворец и злодей.

Заплелись в один клубок,
кто откуда — не узнать!
Родом пламенный совок,
но теперь другая статья.

Может, переделать быль
славных греков для славян,
чтобы древней жизни пыль
золотила балаган?!

Есть легенда в мире том
о тщете иных трудов —
закрутить сюжет винтом, —
и рассказ о нас готов.

Вот — герой, хитрец Сизиф,
тянет в гору, вверх, скалу,
на вершину водрузив,
отправляет вниз, во мглу.

Вверх — усердные труды
и надежды, жизни суть.
Вниз скала — закон орды,
здравствуй, новый, светлый путь!

Век за веком, каждый раз —
к счастью зов, а вспомнить грех.
И летит скала на нас,
в грязь размазывая всех!

Чужеродец, царь Сизиф,
за неверье стал карать:
сеет смерть, как дикий скиф,
учит счастье обретать.

Кто-то против? Ну и что ж!
Мчись, скала! Круши, скала!
Непокорных уничтожь,
чтоб ни места, ни числа!

Так легенды разных стран
(со смещением слов и дат!)
приспособим для славян —
на печальный, русский лад.

1996

* * *

Как прекрасны были реки нашей юности!
Глыбы волн качались, как синие холмы.
Вспышки светлой радости взлетали до безумности,
вспышки горя, будто подступленье тьмы.

Как могучи были сосны над обрывами,
а луна и звезды, как зарево небес,
долгожданной оттепель с ручьями и разливами,
май с лесной черемухой — в серебре завес.

Как целебны были ливни грозовые,
молнии ветвистей, гром сильней, слышней!
Как волшебны были все сказки вековые,
если пережили то, что смерти пострашней!

Как просторны были степи от безлюдности,
в ковылях бесчисленных, ледяющих кровь!
Как прекрасны были годы нашей юности,
если пережили то, что не осилить вновь!

1997

* * *

Нам есть о чем рассказать
и быть виноватым и правым —
славянскую жизнь связать
с Орлом, чужеродцем двуглавым,
с серпом-молотком и ярмом,
двухтысячелетним, бессрочным.

Не надо нам петь о былом
с жестоким коварством, восточным,
и с наглым, продуманным злом
внушать о терпенье народном,
о жалком покорстве природном,
о рабской, осознанной лени,
о том, что в мозолях — колени
и наша судьба — нищета:
лачуги, лохмотья, тщета
до темной тоски, необъятной,
когда будто жизни не ждут,
а призрак, подобие тени,
где бедный, замученный люд
со смертью своею двукратной.

Нам есть о чем горевать!
Мы не за морями-лесаами,
здесь наша земля и вода,
и нету другой, не бывать,—
трагедия наша лишь с нами
(чужая для мира беда!).
Нам есть о чем горевать,
но всех до конца не убили —
мы живы, всему вопреки,
не всю еще чашу испили
и гнев свой не станем скрывать
(хлебнем, значит, дальше, до дна).
Мы живы! Алло, земляки,
вождей и прорабов страна!
Не надо царей созывать
к народу, который сгубили!
Остатки его — велики,
и вечная память — одна,
и мы ничего не забыли.

1997

Безымянная свобода

Здесь, в дикой местности, на озере степном,
где вместе тишина и жизни трепетанье,
где всюду перед синим полотном
гуденье, пенье, щебет, стрекотанье,
где трав, кустов и листьев колыханье,
пестроголовых венчиков, где длится
так долго день, где серебро луны,
его сменяя, светится прозрачно,
как дым поверх небесной пелены,
разорванного облака частица,—
здесь нету сумрака, ничто не мрачно,
лишь серебрянье, одиночество, покой...
Здесь окна дома будто видят сны:
когда светильник, радугу ночную,
погасят вдруг, и в слепоте такой
все стекла серебрятся, оживают
на безучастном дереве стены
(чтоб сказку выдумать, попугчицу земную,
свет, утешенье бренности людской)

и, отсверкав, волшебю застывают.
 Здесь серебрятся даже валуны
 вдоль берега, купаясь в мелководье,
 раздвинув, разметав поверхность слюдяную,
 лежат серебряною, выпуклой строкой
 в искрящейся, серебряной природе
 (как таинство ее, как письма
 услужливо свою цепочку раскладную,
 великий текст, для чтения открывают,
 хоть непонятна весть, неведома цена:..).
 Здесь, в дикой местности, на озере степном,
 где обреченность жизни забывают,
 какой секрет преподнесла она?
 Каким предчувствием нас наделяла?
 Здесь, в первобытном мире,— в лубяном,
 в котле природном, в пекле ледяном,—
 всех безымянная свобода окрыляла.

1996

* * *

Эта бездна над луной
 и крыла туман янтарный
 вслед за ней... Туман угарный
 в синей глуби надо мной,—
 ты меня морочишь тайной,
 беспредельностью небесной,
 неосозанным соблазном,
 как любовь мечтой банальной,
 старой грезою известной,
 все о счастье, вечно разным!
 Только светлый зов души
 шепчет с ветренным притворством,
 не щадя меня, с упорством
 объясняет: «Не спеши...»

1996

Вечер на террасе

Темнеют небеса особой синевою,
 когда луна всплывает, и витает,
 и свет вечерний будто углубляет —
 бездонность вечную, алмазные узоры,
 возникшие над нашей головой.

В такие вечера грустней тебе и мне,
 охватывает вдруг неясная тревога,
 ответа ждет, безумная, у Бога
 в предночь краткое с встающею луной
 в холодной, онемевшей тишине.

Мы чувствуем ее, беседу приглушив
 (так много тайн и чуда накопилось,
 что леденеет горло). Вот явилось
 веление на миг затихнуть, замереть
 всем, кто еще внимателен и жив.

Но почему? Какие там рули
крутились и несли веление природы,
нас заставляя вспоминать исходы,
зависимость от них, божественный порядок,
законы неизбежные Земли...

Но миг прошел, рассеялось в веках
и в звездных грядках это вдохновенье,
мы встрепенулись: прочь, оцепененье,
мистические страхи, и теперь —
поговорим о разных пустяках!

Для них поменьше времени дано,
чем мы хотим, но без вреда поможем
внушить себе, что пошлость не умножим,—
забыв о небе, поднесем друг другу
земное это, горькое вино.

1997

Портрет мироздания

Есть тайны природы — мы странно предчувствуем их,—
незримые тайны, разящие и животворные силы
(единство и рознь ее кораблей кочевых),
летучая воля над сущим началом
и неотвратимым концом.

И медленно Время Природы!
В пространствах глубоких, туманных, глухих
спокойно мерцают алмазные жилы,
там нету ничтожных размеров,
и в небыль отпущены годы,
сцепляются только века за веками в натужном движенье,
кольцо за кольцом.

Но весть подается — небесный, неслышимый миг,—
и знаем мы: Время явилось!

И вот исчезают народы,
не помня древнейшее имя, другие приходят идеи.
Земной изменяется лик!
Так делает шаг человечество в сторону
от разных владычеств, где правят вожди и лакеи,
где много прокорма лишь зверю и ворону,
где рушатся в прах пирамиды и львы неподвижны
(но шарик земной — под когтями),
где стонут от вечного рабства плебеи
и землю опять и опять начинают своими костями,
где наступает безвременье или усилие тех и других.
И не прекращается этот театр, и счастливы в нем лицедеи...
Но медленно Время Природы в пространствах туманных, глухих.

1997

* * *

Печальна русская земля
в предзимний сумрак с холодами,
еще печальней со снегами,
когда белым-белы поля.

Когда надолго пеленой
закрыто небо — непроглядно
для взора, но печаль нарядна
в своей опрятности ночной...

В такую пору на земле
снега в глухом оцепененье —
ни вздоха ветра, ни движенья,
и воздух в затаенной мгле.

Сквозь омут этот чуть видна,
как будто в золотой вуали,
не освещая снежной дали,
беззвездно шествует луна.

Но не откроет смысл путей
вся затаенность, беспредельность:
скромна, но царственна отдельность
земной природы от людей...

1998

Милосердие

Красивый ужас создала природа,
всех омывая солнцем, грязью, кровью,—
пусть смертная, бездумная порода
страшится встречи с жизнью и любовью!

Ведь этот омут дух мой обозначил,
когда настала юность золотая,—
скрутил, сломал и вьется не иначе,
как грани жизни вместе заплетая.

Великий омут, он втянул в пучину,
ослабил зренье, душу искорежил,
чтоб, выплыв сквозь его песок и глину,
сквозь муть его,— опять увидеть то же.

Но и разлом, разрыв судьбы — явление,
которое вдруг корни оживляет
на скалах, на руинах! От забвенья,—
от тьмы беспамятства спасает, избавляет!

И Древо жизни, тайное, как мысли,
неистребимое (хоть на ветвях — больные,
сухие листья, съезжившись, повисли),
а шелестит, гудит пророчества земные.

Я знаю, слушая зловещие былины,
что есть последний шаг к последней дверце,
что смертны люди, в смерти лишь — едины,
и милосердие смягчает мое сердце.

1997

* * *

Летает морской ветерок
над мраморной, белой террасой,
летит голубой катерок
прибрежной, извилистой трассой.

Нам видно бурление воды,
волнистого гребня круженье,
прохладной его борозды,
сверкающих брызг изверженье!

Приятно сквозь тени ресниц
смотреть в голубые разводы —
в открытую даль без границ —
и чувствовать мощь природы.

Счастливая наша пора,
твой нрав молодой — сумасброден,
и море с утра до утра
ликует у мраморных сходен!

Рассветы просторны, светлы,
приморскую вольность вбирая,
и в меру черны, веселы
хозяева чудного края.

Нам кажется, здесь никому
не в тягость ничье пребыванье —
привыкни к чужому уму,
прими чужеродное званье!

Но что же влечет нас тогда
в суровость, в российскую бедность,
где жизнь — то война, то беда?
Надежда? Покорная верность?

Надежда — вот жизнь и прах,
пророчество, Голос Всевышний,—
зовет или светит впотьмах
тому, кто вне родины лишний...

1995

* * *

Между близкой Европой, родной,
и угрюмой, воинственной Азией
мы остались заблудшей страной,
нашей русской фантазией...

Чужеродцы с восторгом врут,
что от нас разоренья и войны,
сколько «праведных» ртов орут,
что мы жить недостойны!

Так расскажут о нас — не один
грех напомнят, а век за веком.
Даже бог войны — славянин,
варвар! Бедствие грекам!

И расскажут, и каждый сюжет
разовьют до бесчестья и жути,
лишь бы нам не мерещился свет
в исторической мути.

Иначе бы жизни не стало

*О фортуна, как ты морочишь царей
Изобильем благ!*

Сенека

Вершится в подвалах планеты
предначертание жизни
на длинные времена
огромных и малых народов —
любимых или проклятых,—
но лишь объяснения нету,
когда в зодиаках стена
откроет картину распятых!
Ничто не изменит течение
природного, вещего ряда,
все те же летят времена,
все так же они бесконечны,
слепое величие — то же,
и есть в нем, жестоком, явленье:
две разных судьбы, и одна
с другою волшебю не схожа...

Но логика жизни не раз
назначит особенный час,
войдет с людоедами в круг,
сведет их с разором и смертью —
с таким озлобленьем зверюг,
в себя запускающих зубы,
что выдавит слезы из глаз,
сомкнет с огневой круговертью,
и вздыбятя черные трубы
по всем четырем сторонам!
А как же?! Мы знаем немало,
доступно предвиденье нам —
иначе бы жизни не стало!
В каком-то завещанном дне,
в кратчайших мгновениях воли
душа воскресает от боли
отдельного чувства и знанья
об огненной этой волне,
до неба волне, неоглядной
(сменяющей судьбы народов
в движенье своем и пыланье!),
о вздыбленном этом огне
над верхом подвалов и сводов
планетной кладовки, всеядной!..
А как же?! Мы знаем немало!
Разбойное время сметало
короны с убийц и уродов!
Иначе бы жизни не стало!
1996

* * *

На древесной ветке,
на шершавой жерди,
дремлют птичьи детки —
ох, боятся смерти!

Нет следов человеческих,
только странный рисунок
от когтей или перьев
вокруг вмятин и лунок.

Ощущение жути,
молчаливой угрозы
вдруг вонзается в сердце
леденящим морозом!

Что-то хищное будто
ждет к съедению любого
и уверенно, зорко
смотрит в очи живого.

Миг охотника — хладен,
желтый глаз — неподвижен:
знает, стану добычей
я, пришелец из хижин...

Мне всегда доставалось
перечувствовать это
в пестроте многолюдья,
а не в пустоши где-то.

1995

* * *

Все великое — от народа.
Все жестокое — от властей.
Обозначила так природа
небожителей и людей.

Может, ей в моменты творенья
было это понять недосуг —
теперь смотрит в оцепененье
на свирепость избранных слуг.

Хоть дела их возвышены тайной,
знаем, тайны давно уже нет
в словоблудстве, вымыслах стайных —
лжесвидетельств на тысячи лет.

Нет и призраков у природы,
нам ясна ее жуткая суть!
Но закрыты бездны и броды,
перевалы, вершины и входы —
никому за черту не шагнуть...

1998

* * *

Повидали мы много на свете,
бросив некогда наше сельцо, —
крепче прежнего цепи и плети,
лишь Москва изменила лицо.

Может, новое иго на стреме,
новым рюрикам — на сто лет?!
Ничего разрушительней, кроме
кабалы первобытной, нет.

Первобытность — вот слабость народа
и основа кровавой межи —
сверхмогущества властного сброда,
сверхбогатства, сверхнаглости, лжи!

Повидали мы много на свете,
все разломные вехи прошли.
Значит, уничтожения эти
бесконечней бессмертной Земли.

1998

Уничтожение

Высокое место — уступы на склоне
бескрайной равнины. Томленье, покой,
тишь в шорохе птичьем, полете и звоне.
И вдруг в колдовском изобилье ветвей,
могучих стволов, перевитых корней,
как будто в раскрытой зеленой ладони
от тайного знака волшебной рукой,
предстал перед нами разрушенный дом,
забытый людьми, даже временем, временем...
И был он старинных развалин древней,
как короб, без крыши, с оставшимся дном,
до мрака прикрытый подлеском с дубами.
Да, мне говорили, что с чертовым семенем
здесь шествовал век, прокатился катком
с кладбищенской скорбью, сиротством, изгнанием,
но скрыты холмы и провалы с рабами,
на старых прогонах рассыпались пни
и не обросли ни единым ростком...
А здесь первозданна злоецащая быль,
здесь печка раздавлена с диким стараньем
(когда-то стояла для летней стряпни),
здесь груды поленьев — чернеющий ком,
с крапивой, пробившей лохматую гниль.
Здесь между косыми, двойными столбами
(отпрянули врозь, будто стукнулись лбами)
натянут и, как паутина, блестит
(живой до сих пор!) металлический шнур.
Здесь цепь у колодца со смятым ведром
стоокой змеею в пространство глядит.
Здесь все омертвело. Ни возглас, ни гром,
ни ветер природы, лесной трубадур,—
ничто не тревожит пугающий омут,
но ужас беззвучный гуляет и крик,
впитавшийся в стены. Здесь так одиноко,
что кровь холодеет... Лишь сельский амур
(подкова над дверью), не знающий срока,
забыв обещанье, очнется на миг —
сверкнет и погаснет. Здесь, кажется, стонут
незримые души, незримо летают,
нам в сердце, волнуя, свой шепот вплетают.

Что в этой тревоге? Призыв с предсказанием
 о мести грядущей? О кровной печали?
 О гневе великом? О том, что из глины
 бессмертной Земли мы воспрянем с названьем,
 которое помним в рассветном начале?
 Что жизнь разбита с позорным уменьем?
 Что в каждом столетье в круг русской судьбины
 упорно вплетается крах с возрождением?
 Что все в нашей жизни имеет ответ,
 и жизнь народа не может исчезнуть?
 Такая громада не втиснется в бездну,
 поскольку в ней места свободного нет?!
 И в каждом столетье есть крах с возрождением.
 1998

* * *

В завихренья снеговом
 нет луны и нет звезды,
 в небе белом, неживом —
 серебристой борозды.

Где дорога посреди
 Неба, равного богам?
 Мост блистающий? Гляди,
 луч, мерцанье по снегам!

Если Млечный Путь туда
 рухнул облачной грядой,
 стала каждая звезда
 лишь снежинкой, не звездой.

Кто умеет так шутить,
 наважденье это шлет?
 Чтобы сказку возвратить
 каждый раз под Новый год?

Чтобы бредила душа:
 вот, за нею, звезд гурьба!
 А за нею — чуть дыша,
 беспросветная судьба,
 безымянная раба...

1997

* * *

Бьется в сердце настойчивый, дерзкий
 предсказатель разлуки —
 мною вскормленный, слишком болтливый, отзывчивый зверь!
 Я скрестила от боли застывшие в ужасе руки:
 «Слышу-слышу! Открыта до неба стеклянная дверь!»

И вползает с лукавым притворством
 мой туман самоедства,
 и клубится не видящий света, как туча, бесформенный глаз,
 пасть утешно воркует про старость, про юность и детство.
 «Что угодно? Я тотчас сварганю и только для вас!»

А в тумане глазниц его смутно, знакомо всплывают
все картины из жизни, какие рисует зыбучая мгла:
нищий облик пространства, разрухи страшной не бывает.
«Что угодно?» «Уйди, самоедство,
сгинь, тебя не звала!»

«Отчего же ты плачешь?» «Оттого, что помочь нету силы,
расстоянья огромны, и Гермесу
не вспомнить славянских дорог!
Уходи, самоедство, твой клубящийся омут похуже могилы.
Я забыта в пространстве, и, увы, мне никто не помог».

1996

* * *

Чтоб лишь поэт, не кто-нибудь другой,
вручал поэту грифель и фонарь,—
иди, гляди, стань богом и слугой,
гимн сочини и в колокол ударь.

Чтоб лишь поэт открыл, никто другой,
как заблуждения вершат круговорот:
вот был избранник, а теперь — изгой...
Приходит истина, и вновь — наоборот!

Чтоб лишь поэт поэту предсказал:
есть сумрак жизни, он страшней, чем смерть!
Да не обрушь Отечество в провал!
Труды людей, как житницы, отметь!

1999

* * *

Об этих временах я думаю с печалью,
об этих временах, которые для всех
завиты чьей-то волей,
как дьявольской спиралью,—
круженье и повтор одних и тех же вех!

Мне кажется сейчас, что ад земной повсюду,
что даже дикий зверь затравленно живет,
а мы устало верим
бредовой сказке, чуду,
мы, белые рабы,— измученный народ!

Но есть пока еще и время блеска, чести,
есть сила духа — путь небесного руля,
когда, отметив лучших,
жизнь их сзывает вместе
для вдохновенья мира! И терпит нас Земля.

1998



Купол

РОМАН

ХIII

Это произошло не так скоро, как запомнилось впоследствии. Но все реже и реже меня приглашали выступать, не звали на посольские приемы, проходили мимо недавно еще раскланивавшиеся высокие чиновники, перестали звонить замечательные люди, а если я и попадал на банкет или презентацию, то чувствовал себя чужим и скоро уходил.

Только тогда я начал догадываться, что, помимо поверхностной жизни, где все говорили прекрасные слова, обличали и громили, впадали в пафос, существует некое невидимое движение людей, и в этом движении важны совершенно иные вещи. Там влиятельны люди, которые были и будут влиятельными всегда, там не любят выскочек, но ценят энергию, предприимчивость и гибкость — все то, что впоследствии будет названо профессионализмом и чего во мне не было ни на йоту. И самое верное, что нужно было сделать, так это — пока я еще представляю хоть какую-то ценность и интерес — понравиться этим людям, зацепиться, заземлиться в их городе, например, удачно жениться, породниться с добротной московской семьей, переехать из служебного помещения в собственную квартиру на Аэропорте или Сивцевом Вражке, куда много лет назад не попал безрассудный папа.

Но я был все еще очень идеалистичен или пытался сыграть в идеалиста — разница, которую нелегко обнаружить, — и не озаботился тем, чтобы вовремя получить московскую прописку, потому что всегда выступал против унижительного ограничения. Теперь за прекрасноту приходилось расплачиваться. Уже несколько раз у меня проверяли документы, и даже факт чагодайской ссылки неожиданно оборачивался не лаврами, а компроматом — им надо было не гордиться, а скрывать. Я не стал приватизировать партийное жилище, ни разу не съездил за границу и даже не обзавелся необходимым для этого документом, говоря, что мое место сейчас здесь и я не позволю кучке враждебных всему новому проходимцев объявить любовь к Родине своей исключительной привилегией. Увлеченный, я сам не заметил, что, покуда мои сотоварищи по коллоквиумам и семинарам юных политиков стремительно богатели, а их красивые паспорта переливались и пестрели разноцветными визами, меня отлучили от машины, народной кассы, подмосковной дачи и, наконец, согнали с квартиры.

Бог дал, Бог взял, я не держал в сердце зла и снова сделался свободен и никому не нужен, домом моим опять оказался вокзал, а друзьями — алкоголики, странники, продавщицы водки, сигарет, пива и хлеба и бездомные сборщицы бутылок.

Все повторялось в моей несчастной, заколдованной жизни, только на улице стояло не митинговое радостное лето, а изможденная, голодная зима, и

негде мне было стирать трусы и носки, кроме как в проруби для московских моржей. Не было больше людей, с которыми можно до хрипоты спорить о прошлом и будущем. Не стало хлеба и сала в птичьих кормушках, и, как редкая птица, исчезла бомжиха Ниночка, — сколько я о ней ни спрашивал, никто не знал, где она. «Подохла, наверное», — говорили равнодушно. Милиция делалась злее, молодецкий стыдливый сержант, начавший карьеру на Савеловском вокзале, ездил на служебном «мерседесе», исправно получал зарплату и, как по часам, подкармливался новой властью, охраняя ее покой и изгоняя из Москвы подозрительных людей. Город переменялся в одночасье и сделался еще более чужим, чем в молодости, схлынули говорливые ликующие толпы, покрылись ларьками улицы, давно не было пивнухи на Окружной, да и вообще тех прокуренных, душевных залов с «Ячменным колосом» и «Жигулевским» не осталось, и куда легче было поверить, что не встречал меня на Пушкинской площади улыбающийся лошадиной улыбкой Вася, не приходил выручать на Савеловский вокзал, и не было ни трибунных речей, ни писательского клуба.

Как знать, быть может, сон, из которого я вспоминаю обо всем, что мною случилось, начался раньше. Я просто уснул на жесткой вокзальной лавке или в отделении милиции и уже не проснулся, а умер или погиб, забитый ментами, превратившись, как мечтал в юности, в тень, которая неприкаянно слоняется меж людей и вольна вообразить о себе что угодно, ибо кто может помешать тени и кто станет ей звонить или вести с тенью разговор?

А наяву я опять присматривался к залам ожидания, однако теперь туда пускали лишь пассажиров с билетами, и я понял, что отсрочка, данная призывнику судьбой в тот день, когда из савеловской кутузки меня вытащил ухоженный газетный поденщик, окончилась. Недаром напроорочила вокзальная волчица — бегать тебе еще, Никитушка, недолго. Да и не было больше сил бегать. Не вынес бы этого ноги, болел желудок, шумело в голове, и хотелось залечь в тихое и теплое место, где никто не потревожит.

Но, прежде чем навсегда исчезнуть из Москвы, я заехал к Алене. Неловко попросил прощения и сказал, что она нимало не потеряла, не опубликовав свою статью. Ничего, кроме насмешки и холода, в ответ я не ждал. Однако моя первая женщина не держала на меня зла. Она искренне обрадовалась, рассказала, что год назад устроилась в испанскую продовольственную фирму, но, разочаровавшись в мужчинах любимой страны, совсем не похожих на тех героев, которых знала по романсеро, уволилась и теперь преподает за гроши русский язык иностранцам на ускоренных курсах при одном из новых московских университетов.

Мы сошлись во взглядах на жизнь, как сходятся два несчастливца. Алена была по-женски даже горячее, чем я, и запальчиво твердила, что Бог покарает всех хорошо устроившихся за несправедно нажитые богатства, просто так им это не пройдет, отмщение наступит скоро и неотвратимо. Я с удивлением подумал, что спесивая московская девочка из интеллигентной семьи, забавлявшаяся в застойные годы диссидентскими игрищами и принявшая из любви к Испании католичество, обожавшая похабные анекдоты и умные разговоры, в середине своей пестрой жизни оказалась удивительным образом похожа на ортодоксальную чагодайскую старостиху бабу Нину с ее апокалиптическим запалом.

Прихлебывая из здоровенной кружки отвратительный кофе, моя подруга с гневом рассказывала, как одно время работала переводчицей и возила в свою тогда еще сокровенную Испанию богатых русских туристов.

— В Севилье один из них увидел во дворе дома пальму. «Спроси, сколько она стоит?» Прибежал садовник. «Сеньор желает пальму? Я могу подобрать для сеньора отросток». «Скажи ему, что я хочу ЭТУ пальму». «Сеньор, но эта пальма не продается». «Спроси, сколько он за нее хочет». Испанец назвал сумасшед-

шую сумму, чтобы от него отвязались. «Пусть выкопает и доставит к самолету». — И швырнул пачку денег. Не понимаю, что здесь смешного?

Она разводила руками, чтобы показать толщину мифической пачки или величину бедной пальмы, которую запахнули в грузовой отсек самолета, оторвали на десять с половиной тысяч метров от земли и повезли в край вечного холода и медведей. Кофе плескался и бушевал в пивной кружке, а я хохотал и не мог остановиться.

— Кажется, мне попадалось это дерево в зимнем саду на одной дачке в Опалихе.

— Да ну? Врешь ты все! — Алена по-детски улыбнулась, и я снова увидел чудесную, красивую девушку, которая приходила в общежитие в серебристой шубке и устраивала допрос с пристрастием, прежде чем раскрыть объятия.

С неуловимой и странной для грузного тела легкостью она пересела ко мне на колени. Я обнял ее и подумал: «Господи, ну почему не могу жить только этим: любовью к женщине, семьей, простой и не зависящей от власти и влиятельных людей деятельностью вроде починки телевизоров, покраски автомобилей, циклевки паркета или протезирования зубов? Почему занимаюсь все время совершенно эфемерным, не имеющим на земле цены, ничего не нажил и не создал?» А когда настала пора проходить очередное взвешивание, то оказалось, что я — тридцатилетний потасканный человек без образования, без особого рода занятий, в сущности, никому не нужный, овечьный легендой свободомыслия и преувеличенными заслугами на ниве перестройки. Но время моей славы ушло, и нигде, кроме как в этом доме, где живет такая же, не совладавшая с идеалом женщина, не найду приюта.

Она сумела сделать так, чтобы я забыл о горьких мыслях и не стал искать ответов на безответные вопросы. И потом, когда моя любовница снова пила кофе, курила и без умолку болтала, точно боясь, что, едва она остановится, негаданный гость встанет и покинет дом, я долго рассеянно ее слушал, наслаждаясь последними крохами уюта и тепла, представлял, как отправлюсь в ветреную сырость зимней ночи, пойду через пустынный, слепящий огнями машин город на вокзал, забьюсь в первый попавшийся поезд и залезу на пыльную и душную полку под темным потолком. Будут стучать колеса, увозя меня на север ли, на юг — как придется, начнется новая, неведомая, но вряд ли более удачливая жизнь.

В этом видении, в предчувствии и желании перемен я не заметил, как задремал. Явь без усилий перетекла в сон, где смешались мои годы, чагодайские пригорки, московские улицы, женские лица, голоса, вокзалы, берега больших рек, мансарда перед убранном черным полем, дачные места под Москвой, забытые битком аудитории университетов и пединститутков, дворцы культуры и клубы, квартира на Тверской, штаб народной партии, большие сибирские города, писательские дома творчества, костры на берегу моря, вино и маленький теплый Тбилиси.

В темноте большой комнаты, приткнувшись к плечу, Алена не замечала моего сна, а я не понимал, где сейчас находятся и с кем странствуют, вместе или поодиночке, душа и тело. Но, изредка приходя в себя, задавал лежавшей рядом женщине кстати или некстати вопросы, на которые она подолгу отвечала, и снова проваливался в забытье, качаясь в зыбкой люльке воспоминаний. Чем чернее становилась ночь и приглушеннее звучал голос моей подруги, тем печальнее и тревожнее становилось на душе. Она очищалась, отступало все к ней прилипшее за последние месяцы, и я снова возвращался к себе.

Я не любил новую, постаревшую и подурневшую Алену. Мне не нравились ее озлобленность и усталость, похожесть на одну из тех миллионов митингующих женок, обманутых, одиноких и несчастных, клянущих свои мечты, в которых сплелись женская обида, расчетливость, опрометчивость и доверчивость, все то, что я слишком хорошо знал и сам успел растоптать. Но в полусне, в наших касаниях, поцелуях и беззастенчивых ласках, в подсвеченной

ночником нагоде мне вдруг вспомнилось, как давно, еще в те часы, когда бродил по Москве снедаемый тоской и юношеским голодом по женскому телу, я решил, что непременно женюсь на женщине, которая сделает меня мужчиной. Не в знак благодарности или из чувства долга, но так получится само собой. Даже если будут у меня другие женщины, я все равно когда-нибудь вернусь к той, первой.

Это была очень смешная и только годная для восторженной души одинокого подростка мысль. Я позабавился ей и усмехнулся, однако почему-то не стал объяснять чуткой, тотчас же вострепнувшей Алене, что меня рассмешило. Но на следующий день вновь остался у своей учительницы, и она тоже никуда не пошла. Мы вспоминали прошлое, гуляли, ели, пили вино. А потом настала новая ночь, и так потянулись мои дни в старом доме однообразно и уютно. Я начал забывать про вокзалы и железные дороги, про следы самолетов в чернеющем небе над Чагодаем и ноющие звуки моторных лодок, про восторженный гул толпы и яростные крики, и месяц спустя в присутствии двух случайных свидетелей тихо и буднично зарегистрировал полуформальный, полужактический брак.

XIV

В коммунальной квартире на Чистых прудах, где жила Алена, а некогда обитали князья захудалого рязанского рода, чьи следы потерялись в послереволюционном безвременье, мы соседствовали с татарами-дворниками. У них было трое детей, и, когда в просторных комнатах умирали одна за другой древние московские бабульки, въезжавшие сюда по горячим следам еще во времена военного коммунизма, нэпа и первых пятилеток, татары ходили в жэк и добивались права занять освобождающуюся жилплощадь. После номенклатурных апартаментов я мучился оттого, что приходится делить с чужими и неприятными людьми кухню, ванную и туалет, терпеть претензии, замечания и оскорбления, слышать резкую речь, особенно усиливавшуюся в те дни, когда к татарам приезжали многочисленные земляки.

Соседи были, впрочем, людьми чистоплотными, непьющими и некурящими и квартиру содержали в порядке. Но наши интеллигентские разговоры, нежелание вместе с ними пить на кухне чай, обсуждать политические новости, стоимость нарядов и частную жизнь безголосых певиц воспринимали как чванливость. Это было несправедливо, но поделать мы ничего не могли. А когда однажды они завели разговор о том, чтобы поставить металлическую дверь и назвали часть пая, которую мы должны были заплатить, и нам пришлось отказаться, то они установили ее за свой счет и после этого перестали нас замечать.

Вечерами мы уходили с Аленой из дома и часами кружили по неровным переулкам большого холма, смотрели на освещенные высокие окна сталинских и более древних домов, курили во дворах, заходили в церкви и баптистскую молельню, а затем, расширяя круги, в ее любимый костел святого Людовика под окнами оскопленной госбезопасности. На Таганке пили недорогое пиво, спускались к реке, глядели на мерцавшую черную воду. Случалось, уходили за мост, бродили по пустынному купеческому острову, и лишь холод и сырость заставляли нас возвращаться домой. Порой устраивали себе праздник и покупали один на двоих только-только появившийся в Москве шоколадный батончик с орехами или же бананы, которые моя жена обожала. Деньги быстро уходили, и до следующей полочки приходилось питаться сухарями и перловой кашей.

Я стыдился того, что нигде не работаю и живу на крошечную зарплату жены, однако Алена ни разу не попрекнула. Она утешала меня, жалела и ласкала, делая это не так искренне, как Инна, а профессионально, словно сиделка или врач-психиатр. Я не знал и никогда не спрашивал, сколько у нее было мужчин,

где научилась она мягкому обращению, женской опытности, умению получать и давать удовольствие, да и не слишком меня это интересовало.

С ней было уютно и хорошо. Я не мучился угрызениями совести и ревностью, меня не пугало закрытое тучами и городскими огнями слепое московское небо, когда я раздевал и ласкал свою жену. А потом мы говорили, говорили — на улице, когда гуляли, в кровати, когда лежали обнявшись, — и не могли наговориться. Я мечтал открыть свое дело — книжное издательство, частную школу или начать издавать газету, но только не политизированную, а очень полезную, домашнюю, с солидным хозяйственным отделом, советами, как солить огурцы, мариновать помидоры и варить вишневое варенье, с литературной страницей, астрологическим прогнозом и метеосводкой, кроссвордами и православным календарем — настоящую народную газету. Еще я размышлял о том, как хорошо бы было построить или купить небольшую дачу в ближнем Подмоскowie и переехать туда жить.

Алена охотно поддерживала эти разговоры и рассказывала о своих мечтах — бросить обрыдших корейцев и китайцев и создать нечто вроде артистического салона; в молодости она играла в студенческом театре и теперь хотела найти студию, где можно было бы ставить экспериментальные спектакли, а я мог бы возглавить литературный кружок и помогать пробиваться в литературу кому-то из молодых. Или написать мемуары о своей жизни и тех людях, которых неплохо знал, все еще мелькавших на экранах телевизоров или оттуда сошедших, но незабытых.

Мы могли бы сделаться творческой семьей, несущей бремя опрятной бедности в эпоху угрюмых перемен. У нас стали бы собираться выброшенные из жизни поэты, художники и писатели на чтения, просмотры, показы и вернисажи, еще она мечтала о собаке и не любила татар за то, что они на собаку не соглашались. И хотя ни я, ни Алена не верили всерьез в осуществление этих планов, обсуждали мы их очень тщательно и чуть ли не составляли списки, кого будем приглашать.

Иногда на нас непонятно откуда сваливались деньги. Тогда мы радостно шли в пиццерию, покупали дешевые билеты в театры или на выставки, потом, возвращаясь пешком домой, подолгу обсуждали увиденное. Я поражался тому, как умна моя жена, как тонки и точны ее суждения, и мне становилось обидно, что она не сумела себя реализовать.

Время было счастливое и тихое. Падал на улице снег, шли дожди, листья сыпали Ивановскую горку, и снова зеленели деревья и шумели грозы. Времена года, утро и вечер смешивались в нашем сознании. Когда же мы совсем бедствовали, нам ничего не оставалось, кроме ночной любви, но Боже, как чудесна и сладка была любовь двух обездоленных, близких и убогих существ.

Далеко за полночь мы выходили на кухню, зажигали свечи и ужинали, не смущаясь того, что трапеза мала и скудна. Наш союз, заключенный почти как фиктивный брак, вряд ли можно было бы назвать семьей. Это было нечто иное, наполненное ощущением праздничности и безытности и в то же время хрупкости и предчувствием скорого конца. Но, покуда мы были вместе, я благословлял эту связь.

Меж тем наши энергичные и плодovitые соседи довольно скоро перестали мести мусор на Чистопрудном бульваре, зато принялись ездить в Польшу и Турцию. Длинный коммунальный коридор, по которому катались на велосипеде татарчата, оказался забит чемоданами и матерчатými пузатыми сумками. В квартире прибавилось народу, грязи и телефонных звонков. Чтобы мы не слишком возмущались, кое-что из этого добра новоявленные коммивояжеры дарили нам, но тем больше их неожиданное богатство ударило, еще больше, чем богатство моих бывших товарищей из народной партии. Те хотя бы были умны, образованны, интеллигентны, но татары...

Особенно поразило это Алену. Она все реже слушала мои рассуждения о любви, обрывала и досадливо молчала, когда я принимался в десятый раз толковать про подмосковную дачку на берегу канала и баньку. Ее не волновали ни новая постановка студии Фоменко, ни выставка в Пушкинском музее. Она больше не твердила, что Бог накарает всех богатых, и я понимал, что ее мучают обида, ревность, зависть, тоска, а еще больше ощущение несправедливости — как же так? Почему у них получилось, а у нас нет? Почему они покупают машину, ездят отдыхать по границам, делают ремонт, ходят в дорогих шубах и строят дачу в Конакове? А ведь Алена была уже не молода, и ей тоже всего этого хотелось.

Напрасно, соблазненный в юности завистью, куда более глубокой и изощренной, я пытался внушить Алене, что это чувство мелко, глупо, неконструктивно. Неужели умная, тонкая женщина может всерьез переживать из-за того, что какие-то лимитчики живут лучше нее? Напрасно пытался оживить угасающую любовь. Порча завелась в душе моей жены, и вывести эту хворь было невозможно. Кончилось все тем, что татары накопили достаточно денег, чтобы завладеть всей княжеской вотчиной, и купили нам однокомнатную квартиру за кольцевой дорогой с видом на гигантское кладбище и крематорий, крошечной кухней, тараканами и постоянно ломающейся сантехникой.

Стоило, наверное, поторговаться и выцыганить что-нибудь поинтереснее, чем этот, как оказалось впоследствии, когда к нам пришли знакомиться из милиции, содомский осколок, прият скрипачей-гомосексуалистов; было жалко расставаться с Ивановской горкой, но мы настолько устали от бьющих в глаза примет татарского благополучия, что согласились на первое попавшееся. Они размножились и забивали нас числом, словно второй раз нагрянув на христианскую землю и взяв ее перессорившихся жителей в полон, а мы не могли ничего другого, кроме как завидовать и мечтать, и сдавались, без боя уступая исконные дома, деньги, женщин и само наше будущее, потому что моя жена была помешана на предохранении от беременности.

У Алены портился характер, она делалась более беспомощной и неприспособленной к жизни, теряя все прелестное, что в ней было, и превращалась в обычную женщину за тридцать, которую в привередливом городе никогда не возьмут ни на хорошую работу, ни в дорогие любовницы и не предложат благополучного замужества. Она это чувствовала и металась, искала себе подобных людей, которые все чаще и чаще набивались в нашей квадратной комнате, а затем — в кладбищенской квартире: большей частью неустроенные существа с беспорядочной жизнью — одинокие матери, воспитывавшие хамивших и презиравших их за безденежье сыновей-подростков, отцы-алиментщики, которым бывшие жены не разрешали видеться с детьми, отставные школьные учительницы, писатели-неудачники, спившиеся актеры, разорившиеся предприниматели и отправленные в отставку политрабтники. Они курили отечественные сигареты, пили сделанные из фантиков ликеры и отвратную водку, говорили о справедливости и ругали с такой злобой новую власть, кавказцев, евреев, корейцев и вьетнамцев, что все это казалось пародией на кухонные посиделки десятилетней давности, только теперь никто этих людей не подслушивал, не внедрял стукачей и не устраивал мелких и крупных пакостей.

Вероятно, эти разговоры утешали мою жену и умиротворяли ее душу куда лучше, чем унылые и сухие проповеди о порочности зависти и духовной пользе материальной нищеты. Среди гостей попадались радикалы, призывавшие выйти на площадь и устроить антибуржуазную манифестацию, громить иномарки и фирмы с чужеземными вывесками. А я угрюмо размышлял под эти разговоры: последнее, что остается мне сделать, — вступить в партию коммунистов-ленинцев и тем логически завершить политическую карьеру.

Все подталкивало меня к этой мести, вокруг кружились крепко сбитые парни, товарищи, которым было интересно затащить в свои ряды бывшего диссидента. Они убеждали меня, что стали другими и случившееся не прошло напрас-

но. Мне предлагали всерьез начать все заново, но с другой стороны баррикад, поставив в качестве условия предварительное покаяние и разоблачение внутреннего заговора. Даже кое-что за это пообещали, и вряд ли переход на их сторону был отвратительнее стояния на этой стороне. Я мог бы много чего порассказать, они догадывались и вели торг, видя мою неуступчивость и брезгливость, повышали цену и соглашались на более мягкие формы посыпания пеплом моей головы.

А я думал об одном — что теряю Алену и она может поменять меня на любого из ничтожеств, шатающихся по Москве, просто так, из интереса, для разнообразия и остроты ощущений, за которыми гонялась всю филологическую молодость, и у меня не хватит духу устроить ей сцену. Я не знал, что делать, и был готов заложить душу, но однажды студеным январским днем, бродя по тушинскому оптовому рынку в поисках дешевых продуктов и хоть какой-нибудь теплой шапки, привлеченный полузабытым воспоминанием, остановился возле палатки, где торговали вьетнамцы. Там стояли две маленькие девочки с пухлыми смуглыми щечками, чем-то похожие на дюймовочку, которой велели лечь рядом со мной, а потом, глотая слезы, одеваться под наглыми взглядами нынешних хозяев.

Девушки стали предлагать немудреный товар, и мне было приятно глядеть на их лица, вспоминать университет, демонического Горбунка, который предрек крах математической науки в России, порвал с теософией, пьянством, блудом и масонством и исчез. Но вот куда делся маленький Хунг, я не знал и, хотя глупо было у них спрашивать, все же поинтересовался своим другом.

Стоило только произнести его имя, на хорошеньких личиках появилась чуть испуганная улыбка. Одна из девушек исчезла. Подошел вьетнамец средних лет. Меня отвели в вагончик, где стоял замечательный пряный запах азиатской еды и слышалась милая сердцу свиристая речь. Старший в этой компании поклонился и сказал, что господина Хунга Вана Донга в России сейчас нет, но его друг всегда будет принят в любом вьетнамском доме.

Может быть, этот господин Хунг Ван Донг, наводящий на них такой трепет, был вовсе не тем вьетнамчиком, который спекулировал в бывшем СССР джинсами, театральными билетами, батничками и двухтомником Цветаевой, но я не стал вдаваться в подробности и возражать, когда радушные азиаты усадили меня за стол, накормили, напоили рисовой водкой, и, глядя на мой потрепанный вид, деликатно расспросили про обстоятельства жизни, а потом, перемигнувшись, подарили целую сумку продуктов и одежды, в завершение этой торжественной и сумбурной встречи предложив подрабатывать у них шофером и отвозить вещи из их общежития на рынок, для чего они были готовы купить мне машину и права.

XV

Я был убежден, что из этой затеи ничего не выйдет. Какой из меня водитель? Но — поразительная вещь! — едва сел за руль, мне буквально сразу же удалось то, на что у людей уходят месяцы, — плавно трогаться и тормозить, набирать скорость, менять передачу, перестраиваться, въезжать в тесное пространство и парковаться.

Я почувствовал машину, как когда-то в детстве умел чувствовать числа. Видал все дорожные знаки, соизмерял расстояние и габариты автомобиля и не испытывал страха перед запруженными машинами московскими улицами. Был хладнокровен, уверен в себе, не боялся, что старенький «жигуленок» заглохнет на перекрестке и я не буду знать, что делать, или же однажды въеду «мерседесу» в зад. Зато как только мы с Аленой стали работать на вьетнамцев, а в свободное время промышлять частным извозом, то с удивлением заметили, что наша жизнь поменялась к лучшему.

Оказалось, что заработать деньги, имея в Москве машину, несложно. Мы не зарывались, не связывались с теми, кто околачивался на вокзалах и в аэро-

портах, а просто подбирали казавшихся нам безобидными пассажиров на улицах, чаще всего в новых микрорайонах вроде нашего. Очень скоро стало хватать не только на еду, но и оставались излишки, мы прикупили одежду и починили вечно шумевший и подтекавший сортир.

Благополучие приходило в дом маленькими порциями, но мы радовались каждой его примете — тому, что можем есть на завтрак бутерброды с сыром, пить утром кофе, а вечером вино. Первое время мы не думали ни о больших покупках, ни о том, чтобы копить деньги, а легкомысленно и радостно все проедали. И если раньше я не мог приблизиться к коммерческой палатке и на время забыть вкус копченой рыбы и сухой колбасы, то теперь спокойно их покупал и обязательно брал бутылочку замечательного ленинградского или тверского, а то и голландского пива. Я стал курить только импортные сигареты и, однажды попробовав для сравнения такую редкую и желанную в былые времена «Яву» явскую, поразился: неужели за этой гадостью мы гонялись?

Через год с помощью все тех же вьетнамцев я удачно загнал злосчастный, норовивший заглохнуть посреди улицы «жигуленок» — хотя, честно говоря, расставаться с ним было жаль, но автомобильное дело не терпит сентиментальности — и стал ездить на подержанной, однако очень приличной «тойоте».

Бесшумная, гладкая, стремительная иномарка невероятно возвысила меня в собственных глазах и глазах окружающего люда. На бензоколонках услужливые мальчики заливали полные баки бензина, дороги для меня ремонтировали, на каждом углу имелся автосервис и, не считая пробок и безумной езды, в которой никто не соблюдал правил, бытие московского автомобилиста было вполне сносным.

Алена превратилась в домовитую хозяйку и, сделав добротный ремонт, стала приобретать новую мебель, посуду, светильники, кухонную утварь. Нам доставляли газету с бесплатными объявлениями, и мы часами ее рассматривали, решая, какой марки стиральную машину, пылесос или микроволновую печь лучше купить. Мы звонили в разные фирмы, радовались, когда выгадывали несколько десятков тысяч рублей за один и тот же товар, однако еду покупали только в дорогих магазинах. Алена больше не ругала всех богатых и хорошо устроившихся людей, не вспоминала про экспериментальную театральную студию, все реже к ней приходили в гости ее горемыки знакомые, потому что им она говорила то же самое, что говорили по телевизору мои преуспевающие бывшие соратники: сегодня только ленивый и увечный может жаловаться на жизнь и не знать, где достать денег. Она была опять ласкова, хотя я с горечью замечал, что это была совсем не та утешающая нежность наших недавних бедных лет. Но я и сам стал другим.

Я пришел к состоянию, которого желала, но никогда не знала моя душа. Жил в согласии с самим собой, наслаждаясь каждым днем, с радостью просыпаясь, проводя день и погружаясь в сон, и не было в моих снах ни тревоги, ни страха — ровные, быстрые, они проносились над изголовьем, как птицы.

Я полюбил весь мир: нашу квартиру с красивым современным убранством, вид из окна на дальние леса, высокие потолки, ароматические запахи из индийского магазина, нежную, чистую музыку, компьютерные игры на совершенном «Пентиуме» и гулкие ночные звуки.

Но больше всего я любил свою машину — вот было создание, которое я считал живым и к кому испытывал физическую привязанность, как если бы это был мой ребенок. Езда на ней доставляла удовольствие, какого я не испытывал раньше даже во время удачливой рыбалки. Скажи мне в ту пору, что отнимутся и дом, и жена, и деньги, но останется машина, вряд ли бы я сильно опечалился, но если бы утратил возможность водить, был бы убит. И все-таки в том, что я идеально водил, но не мог ездить один, заключалась горькая насмешка.

Алена мешала мне — ее постоянное присутствие нарушало чистоту той таинственной связи, которая существовала между движениями моих рук и ног и нежными отзвуками педалей сцепления и газа, таилась в послушности руля и

загадочном мире приборной доски, особенно чудесно мерцавшей ночью. Но без поводыря всему этому угрожала гибель на первом перекрестке, и я вынужден был терпеть чужое присутствие, а Алена догадывалась и мелко мстила, в иные дни отказываясь со мною ездить. Капризничала, требовала, чтобы мы заезжали на барахолки и вещевые рынки, и приходилось ей уступать.

Возможно, она хотела, чтобы мы открыли собственное дело, съездили отдохнуть за границу, купили другую квартиру, построили дачу и даже завели ребенка. Она обмолвилась об этом однажды ночью, и я до утра учил ее тому, чему с таким трудом научился сам. Высшее искусство в жизни — знать свой предел и ни при каких обстоятельствах границы отпущенного не нарушать. Следуй я этому немудреному правилу раньше, мне удалось бы избежать стольких бед, я бы никогда не провел нескольких горьких лет в чагодайской ссылке, а вырос бы смиренным провинциальным или столичным обывателем.

Я не хотел новых резких подъемов и перемен. Мне сделались милыми постоянство и однообразие; задушевым голосом я внушал жене, что если есть вещи, которые нам недоступны, значит, они не нужны и не стоит тратить энергию на бесплодные усилия. Алена соглашалась — другого ей не оставалось, потому что ее муж сделался рассудительным и мудрым, словно из недоросля и инфанта, минувя стадию мужской ярости и борьбы, превратился в благоразумного и опытного старичка.

Мы перестали ходить на выставки и в театры, у нас не было больше друзей и не было в них потребности, мы даже не стали заводить пса, который бы нарушил привычный порядок. Зато вставали и шли спать, когда хотели, могли по нескольку дней не выходить из дома или закатываться с пикником на обочину Можайского водохранилища. Посещали красивые подмосковные усадьбы и любовались старинной мебелью, коврами, посудой и картинами, ходили на лыжах и катались на велосипеде, ели много фруктов, благодарили судьбу и не сомневались в своем благополучии.

Но однажды Алена вдруг объявила, что купила заграничный тур и вечером уезжает.

Я недоумевал, где она взяла деньги, почему держала в тайне свои планы и собралась так скоропалительно. Однако, когда мы прощались в аэропорту, то там, в длинной очереди на таможеню, среди беспечных и веселых людей, ехавших за изысканными удовольствиями дряхлой Европы, запоздалых и чудом добившихся этой привилегии после утомительных собеседований в посольстве эмигрантов Бог весть какой по счету волны, талантливых ученых, получивших гранты от богатых университетов, хорошо устроенных писателей, ездивших за рубежом за престижными и непрестижными литературными премиями или участвовать в хорошо продуманных творческих программах, пронырливых негоциантов, еще не додумавшихся учредить эти премии и программы у себя на дому, среди контрабандистов, служащих иностранных фирм, хороших студентов, среди сутолоки и возбужденного ожидания, самодовольства, отчаяния, беспечности и надежды, перед той чертой, за которую я, вечный пленник своей страны, никогда не ступал, Алена скороговоркой сказала, что назад не вернется.

Я смотрел на омещанившуюся диссидентку растерянно и не мог поверить, как она, ничего в жизни сама не сделавшая, вечно зависящая от других людей и их настроений, могла на такое решиться. А Алена вдруг стала кричать, что ей страшно со мной жить, я давно мертвец и напрасно думал, что навсегда подчинил ее себе. В сорок лет для женщины все только начинается, и она всегда знала — я хочу ее умертвить, хотел еще тогда, когда вырвал у нее флажок «Солидарности», а это была провокация ректората, и я всю жизнь работал на КГБ, за что получал именную стипендию и жил в отдельной комнате, а потом для отвода глаз уехал, чтобы несколько лет спустя проникнуть в политсовет народной партии, и именно из-за меня эта партия проиграла на выборах и развалилась. А когда был разоблачен, то угрозами и шантажом заставил выйти несчастную до-

верчивую женщину замуж. Но ей удалось меня обмануть и вырваться, и теперь я никогда ее не достану, ибо первое, что она скажет там, куда приедет: пусть мою фамилию внесут в компьютер и не дают визу ни в одном посольстве уважающей себя страны.

Она то истерично хохотала, то вдруг начинала рыдать, грозить и проклинать, умоляла одуматься и говорила, что все равно меня любит и только меня и любила и хотела спасти, но сделать этого не смогла и теперь просит прощения. На нас удивленно оборачивались, а я молчал и спрашивал себя: кому может быть нужна обезумевшая, больная женщина? Перебесится, вернется, и все пойдет по-старому.

Но Алена не вернулась. Что с ней произошло — убедила ли она суровых чиновников из всевозможных служб эмиграции и натурализации или самого Верховного комиссара ООН по делам беженцев в том, что в варварской России ее жизни угрожает опасность, вышла ли замуж за беззаботного безработного или озабоченного миллионера, попала в психлечебницу или открыла фирму по выкапыванию и отправке финиковых пальм из Испании в Россию, принялась скитаться без вида на жительство по вокзалам Европы и Америки и подрабатывать на бензоколонках, посудомойкой в ночных барах или иначе угождая клиентам, покончила с собой в ночь перед депортацией — не знаю, но больше я ее так и не увидел.

XVI

Потеря никак не отозвалась в моей душе. Поначалу я, правда, не знал, как теперь быть и с кем ездить по городу. Не давать же объявление в газету: водитель-дальтоник ищет спутницу для поездок на автомобиле. Я приуныл, но потом нашел гениальный выход. Смешно сказать, и никто бы в это не поверил, но я стал работать инструктором в автошколе. Вот было то положение, где я чувствовал себя лучше всего и где не требовалось тарашиться на светофор, ибо это делали те, кого я учил.

В автошколе хорошо платили, у меня были добрая слава и легкая рука, я не орал на самых тупых учеников, и мои подопечные хорошо сдавали экзамены. Обычно инструкторы занимались тем, что катались два часа по городу, а учить, как заезжать в гараж, ехать задом, трогаться с горки без отката, им было лень — это утомительно и сжигает много топлива. А на экзамене в ГАИ, как правило, проверяются именно такие вещи. Мне же было спокойнее отрабатывать все эти маневры в тихом переулке или во дворе, где точно не подстергала опасность в виде ученика с таким же дефектом, что и у меня, или зазевавшейся полоумной девицы, которая в решающий момент на перекрестке опустит голову под руль, потому что иначе не сможет найти педаль тормоза.

Я ощутил тогда необыкновенную свободу и одиночество. Мимо равнодушно катились события, до которых мне не было дела, война, казнокрадство, убийства, выборы, юбилеи, деноминация денег, правительственные кризисы, отставки и назначения, и все это было, как пестрая и аляповатая ширма, за которой вымирала страна. Эту ширму обслуживали несколько сотен тысяч приспособившихся подонков, а под их прикрытием сбывалось то, что говорил когда-то пронизательный Степан Матвеевич Морозкин, — население страны уменьшалось, и не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать: если дело так пойдет и дальше, а оно скорее всего так и пойдет, то через полсотни лет никто не будет нас завоевывать — нас просто не хватит, чтобы охранять границы от диких восточных и южных орд или цивилизованных тевтонцев.

Во всем происходящем мне стали чудиться чужая воля и очень сильная, нездешняя логика, так что, размышляя над нею, я стал совершенно определенно относиться к той самой теории заговора, которую в разные периоды жизни то упоенно высмеивал, то сомневался в ней, то ломал голову, то до дрожи пугался. Однако теперь эти мысли вызывали во мне не ужас и не протест, но внутреннее

удовлетворение. Приятно и легко жить, зная, что существует неведомая когорта людей, которая управляет миром и избавляет его от случайностей. Кто были эти люди — Римский клуб, мировое правительство, Валютный фонд, ЦРУ, масоны, теософы, сионисты во главе с Горбунком, тоталитарная секта, черно-книжники, мудрецы-интеллектуалы, шестой интернационал, элитарные математики, в число которых я не смог попасть, или народолоубцы, из гнезда которых выпал, какие были у них планы и что хотели они сотворить с моей страной, было неведомо, но они позаботились обо мне и устроили сносную жизнь. Не знаю почему... Может быть, за прошлые заслуги, из жалости, по великодушию, а скорее всего за этим скрывался расчет — например, тот, что у меня не было и я не собирался заводить детей, но наверняка в их компьютерах, куда были занесены и разделены на два разряда все жители моей родины, я оказался в меньшей половине, которой дали разрешение спокойно дожить до смерти двадцать, тридцать или сорок лет.

Одного только заговорщики не могли — исправить мое зрение, и было грустно-грустно оттого, что я так никогда и не увижу мир в его разноцветии. Это казалось мне теперь высшей несправедливостью. И когда я осенью ехал мимо лесов, то думал о том, как красиво смотрятся ягоды брусники, клюква на болоте, как выглядывают из-под опавших листьев рыжеватые шляпки подосиновиков, как хороши красные листья, что лежат в лесу на мокрой траве, как сверкает тронутая заморозками рябина на обочинах дорог и в дачных поселках, а зимой сидят на голых ветках красногрудые снегири и валяются возле лунок на льду окуни с красными жабрами.

Вот если бы еще это увидеть, если бы произошло чудо, что-то сдвинулось и хотя бы в последний момент мое зрение исправилось, мне было бы этого довольно и никакой обиды и сожаления земное царство у меня не вызвало бы. Я простился б с ним с легким сердцем, покаянно попросил прощения у всех и простил даже бессмертную Золюшко. Но мир, в котором я не видел цвета, мне опостылел. Все реже я выходил на улицу, из автошколы меня с большим скандалом уволили после того, как в день экзамена директор курсов приказала мне ехать за гаишником. Напрасно я уговаривал ее послать другого, и, когда мы ехали с насупленным майором, я-таки проскочил перекресток на красный свет и чисто-сердечно признался инспектору в физическом изъяне, перекорезившем мою жизнь.

Майор завалил всех, кто сдавал в тот день экзамены, не взял ни одной, самой фантастической взятки, а я решил закончить трудовую деятельность, тем более что с некоторых пор ни дорогие сигареты, ни хорошие сорта вин, ни вкусная еда меня не радовали.

Я сидел часами в темной комнате — иногда слушал музыку, иногда читал старые книги и бельгийскую Библию, а потом уходил гулять по ночной Москве и до рассвета сидел на лавочках, курил, прихлебывал из бутылки, вспоминал жизнь, перебирая по зернышку все ее дни. Время сжалось в моем сознании, и казалось, что какие-то события были совсем недавно, а не половину прожитой жизни назад, а чего-то не было и вовсе.

Но чаще всего я просто спал и смотрел сны. Впрочем, здесь была одна звездочка — я не ведал точно, вижу ли сны или это происходит наяву, — все слишком перемешалось в голове, — только позднее я узнал, что к тому времени у меня образовалась в мозгу опухоль — результат неумных умственных занятий в молодости и безысходной, безбожной тоски в той поре, что считается серединой земной жизни, а вернее всего — итог столь быстрой перемены от хандры к окамененному бесчувствию, какой не может выдержать человеческий организм, но в моем темном сознании Бог весть чего только могло вспыхнуть.

Так однажды в нем вспыхнуло, что я получил из Чагодая письмо. Оно было не от Инны и не от Морозкина, не от матери и не от бабы Нины, а на странном бланке с тисненными золотом церковнославянскими буквами. Несколько

витиеватым слогом в нем сообщалось о том, что в сентябре Чагодай будет отмечать тысячу лет со дня своего основания и все чагодайцы в рассеянии сущие приглашаются принять участие в торжестве.

Никуда ехать я не собирался, да и что я мог там увидеть?

Агонизирующий российский город — может быть, только заторможенный и по причине малочисленности населения более спокойный. Где смотрят до одурения телевизор и устроили распорядок дня так, чтобы точно можно было знать, когда на улицу выходить, а когда отдыхать; где военные ловят рыбу и пахнут землю, роддом за ненадобностью закрыт, и моей бедной Инне в нем нет работы, а девочки ездят делать аборт в губернскую столицу, ее не слушая; где азербайджанцы держат в своих руках всю торговлю, растлевают этих самых девочек и спаивают мужиков отравленной водкой, и даже государственный Морозкин не может ничего сделать, а скорее всего состоит у них на службе или по крайней мере получает деньги за то, что не вмешивается, а иначе убьют его некрещеного и потащут черти в ад за все языческие грехи, и никакой отец Алексей не поможет.

Я представил темные чагодайские улицы и как наяву увидел город, который стал похож на вымирающую деревню. Сколько стоял Чагодай, сколько ураганов над ним ни проносилось, сколько ни было междуусобных смут, претерпевал он все, но этого последнего по счету потрясения, кажется, было ему не пережить, и ждала его судьба то ли сгинуть, раствориться без остатка и перестать кормить Россию генотондом, то ли, как невидимому Китежу, опуститься на дно и пребывать там, покада не утрясется на Земле.

Никуда я не поехал, но с той ночи на меня снова, как в молодости, напала бессонница. Точнее говоря, это была никакая не бессонница — ведь бессонницы на самом деле не бывает, она нам только снится — снится, будто мы лежим в кровати, ворочаемся, перекладываем подушку холодной стороной, раздраженно смотрим на часы или включаем свет и читаем книгу. А иногда человеку снится совсем другое: что он встает и идет курить, открывает холодильник, пьет пиво или принимает таблетку. Если у него есть жена, он будит ее и требует, чтобы она мучилась вместе с ним, а потом под шелест раздраженных упреков умиротворенно засыпает. Каждый борется с бессонницей, как умеет, но заставить себя заснуть человек обыкновенно не может. Однако врачи уверяют, что постепенно бессонница становится формой сновидения и страдающий ею на самом деле спит, но этого не знает и доводит себя до нервного истощения...

Вот тогда-то, после многих тягостных ночей, я вдруг узнал — не помню, во сне или наяву — что Чагодай... исчез.

Узнал вот как. Однажды, отправившись бомбить, потому что у меня кончились деньги, я оказался — случайно, нет ли — на Дмитровском шоссе. Очень долго ехал по красивой, окруженной лесами и сырой паутиной дороге, иногда останавливался, выходил в лес, подбирал на ощупь несколько ягод и снова ехал. И в этом сне, в этой поездке поначалу не было никакого страха. Я проезжал дачные поселки, маленькие забытые города, реки и речушки, линии электропередачи, неровные поля, болота, по которым бродили, как сборщики картошки, люди с ведрами и обирали усыпанные клюквой кочки, ржавеющие трактора, луга, поляны, стога сена, силосные башни, бессмертные деревни, где рано тушили свет и рано вставали. Мне давно не было так покойно и хорошо на душе — оттого, что в Чагодае обо мне вспомнили, — и в сердце ткнулась благодарность. Я никуда не торопился, но потом тихое и благодушное настроение изменилось, точно налетел на спящую душу ветер, и стало казаться, что я не успею. Чем ближе я был к Чагодаю, тем явственнее ощущал панический страх, окутавший меня, как туман.

Быстрее, быстрее! — я боялся опоздать, словно эмигрант-отказник, которому после долгих лет вдруг дали визу, два часа на сборы и шанс улететь на последнем самолете. Я мчался по шоссе, как бежал когда-то на подмогу к отцу, и

только молил Бога, чтобы не подвели машина и дорога. Я вдруг понял, что меня позвали не просто так, а потому что муравейник закрывается: что-то очень важное должно было произойти в эту ночь в Чагодае. В одном месте я ошибся и свернул в ту сторону, где кончались все дороги и начиналась черная вода. Повернул назад, продырявил колесо, нервно сменил его и снова неся по разбитому шоссе.

Начался дождь, и шоссе сделалось скользким, но надо было спешить. Моя маленькая красная машина мчалась по пустынной темной дороге, она бы, наверное, успела, как вдруг на встречную полосу выехало темное и страшное. Я рванул руль, машина закружилась, и перед глазами поплыли разноцветные круги — я видел отчетливо их все: синие, желтые, фиолетовые, оранжевые...

Когда я пришел в себя, за окном было белым-бело, лежал снег.

— Чагодай, — произнес, едва разжав губы.

Надо мной склонилась скорбная женщина в белом халате с родинкой на верхней губе:

— Что тебе?

— Чагодай, — повторил.

Она посмотрела по сторонам и тихо сказала:

— Нет больше Чагодая, милоч. Пропал он, говорят, — и заплакала.

XVII

Ничего необычного в том сне, пожалуй, не было, но, когда я проснулся, мне захотелось поехать в Чагодай или хотя бы узнать, что в нем происходит. Однако телефон был давно за неуплату отключен, машина с истощенным аккумулятором ржавела под окнами, не было у меня ни телевизора, ни радио, и от прежнего довольства и сытости ничего, кроме вида на крематорий, не осталось. Весь день я бесцельно слонялся по квартире, листал единственно связывавшую меня с миром бесплатную газету, как будто среди многочисленных объявлений о путешествиях за границу с похитившей мою жену фирмой, о покупке недвижимости, ремонте квартир, продаже автомобилей, лечении порчи и слеза и других разнообразных услугах от досуга с девочками-люкс до иглоукалывания и изучения иностранных языков по методике ЦРУ могло попасться объявление об исчезновении городка на нейтральной полосе между Новгородской, Вологодской и Ленинградской областями.

Я с трудом дождался ночи, чтобы уснуть, но снилась совершенная чепуха: бессвязная, цветная, красно-зеленая, как светофор, бьющая в глаза, — и я засомневался, надо ли так жалеть об отсутствующем цветоощущении, если разукрашенный мир выглядит еще более уродливо, чем мир монотонный. Я хотел продолжения сна про Чагодай, и уже готовы были сомкнуться веки, уже рассеивался закрывавший глаза туман над Чагодайкой и был виден черный лес, но мешал детский плач.

Собственно, его и детским назвать было нельзя. Если бы я не жил на пятнадцатом этаже, то решил бы, что где-то рядом орут коты. Из какого сна мог быть этот плач и какой ребенок мог так истошно вопить, в утешение или назидание это было послано, я не знал — мне все труднее было устанавливать границы между снами. Но потом они улетучились, и остался только этот надрывный крик. В зыбкой бессоннице стала резать слезящиеся глаза предрасветная мгла, я уже различал контуры предметов, в комнату проник свет, и за окном освещенное ржаным солнцем проснулось огромное, как город, кладбище, вдоль ограды которого каждое утро бегал старик в тренировочном костюме.

Странные звуки доносились с балкона. Я осторожно приблизился и открыл дверь. На балконе никого не было, но плач сделался сильнее. Накануне я выстирал пододеяльник. Он висел на веревке, почти уже высохший, его колошматило ветром, а внутри лежал запеленутый младенец с морщинистым лицом и гноящимися глазками. Сил орать у него больше не было, и он только раскры-

вал рот, глотая воздух и точно цепляясь за чудом подаренную ему во второй раз жизнь.

Я быстро вынул его, принес в комнату и распеленал. Это оказалась девочка со светленькой мягкой головой и большим треугольным родничком в темени. Было ей всего несколько месяцев от роду, но, сколько точно, сказать затруднялся — я совсем не разбирался в маленьких детях. Меньше всего я думал в ту минуту о том, откуда она взялась. Надо было ее накормить, переодеть в сухое, а ничего из еды, кроме сгущенки, и из одежды, кроме рубашек, в доме не было. Я беспомощно заозирался, решил сбегать в магазин и купить детское питание, но побоялся оставить ее одну. Потом мне все же удалось кое-как насытить ее, размешав в теплой воде сгущенку, перепеленать, и, когда она уснула, я наконец успокоился и сел рядом, прислушиваясь к ровному дыханию.

Прошло несколько часов — все это время я смотрел на нее. Я был на грани сумасшествия, периоды безумных мечтаний сменялись ясностью и трезвостью: надо все-таки заявить в милицию, выяснить, откуда взялся ребенок, кто и как мог его подкинуть таким странным образом, проникнув в запертую квартиру и незаметно уйдя, и почему, чтобы избавиться от непрошеного младенца, выбрали именно мой балкон? Но потом я принимался рассуждать, что ребенка послал Господь, Его пути неисповедимы и нам неведомы, все исходит от Него, не важно, верю я или нет, и этот дар, этот крест надо принять, не спрашивая, каким образом и с какой целью был он послан.

И, когда поздно вечером ко мне пришли из милиции и вкрадчивый молодой человек спросил, не слышал ли я чего-либо подозрительного, я тут же ответил, что ничего не слышал. Уже уходя, он сказал, что прошлой ночью соседка в квартире надо мною в припадке отчаяния и замученная нищетой выбросила из окна ребенка, но тело покуда не найдено. Я подумал, что сделанное ею не было преступлением, а лишь орудием Промысла, ибо все на земле промыслительно. Этот раскинутый над моей головой и головкой маленькой девочки покров успокаивал меня куда больше, чем недавние мысли о мировом заговоре против несчастной страны и том исключении, которое для иных из ее жителей заговорщики делали. Я понял в ночные бессонные часы, которые провел возле беспокойно спящей девочки, что всю жизнь страдал от того же, от чего страдало брошенное в пододеяльник дитя, — от сиротства, и прикосновение высшей силы показалось мне знаком неодинокости и моей неоставленности.

Я не сводил с девочки глаз и не спал — я знал, что не буду теперь спать очень долго, потому что она будет просыпаться ночами, звать свою мать, но вряд ли когда-либо увидит несчастную женщину. Я видел ее несколько раз. Молодая торговка овощами, она была беженкой из Азии и эту квартиру, наверное, снимала. Я не знал, кто был отцом ребенка, почему она не сделала аборт — может быть, уговорила ее какая-нибудь местная Инна, но более нищей и измученной женщины с лихорадочным блеском в глазах я не встречал. Возможно, она просила с девочкой милостыню, усыпив ее лекарством, и этот бизнес был даже выгоднее, чем торговля помидорами и лимонами. Но потом что-то случилось, нашло ли на нее умопомрачение или свершилась злая воля — только пододеяльник раздувало ветром, ребенок угодил в карман, ибо такова была Божья воля.

Эта девочка была моей — больше ничьей. Я знал, они придут за ней, станут искать и найдут — значит, надо бежать. На свете есть одно-единственное место, где ее можно будет вырастить, напоить свежим ветром и воздухом и где есть женщина, которая заменит ей мать.

Может быть, приезд в Москву, членство в народно-демократической партии и митинговые речи, женитьба на Алене и вся моя жизнь с ее грехами, разочарованиями, успехами, дальтонизмом, словоблудием, геройством и подлостью, — все это, ничего само по себе не стоящее, нужно было вовсе не за-

тем, чтобы я сражался за счастье родины, а для того, чтобы я выстирал пододеяльник и в погожий сентябрьский денек, когда в огромном городе перепуганный народ сметал все на рынках и в магазинах, повесил его сушиться на балкон.

Машина была не на ходу — значит, надо ехать на поезде, но ничего страшного! Я знаю этот поезд — он уходит каждую ночь с маленького уютного вокзала и идет по красивой лесной дороге. Правда, в Чагодай все пути закрыты. Об этом говорили в очередях за сахаром, долларами и мукой, писали в еще не закрытых газетах, уже шелестело по стране имя лесного городка, который не просто заявил о своей независимости, отказался платить налоги и просить у господ-правителей подаяния, но растворился и исчез. Они пытались скрывать пропажу, боялись, что за Чагодаем последуют остальные, и хотели разыскать и покарать его, обрушив на мою родину танки и ОМОН похлеще, чем это делали в черном октябре. Но как бы они ни свирепствовали и ни твердили о чрезвычайных мерах, кого бы ни выбирали и ни назначали, правду им все равно замолчать не удастся, равно как и не удастся покарать Чагодай. А я все равно его увижу, потому что в нем родился и не может быть так, что ему нет дела до отбившейся от стада овцы.

Шепча все это едва ли не вслух, я добрался на автобусе до метро, где с рыбацким рюкзаком и неряшливым свертком с девочкой был похож на просящего подаяния стеснительного мошенника или отчаявшегося папашу, которому не хватает денег на прокорм семьи. Но в метро к таким картинкам привыкли, и, не будь на Савеловском вокзале невидимой постороннему глазу настороженности и слезки, я легко бы взял билет и сел в поезд. Однако те люди, до которых уже дошло, что исчезновение Чагодая не шутка, и которые наблюдали за каждым движущимся в его направлении человеком, что-то заподозрили, меня остановили у билетной кассы, и, вместо того чтобы сесть в общий вагон и прижаться раскаленным лбом к пыльному прохладному стеклу, я попал в знакомое отделение милиции, где задержанного сразу опознал памятный старшина и шепнул операм про мои высшие связи в среде агентов вражеского влияния.

Они отпустили бы меня, но дитя, как казалось им, взятое для отвода глаз, привело их в бешенство. Три недели меня били и допрашивали, пока наконец, убедившись, что никакого отношения к нынешнему Чагодаю пойманный оборванец не имеет, выпустили на волю. Но маленькую девочку я больше не увидел.

Ее отдали в детский приют. Я ходил туда каждый день и пытался убедить холеную заведующую с глазами актрисы Гундаревой, что, если младенца занесло на мой балкон и я хочу эту девочку воспитывать, значит, так и должно быть, и неужели она осмелится выступить против очевидных вещей? Заведующая сочным голосом говорила про очередь желающих взять детей, когда же я просил меня в эту очередь поставить, спрашивала, где я работаю, сколько зарабатываю и как мыслю растить ребенка, и, не дожидаясь ответа, выпроваживала из кабинета.

Я караулил и стерег всех, кто приближался к незаметному зданию на окраине Москвы, где лежали в кроватках отказные дети.

Сюда приезжали на красивых машинах нарядные люди, иногда слышалась иностранная речь, а у дверей стоял рослый охранник с лицом благочестивого семинариста. Я познакомился с нянечкой и, продавая последнее, что оставалось дома, стал платить за то, чтобы она наблюдала за ребенком. Несмотря на деньги, она почему-то выполняла поручение неохотно и однажды торжествующим голосом объявила, что девочку купили и завтра увезут.

— Как купили? Кто? — вскричал я.

— Иностранцы, — ответила нянечка и с гордостью добавила, что по существующему закону неграждане России имеют право забирать больных русских

детей, от которых отказываются россияне, и при этом платят за вывоз каждого ребенка по двадцать тысяч долларов.

— Но она совершенно здорова и я не отказываюсь от нее! — завопил я.

Старуха замялась и стала убеждать меня, что сейчас, когда снова вернулись очереди и все стало пропадать из магазинов, когда страшно жить и ждать зиму и никто не знает, что будет завтра, это лучшее, что можно сделать для ребенка, а потому, если я ее по-настоящему люблю и желаю счастья, если считаю, что Господь не случайно второй раз подарил ей жизнь, то легко смирюсь с тем, что она уедет в сытую страну к любящим, обеспеченным супругам.

Я понял, что узнаю правду только в том случае, если прикинусь согласным. Обрадовавшаяся, легко давшая обмануть себя старушка рассказала, что уже несколько лет по всей стране действует фирма, которая занимается подбором детей для отправки за границу, а во главе ее стоит добрейший человек, спасший не одну сотню человек.

Болтливую женщину сбила на следующий день машина, а у меня вдруг включился телефон, и мужской голос с деланным горным акцентом велел не лезть не в свое дело и забыть о том, что я слышал.

Но меня уже ничто не могло остановить и никто не мог ни в чем убедить — ведь когда-то точно так же и меня вывезли на погибель из Чагодая, и чего бы я теперь ни дал за то, чтобы остаться там навсегда. Я найду этих чужеземцев, объясню, что счастья чужой ребенок им не принесет, и они испугаются, потому что чем благополучнее и сытее человек, тем он трусливее.

Я шел в гостиницу и знал, что уйду с ребенком на руках. Никогда я не был так уверен, что поступаю верно, я распрямился и встал во весь рост, как подобает мужчине, но навстречу из подъезда выскочили неизвестные молодые люди, усадили меня в машину и повезли за город. Я не понимал, что и зачем они делают и почему везут меня на моей же машине, почему все опять повторяется — сырая дорога, леса и огни деревень, почему они молчат и не видят, что мы едем на красный свет, а на перекрестке сбоку выезжает что-то черное, и в следующее мгновение в нашу машину плавно въезжает грузовик, и перед глазами у меня плывут разноцветные круги. Я вижу их отчетливо, а когда прихожу в себя, за окном белым-бело, лежит снег, а надо мной склоняется убитая нянечка из детского приюта.

XVIII

Я совершенно не уверен, что случившееся до и после не было лишь игрой моего воображения или посмертным путешествием души. Но тем не менее полагаю необходимым все описать, ибо без этого история моей жизни окажется неполной.

Итак, как выяснилось позднее, в третьем часу пополудни **сентября ***года, когда я первый раз ехал на «тойоте» в Чагодай, городок накрыло туманом. Исчезли все дороги, которые к нему вели, оборвалась телефонная связь и перестал отвечать телеграф. Всяческих новомодных изобретений вроде сотовых телефонов, пейджеров или компьютеров, подключенных к Интернету, в городе не было, но, видимо, перестали бы действовать и они. Чагодай отрезало от мира, как отколовшуюся льдину, и понесло неведомо куда.

Однако в течение довольно длительного времени его исчезновение оставалось незамеченным. Билеты на сонковский автобус к тому времени стали такими дорогими, а зарплату в городе так давно не получали, что чагодайцы никуда не ездили. В окрестностях Чагодая никто этому не придавал значения: такое случилось и раньше, когда кончался бензин, сносило по весне мост или обрывало кабель. Лишь в гидрометцентре удивились сильному туману. Но поскольку именно туманами лесная местность славилась давно, то и вникать в дело подробно не стали. Появилось в областной молодежной газете сообщение на последней

странице — пропал город, но отнесли к нему как к курьезу: куда он мог запропасться?

Первыми пропажей Чагодая всерьез озаботились в большой далекой стране, когда на экранах компьютеров в красивом пятиугольном здании исчез целый кусок земли в восточном полушарии, где находилась часть противовоздушной обороны вероятного противника. В связи с чем стране, которой принадлежал Чагодай, был заявлен официальный протест, а непрерывавшееся и уже попросту неприличное удивление ее продажных чиновников при упоминании топонима Chagoday было воспринято как тактическая уловка.

Но когда власти на месте начали неофициальное расследование и были посланы специальные машины и самолеты, то оказалось, что и на земле, и в воздухе все теряется в тумане, сквозь который не видят никакие приборы. Правительству пришлось сделать уклончивое заявление о том, что Россия столкнулась с аномальным природным явлением, объяснить которое современная наука не в состоянии. Загадочную местность принялись обследовать десятки научных экспедиций. Брали пробы воздуха, грунта и воды, делали замеры температур, расшифровывали космические снимки и изучали метеосводки прошлых лет. Появилось несколько оригинальных гипотез, прошли широкая, наспех организованная конференция и нервное закрытое совещание в узком кругу, но какие только попытки ни предпринимались, поисковые группы спасателей, военные и части МЧС прорваться к городу так и не смогли.

Удалось установить только одну бесспорную, хоть и странную вещь: зона, возникшая в районе Чагодая, имела достаточно четкие границы и по форме представляла собой не совсем правильную куполообразную сферу, отчего и стали в дальнейшем именовать ее Куполом. В одном журнале поминалось ветхозаветное облако, из которого Господь говорил с Моисеем. В другом было проведено большое исследование о сходстве формы чагодайского купола с куполами, распространенными в новгородской, псковской и московской архитектуре, и ближе всего он оказался к новгородской, что, учитывая связь Чагодая с Новгородской республикой, наводило на дополнительные размышления о природе явления, но несколько не приближало к поиску истины. Тогда же выяснилось еще одно загадочное обстоятельство: незадолго до исчезновения Чагодая проживавшие в других населенных пунктах его жители вернулись на историческую родину, и за пределами города не осталось ни одного урожденного чагодайца, кроме неизвестного пациента захудалой больницы в одном из отдаленных райцентров Тверской губернии, который поступил без документов с опаснейшей черепно-мозговой травмой, и уже несколько недель шансы его на выживание вяло колебались возле отметки — состояние тяжелое/крайне тяжелое.

Иногда я просыпался — кончалось действие снотворного — и сквозь боль видел крашенные стены. Ночью за окном горел одинокий фонарь. Редко мимо проезжала машина, и опять становилось тихо. Днем на дворе играли в футбол мальчишки и доносились их радостные крики. Потом боль становилась сильнее, приходила медсестра, и я впадал в полудрему. Однажды я услышал, как вполголоса за моей кроватью совещались несколько человек, стоит ли отправлять меня в Москву либо в Тверь или же я не выдержу долгого пути. В конце концов решили не трогать. Но со временем жизнь, до той поры качавшаяся на весах, стала перевешивать, я начал выздоравливать, если только и это ощущение не было иллюзорным, и принялся потихоньку оглядываться по сторонам и присматриваться к месту, в которое попал.

Это была совсем крошечная, но очень уютная больничка с высокими потолками, толстыми кирпичными стенами, домашней кухней, ленивыми котами, бесхитростными нравами и полным отсутствием каких-либо строгостей. В просторной палате лежало много человек с самыми разными болезнями. К ним часто приходили родственники, к иным добирались из дальних деревень, и разго-

воры о ценах, пенсиях, коровах, дровах, огородах, картошке, клюкве и сене, которые так раздражали меня в Чагодае, казались теперь невероятно трогательными. Иногда палата становилась пустой, и привыкший к больным, я сильно по ним скучал — иные уходили отсюда совсем в другом направлении, было несколько человек, мучившихся раком, которые стонали и просили уколов, а потом блаженно затихали.

Однажды привезли сразу семерых. Они вскрикивали и походили на раненых солдат, доставленных с поля боя. Но когда рассвело и я стал вглядываться в их лица, то тотчас же узнал рыбаков, с которыми ехал в одном автобусе много лет назад и которых унесло на льдине. Их успели снять до того, как льдина окончательно раскололась, и теперь обмороженные, истощенные, они лежали и говорили о блеснах, мормышках, ледобурах, мотыле и были готовы, как только встанут на ноги, пойти рыбачить снова.

Меня рыбаки не помнили, но жалели грубовато, по-мужицки, и делились чем могли. Они были очень раздосадованы, что не нарыбачились, еще их заботило, где взять денег, — тут называлась громадная сумма, которую они должны были уплатить за поисковые работы и вертолет. Но денег таких все равно не было, и, помолчав, они принимались толковать о том, как хорошо по последнему льду идет рыба. Вскоре их выписали, и я с тоской подумал, что они ушли из моей жизни, как уходили тогда по льду.

Мне нравилось путешествовать по снам и не хотелось просыпаться, тем более что со временем я лучше приспособился ими управлять. Сны прирастали новыми подробностями, влекли за собой и, как в детстве, стали заменять реальную жизнь, помогая забыть про исчезнувшую маленькую девочку, которая уже перелетела через океан и находилась под постоянным наблюдением врачей, спала в красивой кровати, купалась в ванне с морской водой, кушала самые лучшие молочные кашки с витаминами А и D, следила умными глазками за яркими погремушками и привыкала к чужой речи.

А некоторое время спустя, в середине промозглой оттепельной зимы, в этом городе, в этом сне у меня появился друг, или, точнее сказать, собеседник. Это был странный человек. Заикаясь, представился писателем и сказал, что его заинтересовала моя судьба. Как он мог обо мне узнать, Андрей Петрович так вразумительно и не объяснил, но над такими простыми вещами я не задумывался. Едва ли не с параноидальной настойчивостью он выспрашивал меня о детстве, о Чагодае, об университете, о моих родителях, о Морозкине и о Горбунке, о жизни с Аленой и о девочке, которую я обнаружил в пододеяльнике на балконе, хотя в последнюю историю он, по-моему, не поверил, как ни пытался я его убедить, что она-то и есть самое главное.

Иногда мне бывало немного скучно и тягостно, иногда я оживлялся — этот маленький толстый человечек с редкими, но лохматыми волосами и гладким подбородком умел к себе расположить. Он не скрывал того, что дела мои плохи, не отводил глаз в очках с крупными линзами и не утешал. Андрей Петрович постоянно напоминал: время моей жизни сокращается, и он не хочет, чтобы она оказалась напрасной и я ушел в небытие, ничего после себя не оставив.

Однако в действительности его интересовал не столько я, сколько Чагодай, и мы часами сидели над картой городка. У него имелся точный план нашей местности, и я рассказывал ему, что находится в том или ином здании, на какое из лесных озер ходят ловить рыбу и где больше бывает на болоте клюквы, где стоит часть ПВО и растут в сосновом бору грибы, и все это напоминало детскую игру с кубиками и фишками, от которой невозможно оторваться.

Мы часто рассуждали о том, что могло произойти в Чагодае, строили различные предположения, и, по версии Андрея Петровича, в городе о грядущем исчезновении не просто знали, а сами устроили так, чтобы туман стал непроницаемым. Может быть, сбежал туда гений вроде Горбунка или сам богострои-

тель Евсеюшка Наумович решил основать новый монастырь и придумал такую штуку, чтобы никто его не беспокоил, а шовинист Морозкин долго колебался, является ли отпадение Чагодая угрозой государственному суверенитету страны или единственным шансом этот суверенитет спасти, создав зону, свободную от чужого влияния, и в конце концов дал добро на провозглашение независимости.

А может, Морозкина слушать никто не стал и он ушел в подполье. Но так или иначе, говорил Андрей Петрович, решено было всех чагодайцев, разъехавшихся по миру, призвать вернуться на землю обетованную. Для того мне и послали письмо на тисненном бланке, не потому, что я был там кому-то дорог, не потому, что поведал гениальному троллю про туманы и тишину, не потому, что в городке решили открыть автошколу и пригласить меня на должность ведущего инструктора, а потому, что я родился в Чагодае.

Все это гномик-гость рассказывал со знанием дела, словно был моим двойником и не от меня узнал подробности мясоедовской жизни, но сам ее пережил. Я чувствовал, как перетекает к нему родная судьба, и становилось обидно за то, что меня опять используют, но потом вдруг почудился в этом намек на некое бессмертие.

Там, в больнице, прислушиваясь к стонам больных и смеху медсестер, заигрывающих с выздоравливающими мужчинами, к протяжным вздохам ожидающих смерти стареньких нянечек и ворчанию сторожей, младенческим воплям котов и предрасветному птичьему гомону, мучаясь бессонницей во сне и одиночеством, я часто размышлял о бессмертии и о том, каким оно будет. Странно, как уживались во мне две вещи — желание умереть и желание быть бессмертным. Впрочем, по-другому и не бывает, сказано же: для того, чтобы воскреснуть, надо умереть. Но дело все в том, что хоть я и листал с пристрастием в молодости шелестящие страницы бельгийской Библии, хоть и был человеком полуверующим, подобно тому, как был пошехонским полукровкой, я не вкладывал в это понятие никакого религиозного смысла, а скорее некий житейский.

Остаться хотя бы в качестве литературного героя и этим сделаться всем известным, попытаться тронуть, вызвать сочувствие, насмешку, презрение или же, напротив, оскорбить, уколоть да даже и оставить равнодушным, найти того, кто напишет историю жизни пусть не самого интересного, но жившего и имевшего судьбу человека, — вот чего я хотел.

Я был уверен, что в отличие от честолюбца Васи Филимонова, еще в молодости иссушившего душу поисками врагов и оттого растерявшего до полного бессилия свой талант, куда более осторожному и по-чагодайски бережливому Андрею Петровичу будет под силу запечатлеть мой образ.

Толстячок слушал внимательно, но иногда казалось, что он больше походил не на писателя, а на гениального неприметного актера, который вздумал играть меня, мою роль в театре или кино. Однажды я ему об этом сказал, и он расхохотался, но прежде я увидел промелькнувший в его глазах испуг. Впрочем, я всегда был мнителен, и мне черт знает что могло померещиться. Да и Андрей Петрович — откуда он приходил: из моих снов, соседней квартиры, навещал по поручению Союза писателей бывшего СССР или был приставлен теми людьми, кто задержал меня на Савеловском вокзале с девочкой на руках?

Между тем вокруг Чагодая кружились журналисты, исследователи-одиночки, шатались десятки, а потом и сотни праздных людей. Возникла целая отрасль по изготовлению сувениров в виде туманной шапки. Было написано несколько скоропалительных книжек, появились юркие турфирмы, устраивавшие облет Купола на вертолете и затеявшие между собой отчаянную драку за эксклюзивное право на это путешествие. Если верить газетам, то чагодайский Купол для России стал чем-то вроде Эвереста для Непала. За каждую экспедицию или экскурсию брались бешеные деньги, Чагодай вошел в моду, возникла масса тече-

ний, теорий, движений, объявлялись люди, утверждавшие, что они вернулись из-под Купола, наиболее ловкие сделали себе имя и занимались сочинением небылиц.

Теперь я несколько не сомневался, что это лишь сон, но так полюбил свои видения, что научился их вызывать. Я редко выходил на улицу — ждал продолжения сна и уже не знал, сочиняю ли я его или сон сочиняет меня и не есть ли вся моя предыдущая жизнь такое же видение?

Может быть, я смотрел одинокими митинскими ночами больничные сны, а больничными ночами — сны чагодайские? Таинственные видения разворачивались передо мною, и все чаще и чаще я представлял утонувший в облачной мгле лесной городок, и его незатейливая история напоминала мне детскую сказку про злую волшебницу, напустившую на страну муми-троллей желтый туман. Я думал о людях, которые с трудом дышали, уже много месяцев не видели ни солнца, ни звезд, голодали, не ведали, что творится в большом мире, и, быть может, полагали, что он просто погиб, а они единственные уцелели, не зная, радоваться этому или печалиться. Мне было их бесконечно жаль. Я никогда не высказывал своего предположения вслух Андрею Петровичу, но, что бы ни говорили в ту пору о Чагодае, до какой ерунды ни дописывались, мне чудилось, что городок просто тихо спрятался от всех, как прячется больное животное, которое не хочет, чтобы видели его смерть.

Иногда мне становилось чуть лучше, иногда опять хуже, и казалось, что я не выйду из больницы уже никогда. Мне очень нравился город, где я жил. Что-то в нем было от Чагодая: старые дома, торговые ряды, лабазы, колокольни, церкви, холмы, — не было только туманов. Я полюбил мечтать, как тут поселюсь, найду себе занятие и так доживу до конца дней подле Чагодая, потому что попасть в него все равно невозможно. Он ушел из мира, захлопнув дверцы, и мне больше не подчинялся. Созданный моим воображением город женщин и подвластных им мужчин, суровых школьных учительниц и ласковых кастрированных котов, нежных и надежных библиотечных работниц, искусных огородников, азартных попов и многочисленных начальников милиции, город, которого нет ни на одной карте. Есть река Березайка в Тверской губернии, есть река Чагода в Вологодской, там же есть города Чагода и Кадуй, есть большое село Березовский Рядок, деревня Совино и река Молога, есть город Весьегонск и станция Сонково, есть Удомля и Устюжна, Максатиха и Пестово, Сандово и Бабаево, только Чагодая нет — этот несуществующий, а может быть, никогда и не существовавший городок зажил собственной жизнью и в легкомысленном и легковесном создателе отныне не нуждался.

Я очень по нему скучал и не понимал, почему он мне больше не снится. Почему меня бросили и не рассказывают, что будет дальше, почему не приходит Андрей Петрович, или, как всякий писатель, он выжал из меня все, что мог, и далее я его не интересую? Я хотел знать, что происходит в туманной мгле и кого она однажды породит. Ведь не для этого я все затеял и не могла моя идея сгинуть так же бесследно, как ее автор, не могла затеряться история Чагодая и таинственного свода над ним, не могла никого более не увлечь — что-то же за ней стояло, и не зря я мучился бессонными ночами и сочинял сны.

О Куполе пописали-потолковали, поизгалялись и понарисовали карикатур, но вскоре читать про это надоело, статьи о Чагодае прекратились, будто кто-то невидимый распорядился перестать их печатать. На земле творились куда более интересные вещи — клонирование овец и людей, великосветские скандалы и терроризм, гомосексуальные браки, превращение мужчин в женщин, финансовые обвалы, президентские адюльтеры, показы мод и чемпионаты по теннису и футболу, — загадочное чагодайское пятно постепенно сошло с первых полос, и известия о нем заглохли.

Размеры таинственной зоны вопреки первоначальным опасениям не увеличивались, туманная масса со временем затвердела — никакой угрозы для окружающей среды не представляла, и, как ни возражали иные из ученых, до-

рогостоящее исследование стали сворачивать, а финансирование было решено прекратить до наступления более благополучных времен, завещав эту проблему наряду с южнокурильскими островами будущим поколениям. Купол оградили колючей проволокой и поставили часовых, о самих же чагодайцах, оказавшихся в положении шахтеров, засыпанных породой, не говорилось вообще.

Однако по прошествии некоторого времени вокруг наглухо задраенного сооружения стали собираться иные люди — молчаливые, сдержанные, они узнавали себя по едва приметным признакам. Чагодай притягивал их к себе, и это были не просто туристы, сумасшедшие эзотерики, помешавшиеся сектанты или тихие оккультисты — то была неведомая никому порода чающих движения воды и терпеливо ожидающих, когда за ними придут. Они были настолько в этом уверены, что их одержимость казалась пугающей. Среди них бытовали легенды и предания, и главная состояла в том, что иногда из Купола приходит человек и уводит с собой одного или двух паломников. Так они жили в ожидании провожаемого и готовы были ждать целую вечность.

Потом я понял, что и Андрей Петрович был из этих людей или, вернее говоря, прикидывался к ним принадлежащим. Предпринималось множество попыток заслать в Чагодай лазутчика, но все они заканчивались ничем, пока не был обнаружен единственный уцелевший чагодаец. Однако мне не доверяли и, кто знает, быть может, хотели отправить Андрея Петровича в Чагодай вместо меня и для того так тщательно его готовили и заставляли вживаться в мою жизнь?

Но однажды в забытой кем-то газетенке я нашел сообщение о загадочной гибели молодого мужчины. Я бы не обратил на него никакого внимания — мало ли молодых мужчин погибало в ту пору, — но когда пригляделся к фотографии, то увидел на ней... Андрея Петровича, грустного, задумчивого и тихого, опечаленного не своей судьбой, но судьбами тех, кто оставался жить.

XIX

Меня отыскиали.

Одетые в водонепроницаемые костюмы, с касками на голове, бородатые, загорелые, они напоминали спортсменов-водников, и главным среди этих странных людей был католический монах восточного обряда. Он протянул руку, назвал свое имя — Александр — и сказал, что по рождению он бельгиец, из фламандской части страны, в Левене окончил католический университет и вскоре поступил в Шеветоньский монастырь. По-русски он говорил очень хорошо, с обворожительным мягким акцентом и с такой уверенностью, будто не сомневался, что я прекрасно знаю, где находятся Левен и Шеветонь, кто такие католики восточного обряда и чего они хотят. Но, странное дело, услышав его, я успокоился. Мне понравился этот веселый и жизнерадостный свободный человек — совершенно не похожий ни на забитого отца Алексея, угодливо играющего в карты с Морозкиным, ни на сухонького клирика из кагебешного костела, что собирал с прихожан рублевые бумажки.

Александр проговорил со мной около часа, и то, что он произносил, было ужасно, не укладывалось в голове, казалось большой фантазией религиозного фанатика, если бы только не звучало так доверительно и мягко.

Прелат утверждал, будто бы случившееся в Чагодае есть вовсе не заговор, а не что иное, как исполнение Божьей воли и построение рая на земле, точнее, перифразы XX главы Откровения, где говорится о тысячелетнем царстве Христовом, наставшем после того, как ангелы Господни вылили на землю семь чаш гнева.

— В глубине сердца я давно этого поджидал, — говорил Александр, расхаживая передо мной и время от времени бросая тревожные взгляды в окно, — это только глупые американцы, которые уверовали в свою мощь и в мощь своего оружия, забыли о том, что Земля находилась под Небом и не мо-

жет оно столько безмолвствовать. Это только в их цыплячи мозги могла прийти смешная, нелепая идея, словно бы Купол — секретное оружие русских.

От напряжения он вспотел, сделались мокрыми волосы. Извинившись, достал из сумки пластмассовую бутылку с водой «Святой источник» и жадно из нее отпил.

— Просто не могло так долго продолжаться. Господь должен был дать знак. И такой знак, который не оставил бы сомнения уже ни у кого. Такой знак, от которого нельзя было бы отмахнуться. Он должен был властно напомнить о Себе. Напомнить не только карами, которых на человечество было ниспослано за последнее столетие без меры. Он должен был напомнить о Себе Своей милостью. Он напоминал об этом людям без устали. И то, что они не убили себя в смертной злобе, не задохнулись от равнодушия в своих благополучных коттеджах, — все это есть проявление Его милосердия. Но, как избалованное дитя, человечество не замечало простых и ясных божественных знаков. И тогда Там было решено прибегнуть к крайней мере.

Он говорил о том, что я не должен бояться пойти с ним, ибо меня избрал для этого Бог и по Божьему попущению я не попал под Купол раньше — не попал только потому, что я должен прийти туда не один, а с посланцем Святого Престола. Весь мир сумел внушить России, что со своим Чагодаем она есть вечная угроза человечеству. Ее заставили посыпать голову пеплом, ее оклеветали, и она поверила, в то время как всех опередила и теперь призвана повести за собой, спасти и уберечь.

— Но почему именно Чагодай? — только и спросил я, оглушенный его напором.

Прелат тонко улыбнулся.

— Провидение, мой друг, всегда выбирает для своих чудес отдаленную и заброшенную местность. Вспомните, что Сам Спаситель вышел из захудалой иудейской провинции.

Не знаю, откуда у него была такая уверенность в Провидении, может быть, католикам и впрямь что-то открыто, чего не ведал отец Алексей, ни разу в жизни не заикнувшийся о Провидении, а больше озабоченный ремонтом церковной крыши и требами. Может быть, не зря искали цивилизованные люди истину в этой могущественной, не давшей поставить себя на колени каменной вере и напрасно не приняли ее наши прадеды. Но, чуть помолчав, прелат высказался яснее, и, услышь смиренномудрый чагодайский батюшка его речи, думаю, огорчился и порадовался бы одновременно.

— В мире творятся страшные вещи, мой друг. Папу больше не любят так, как любили раньше. От него отпадают целые народы. Скоро он останется в одиночестве, как осталась в одиночестве ваша страна. Таков удел избранных, примета конца и решающей схватки перед концом, когда верные должны объединиться, потому что только в единстве мы сможем сокрушить общего врага. России нужен Папа, а Папе нужна Россия, — торжественно закончил прелат, — и мы с вами должны это свершить. Вы и я.

Я слушал его и понимал одно: если пойду с ними, то не вернусь из своих снов и фантазий уже никогда. Моя машина просто не остановится, и я буду мчаться вечно, пока будет жив Чагодай. Но за что мне было еще держаться?

Нас было около пятнадцати человек, и мы собирались отправиться в туман. У них возникла идея, которая только этим людям в голову и могла прийти, — сплавиться вниз по реке и так попасть в Чагодай.

Промчавшись по спящему городку, мы спешно погрузились в вертолет и вскоре оказались в облаках, поднялись над ними, и я начал догадываться, что мы просто умерли и не приземлимся уже никогда или приземлимся за чертой этого мира, которой, возможно, и стал чагодайский Купол, и иначе, как умерев, попасть под него невозможно.

Сколько прошло времени, я не знал. Мы поднимались все выше и выше. Сделалось холодно. Лица моих спутников застыли, словно маски. Прелат перебирал четки и шептал слова латинской молитвы. Ничего мягкого и обворожительного в его облике не осталось. Передо мной сидел жесткий и расчетливый человек, и я понял, какую ужасную, непоправимую ошибку мы совершили, ему доверившись.

Никто из летящих не слышал нашего разговора, никто не знал, с какой целью мы отравляемся под Купол. Это была просто хорошо слаженная команда туристов-водников, которые прошли все самые сложные реки мира, и Бог знает, как удалось Александру уговорить их отправиться на простенькую Чагодайку.

Быть может, он заплатил им, пригрозил или увлек в свою веру, но ни один из них не хотел со мной говорить, и все опять оказалось поразительно схожим с тем, что я испытывал в апрельскую ночь, когда, высланный из Москвы, ехал в родной город на поезде, окруженный молчаливым враждебным народом, и думал о составе, несущемся без машиниста под откос. Такими же молчаливыми, отстраненными и чужими были люди вокруг, так же неведом был ведущий машину пилот, и, как когда-то, мне хотелось из чагодайского поезда выбраться, сойти на любом полустанке, затеряться и уйти от того, что должно было со мной произойти, точно так же теперь я был готов вернуться обратно в московскую квартиру, провинциальную больницу, к Алене, в университет или народную партию — в любой из моментов своего темного прошлого.

Мой взгляд заметался по машине, по большим продолговатым бакам с топливом, заваленному рюкзаками хвосту и дверке в кабину. Старший из водников открыл окошко и поглядел вниз.

— Где мы теперь? — наклонился к нему прелат.

Водник достал карту, ткнул пальцем в верхний правый угол, и все оборвалось у меня внутри — это был тот самый план, который приносил в больницу несчастный Андрей Петрович.

Теперь мы летели совсем низко над верхушками деревьев. Глядя в окошко, я с ужасом представлял, что произойдет, если машина заденет высоковольтную линию. Неожиданно сверкнул луч прожектора, и машина опустилась на маленькую площадку у реки, где еще сохранилась от прежних времен аккуратная туристическая стоянка — кострище, столик, скамейки, сделанный из березок навес для тента, места для палаток с прорытыми вокруг канавками на случай дождя. Все это выхватывали прожекторы, за колючей проволокой кричали в мегафоны злобные голоса.

Водники принялись торопливо выкидывать вещи. Прелат вынул из сутаны пачку денег, сунул ее нервничающему пилоту, который смотрел на нас как на смертников. Вертолет резко взмыл в воздух, уходя от лучей, пытавшихся его поймать. Неимоверной силы поток воздуха сорвал с Александра клобук, и черный головной убор полетел над землей. Отключившись от происходящего, я совсем не помогал людям, которые в спешке, будто за нами гонятся, собирали лодки, и не увидел яркой вспышки и грохота подбитой машины.

На мгновение все остановилось. Прелат перекрестился. Вдалеке мы услышали захлебывающийся собачий лай. На счастье, поверх тумана чагодайского свалился обыкновенный весенний туман и спрятал нас от прочесывающих местность солдат.

Они подходили все ближе и ближе, но мы уже сели в лодку, и нас потащило вниз по реке. Обыкновенный туман кончился, и я увидел похожее на горную породу вещество. Сферические своды уходили к небу. Неровная, затвердевшая, растрескавшаяся порода. Внизу имелось нечто вроде пещеры, куда текла порожистая Чагодайка. Река неслась со страшной скоростью в неглубоком каньоне. На ее берегах появились фигурки в пятнистой форме, и по черной воде заплясали всплески пуль. Команда в лодке действовала слаженно. Мы летели мимо

страшных камней и водоворотов, и через считанные мгновения перед нами уже открылся лаз в преисподнюю. Вода уходила в черную дыру с жутким ревом. Ее было так много, а горловина реки такой узкой, что не оставалось места для глотка воздуха. Мы стали отчаянно табанить, лодка пошла медленнее, казалось, был шанс спастись и уберечься от падения в эту пропасть. Но сзади уже слышен был топот сапог.

— Вперед! — отрывисто приказал Александр.

Нас понесло неведомо куда, несколько раз перевернуло, дышать было нечем. Люди посыпались в воду, нас затягивало в воронку, в дыру. Я ощущал ее тесноту и спертость, бил руками по скользким каменным стенам, пытался вырваться, но все теснее делалась горловина, мелькнул впереди отблеск тусклого света, кто-то схватил меня за горло, и я потерял сознание.

Когда я очнулся, нас было двое — я и Александр. Не знаю, что произошло с остальными: погибли или река протащила их дальше и вынесла с другой стороны Купола? И что они стали делать — ждать следующей оказии или, разочаровавшись, вернулись к прежней жизни? А может, наложили на себя руки в тоске или сошли с ума?

Вокруг был лес. Весенний, сырой, только с грибным осенним запахом, а может быть, я просто отвык от запаха русского леса. Под ногами недавно очистившаяся от снега мокрая земля. Снег лежал кое-где под елями, усыпанный иголками, ноздреватый, крупнозернистый. Река текла покойная, тихая, с зеленой мутной водой. Нерестилась щука, и видно было, как метались под берегом огромные продолговатые рыбы тела. Из-под прелой листвы пробивались цветы. Кричала кукушка, и ее крик терялся в вязкой тишине.

Прелат молчал.

— Разочарованы? Думали, что услышите райское пение, увидите ангелов? Или у вас спросят документы?

Я попытался представить, как должен выглядеть Рай, но тут меня отвлек возглас прелата. Туман оборвался. Я увидел рассеянный свет, вдохнул обыкновенный воздух и подумал, сейчас упаду без сил.

Боже, я очутился в Чагодае! Но города на месте не было.

XX

У меня все меньше остается сил. Все реже я просыпаюсь и оказываюсь в реальности. Уже который день Чагодайка петляет, кружит и несет меня через препяты и плесы. Хочу сойти на берег, но сделать этого не могу, потому что со всех сторон меня окружают скалы. Я устал от сидения в лодке. Ноги и спина затекли, я ооченел, хочется размяться, справить нужду и погреться у огня. Но огня нет, нет рюкзаков с едой, водкой и сменной одеждой, а есть только сырость, духота и марево густого тумана, что капельками оседает на штормовке и сквозь непромокаемую ткань проникает на кожу.

Напротив меня — прелат. На его лице не видно ни усталости, ни разочарования. Он мерно взмахивает веслом и шепчет слова молитвы. Я должен его победить, собрать волю и вырваться. Это очень трудно, потому что сон сильнее меня, я слишком долго позволял ему владеть своим сознанием, поверил в его нелепицу, и теперь он не хочет меня отпускать. Наверное, у всех, кто находится в этом сне, есть свои интересы — и у прелата, и у реки, и у лодки, и у тех, от кого, и у тех, к кому мы плывем. Но однажды я делаю над собой невероятное усилие, и мне удается проснуться в квартире и уцепиться за это мгновение не сна.

Надо торопиться, нельзя проваливаться в сновидение, потому что один Бог ведает, когда еще раз очнусь и очнусь ли. А между тем у меня есть одно или, лучше сказать, осталось последнее и очень важное дело. Я иду заводить машину. На улице оказывается осень — прошлогодняя или этого года, не знаю. Смешно сказать, даже не знаю, какого она тысячелетия, ведь одно должно было кончиться, а другое начаться. Машина, простоявшая на дворе целый год, а может быть, и

больше под снегом и дождем, понимает, что мне нужно ехать, и заводится с пол-оборота. Выезжаю из города, но на тускло освещенной окружной дороге мою машину выхватывает из потока и останавливает гаишник.

У меня нет талона техосмотра и нет денег. Пробую что-то объяснить, но он не слушает, отбирает права и техпаспорт, и я еду дальше, бесправный автомобильный бомж. Но это нимало не заботит меня, на следующем посту с машины свинчивают номера, и, расставаясь с этими символами принадлежности к реальному миру, я испытываю облегчение — они никогда больше уже не потребуются. Жизнь, которая меня ждет, будет совершенно новой, и все нынешнее, так заботящее большую часть людей, утратит в преобразившемся мире цену и смысл. Я еду счастливый и свободный, с меня нечего больше взять, и меня отпускают все проверяющие люди в форме. Я знаю эту дорогу — помню ее. Сон и явь должны слиться, игра должна быть преодолена — это и есть единственная цель моей жизни, призвание мое, за которым я гонялся столько лет.

Я съезжаю на проселок, останавливаю машину и засыпаю, однако сплю очень чутко, контролируя себя и не подпуская ни одно сновидение. Сны меня слушаются — они кружат рядом, я чувствую их присутствие, но ни один из них не смеет приблизиться. Они ждут, когда я крепче усну, чтобы завладеть моим сознанием. Но я просыпаюсь.

Мой костер горит на опушке, я протягиваю к пламени руку и чувствую обжигающий жар. Как жаль, что нет сил бороться с новым сном. Я слышу голос прелата и прячусь, затихаю, никак на него не отзываюсь, а он, сложив руки у рта, громко выкрикивает мое имя, и его клич похож на уханье лесной птицы. Он вот-вот должен меня настичь, но вдруг к костру подходит человек. Невысокого роста мужик присаживается у огня, закуривает, спрашивает, откуда и куда я еду, и рассказывает, что ищет заблудившуюся корову. В его охрипшем голосе нет враждебности. Посидев немного у костра, он уходит в ночь и, матерясь, зовет заблудшую буренку. Я ему благодарен и жалею, что у меня нет водки и я не могу налить ему стаканчик. Дожидаюсь рассвета и сажусь в машину. Но теперь она не заводится. Чего я только не делаю, даже прокаливаю в консервной банке свечи, но двигатель упрямо молчит. И я понимаю, что мне нужно пройти последние километры пешком.

Шоссе совершенно пустынно, нет ни одной машины, которая подбросила бы меня до города, нет никакого ограждения, нет ничего странного вокруг — даже тумана нет. Все ближе и ближе я подхожу к Чагодаю, позади остается отцовская дача с остовом разграбленной теплицы. Сквозь высокие деревья мелькают изгибы реки, появляются безжизненные локаторы забытой воинской части, и вскоре я вижу с горы весь городок.

Он еще спит. Раннее утро, лишь кое-где молчаливые и дрожащие от холода ходят собаки и козы. Иду к дому, но найти его не могу. Подхожу к месту, где он должен стоять — узнаю соседние дома, но моего почему-то нет, и у меня возникает ощущение, что его снесли или еще не построили...

— Просыпайтесь! — Александр легонько толкнул меня в бок.

Я растерянно поглядел по сторонам. Я уснул на сыром мху, за это время стало совсем светло и душно. Сверху падал рассеянный свет, как будто мы находились внутри огромного собора, который, как в сказке, выстроили по щучьему веленью за одну ночь вольные чагодайские каменщики. А внизу, в воронке, по ее склонам, похожим на громадный каньон, прорытый рекой, располагался город. В нем не было улиц — он напоминал кавказский аул или таинственное коммунистическое государство инков в Андах, которое играючи разрушили две сотни испанских конкистадоров. Дома были связаны канатной дорогой. В вагончиках ехали люди: бабки с кошелками, мальчишки, ребенок плакал.

Из глубины ущелья поднимался туман и, как дым костра, растекался над лесом, так что увиденное казалось скорее проекцией не Царствия Небесного, но его противоположности. Я поежился и нерешительно посмотрел на прелата:

первый иностранец за тысячу лет существования Чагодая ступил на заповедную землю, но в его глазах не было ни любопытства, ни презрения, ни ненависти, ни любви, а только странная одержимость.

Прелат достал пистолет и пошел вперед.

— Зачем вам оружие?

Александр не ответил.

Никто не обращал на нас внимания, как если бы мы были не живыми людьми, а теньями. Прелат подвел меня к моему дому — он шел так уверенно, словно это не я должен был стать его провожатым, но он был моим путеводителем и ничего в Чагодае удивить его не могло. Здесь же, у порога, он наклонил голову и простился. Я не стал спрашивать, куда он идет, не стал приглашать домой — почувствовал, что он этого не хочет и будет устраиваться в городе сам.

В доме было прохладно и чисто. На стене били часы, показывая не то полдень, не то полночь, хотя время было утреннее. Я вытер холодный лоб и медленно прошелся по комнатам. Ничто не переменилось с моего отъезда. На столе стояла швейная машинка, сломанный телевизор был накрыт скатертью, букет сирени на нем. На стене висели блеклые фотографии и мои выцветшие грамоты. Несколько бумажных икон в углу. Мать сидела за столом и шила. Одна рука у нее по-прежнему не работала, но она все же приспособилась водить иглой.

— Здравствуй, мама! — позвал я негромко.

Она подняла голову, поглядела на меня невидящими глазами, снова стала шить, и в эту минуту я испугался, что просто не существую.

Я прошел на кухню, включил газ и поставил чайник. Мне непременно хотелось что-нибудь выпить или съесть, дабы удостовериться в материальности своего существования.

— Чаю попьешь?

— Попью, батюшко, — вздохнула она, и мне сделалось покойно и легко.

Боже, как она удивительно все угадала — так может угадать одна только мать! Совсем не обязательно было устраивать трогательные сцены узнавания и встречи, не нужно спрашивать, как она живет, проливать слезы, опускаться на колени или доставать подарки, каяться, оправдываться и просить прощения — можно было просто сидеть, пить чай и молчать, как будто никуда я не уезжал и мы пили чай так всегда, и это было лучшее, что мы могли друг для друга сделать.

Потом дверь распахнулась и вошли двое детей. Девочка лет двенадцати и мальчик на год моложе, хотя, возможно, старше был все-таки мальчик — просто девочки в этом возрасте кажутся взрослее. Они поглядели на меня исподлобья, испуганно, девочка отступила на шаг и спряталась за мальчика. Я не решался их ни о чем спрашивать и переводил взгляд с одного на другую.

В комнату вошла Инна.

— Ой, мама, я сегодня вам...

Увидев меня, замерла. Она не сильно изменилась с тех пор, как я видел ее в последний раз. Ее красота не увяла, напротив, моя возлюбленная казалась счастливой, покойной и уверенной в себе. Да и на русалочку она уже не походила — ладная, ухоженная женщина.

— Здравствуй! — сказал я хрипло.

Мальчик и девочка вопросительно посмотрели на нее, и тогда она отчетливо и тихо произнесла:

— Это ваш папа, дети.

XXI

Они не бросились ко мне, не отпрянули, но глядели с любопытством и будто чего-то ждали, а я стоял и не двигался.

Мать подняла голову, ее взгляд сделался осмысленным и приветливым.

— Вот и хорошо, деточки, — неожиданно певуче произнесла она. — Выйдет ваша мама замуж за хорошего человека, и станет он вам папой.

И вытерла уголки глаз.

Я бы мог принять все это за нелепый розыгрыш, но девочка была так похожа на меня и так похож на Инну мальчик, и голос Инны был таким нежным, что я оторопел. Я смотрел на нее, а в голове крутилось: взяла детей из детского дома, подобрала похожих или сумела уговорить чагодайских девочек рожать и оставлять детей ей, а может, эти дети по крови мои, и Инна обманывала меня с самого начала — не делала никаких абортов, а втайне носила, скрывала беременность, вдали от Чагодая рожала и отдавала младенцев чужим людям, чтобы, когда уеду, забрать. Я искал логическое объяснение, а дети стояли и ждали и не шли ко мне, хотя им легче было придумать, откуда мог взяться их отец. И тогда, боясь, что они сейчас подойдут и прижмутся, я бросился бежать, спиной чувствуя насмешливый и удовлетворенный взгляд бабы Нины, которая вышла из темной комнаты, но комнаты этой — точно помню — в доме прежде не было.

Я бежал по изломанному Чагодая, или он проносился мимо — не хотел ничего видеть, не желал знать детей. Если это было наказание, то я не приемлю его в такой форме и оно выше моих сил. Хотя кто сказал, что не только земное страдание, но и загробное воздаяние должно быть человеку по силам? Если прощение — то не приемлю тем более.

Я стоял у реки, где должна была болтаться привязанная лодка, чтобы погрузиться на нее и, оттолкнувшись от берега, пройти сквозь туман и выйти с другой стороны,— не важно, что со мною там сделают озверевшие в карауле и помешавшиеся от ужаса солдаты. Но не было лодки, а только текла холодная горная река, в которой плавала и стояла, развернувшись против течения, пятнистая радужная форель и выпрыгивали узкие, похожие на селедку хариусы.

И тогда я понял, чего от меня хотят и что я должен сделать. Из ущелья несло сыростью — оно не казалось страшным. Я начал медленно спускаться, но, странное дело, не видел никаких путей, которые вели в пропасть,— оттуда шел поток воздуха и тумана, настолько сильный, что не давал возможности ни опуститься, ни броситься вниз. Я кувыркался в этом потоке, заставлял себя погрузиться, проклинал: Божечка, да неужели я настолько легок, что и этого не могу? Или здесь тоже кто-то повесил гигантский пододеяльник, и я в нем теперь барахтаюсь, и вообще весь Купол — это только гигантское полотнище, парус, призванный удерживать тех, кто хотел покончить с собой?

Там, на краю обрыва, и нашла меня Инна. Она не закричала, не бросилась ко мне, но ласково, как если бы я был ребенком, позвала:

— Пойдем домой, Никитушка.

— Куда? В какой дом? Я все знаю! — крикнул я злобно.— Мы просто умерли. Ты, я, эти дети, прелат, моя мать — все мертвы! А те, кто был с нами в других лодках, спаслись, потому что знают, как ходить по рекам шестой категории сложности. Я — нет, но зачем-то пошел. Из-за меня ты обречена жить в городе над пропастью, где нет солнца и стоит вечный туман. И дети — твое наказание и возмездие, твоя пытка — чтобы знала, какими они могли стать, если бы тогда...

— Тише! — Она покраснела.

— Кого ты боишься?

На нас оборачивались, и Инна вела себя, как женщина, муж которой напился и принялся безобразничать.

— Тише, пожалуйста. Пойдем домой.

— Я хочу туда!

— Там ничего нет.

— Еще бы!

— Туда невозможно спуститься, Никитушка.

— Почему?

— Потому что оттуда — можно только подняться.

Долгий чагодайский день ушел за горизонт. Купол над моей головой померк, но казалось, я чувствую блеск звезд, просвечивающих сквозь его своды. Я лежал рядом с Инной. Она была молода и прекрасна, но я не испытывал влечения, а с сожалением и нежностью думал о том, как прелестно ее тело. Я водил пальцами по голому блестящему плечу. Мне было печально, тихо и хорошо оттого, что она рядом.

— Здесь нет плотской любви.

— Почему? Есть. Коты, знаешь, как весной орут — спать не дают.

— То коты.

— И люди тоже.

— А как же мы?

— Тебе это не нужно.

— Значит, такая любовь здесь только для продолжения рода?

— Нет, конечно, но нам она не нужна. Не мучай себя, нам и так с тобой хорошо.

Она прижалась ко мне, но я встал и приблизился к зеркалу. Глубокий старик смотрел оттуда.

— Мне тридцать пять лет! — воскликнул я. — Что вы со мной сделали?

— А я тебя таким всегда представляла и ждала. Как ты набегаешься, а потом вернешься старичком, тебе ничего уже не надо будет от жизни. Честлюбие, измучившее твою душу, иссякнет, душа очистится, и ты сам поймешь, насколько радостен, светел, духовен и чист. Ты станешь воспитывать детей, и в этом будет твое счастье. У тебя замечательные, обыкновенные дети. У них, слава Богу, нет никаких талантов и отклонений. Завтра они проснутся, и ты пойдешь с ними на реку или станешь запускать воздушного змея.

Ее голос утешал меня, обволакивал и усыплял, отодвигая все дальше туманную пропасть. Тело наливалось тяжестью, глаза слипались, как в детстве, но вдруг я почувствовал фальшь и встрепенулся.

— Какого змея? Тут нет ветра!

— Ну тогда удить рыбу. Или играть в мяч. Ты устал, и тебе надо к этому привыкнуть. Ты был очень напуган, но теперь все позади.

— Откуда здесь дети?

— Они пришли однажды сами.

— Из пропасти?

Лицо ее вдруг сделалось бледным, на лбу выступила испарина, но, сгоняя печаль, она проговорила:

— Тут есть один чудесный человек. Он появился незадолго до тумана...

— Что он здесь делает?

— Учит нас слушать музыку. Открыл музыкальную школу, туда все дети ходят.

— Которых он отбирал? Ставил на весы и половину отбраковывал?

— Нет, зачем же? Он никого не взвешивал и брал всех. Он возьмет и тебя, если захочешь. Как хорошо, что ты вернулся! Как хорошо!

— А почему он не выпрямился?

— Я не знаю. — Она растерялась. — Может быть, не захотел. Ведь знаешь, Никитушка, человек ко всему привыкает.

— Какого цвета у тебя халат?

— Серого.

— Покажи мне красное.

— Здесь ничего такого нет, — сказала она задумчиво.

— Почему?

— Когда на город упал туман, все обесцветилось. Поначалу было неприлично, а потом ничего.

— А как же машины, светофоры?

— Они нам не нужны, но если бы потребовались, то придумали бы вместо светофоров другое.

— А ягоды в лесу?

— Ягоды... ягоды я не знаю.

— Я шел сюда не за тобой и не за этими детьми! — сказал я злобно. — Я шел только затем, чтобы увидеть цвета. Все остальное мне абсолютно не важно.

— Знаю, — сказала она тихо, — но это оказалось невозможно. Проще было уничтожить разноцветие во всем городе, чем дать тебе способность увидеть цвет.

Я оттолкнул ее и выбежал на улицу. Из бани шагал взвод солдат. Солдаты держали ногу, но крутили головами по сторонам, и чагодайские молодки в летних платьях не сводили с них глаз. С еще большим обожанием, чем девицы, на солдат глядели старухи, одна из них поднесла старшине банку молока, тот застеснялся, но старуха закивала: бери, бери! И эта картина, будто подсмотренная мною в детстве, затретила сердце и одновременно с тем показалась нереальной и наигранной, как если бы Чагодай вдруг превратился в киносьемочную площадку и кто-то вроде убиенного Андрея Петровича взялся снимать фильм о моей ностальгии.

На пригорке недалеко от школы я увидел маленькую толстую девочку. Она шла по улице с мальчишками, остановилась, посмотрела на меня, показала язык, засвистела и понеслась вниз к реке.

— Кто это? — спросил я у проезжавшей мимо на громыхающем велосипеде девчушки.

— Это? А, Светка Золюшко, — ответила та, вильнув рулем. — Вечно она с мальчишками. Задавака!

— Мать у нее учительница?

— Да не... Она из детского дома откуда-то... Говорит, вырасту, буду учителькой — врет, конечно...

— Стой! — не дослушав, я бросился за толстушкой, в несколько прыжков догнал ее, схватил за плечо и дернул за косу.

— А ну пусти! — захныкала Золюшко, но, поглядев на мое лицо, задрожала и сжалась от испуга.

— Не ходи в учительницы! Не ходи! Поняла? — сказал я придушенным голосом. — Кем хочешь будь, только не учителькой!

— Хорошо. — Она серьезно кивнула, а потом отбежала и снова показала язык: — Буду! Буду! Все равно буду учителькой! — И понеслась к мальчишкам, играющим на реке.

Я побежал за ней, но она вскочила на поверхность воды и оттуда, кривляясь, стала делать рожи. Ее глаза торжествовали. Я засмеялся, и Золюшко засмеялась в ответ — так мы хохотали, глядя друг на друга, разделенные временем, чудом и водой.

К Чагодайке подошел прелат. Он сумрачно и серьезно смотрел на мальчишек, которые играли в футбол на ее сверкающей поверхности. Они брызгались, толкались, кричали, один раз даже подрались, но вода продолжала их удерживать. Прелат боязливо ступил, и ноги его ушли под воду. Мальчишки испуганно посмотрели на незнакомца. Потом один из них несмело приблизился к нему и протянул руку. Прелат недоверчиво поглядел на нее и вдруг заплакал. Он стоял по колено в воде, по которой спокойно гуляли мальчишки, и плакал. Дети потеряли к нему интерес, а он все стоял и не уходил.

Я вдруг подумал, что здесь осуществилось то, что всегда влекло Россию, ради чего уходили ее лучшие люди в Сибирь и на Алтай, в революции, на каторгу, в тюрьмы и ссылки, ради чего было убито несколько десятков миллионов, — Беловодье, Китеж, Град Инония, Царство Божие на Земле.

Ко мне подошел Морозкин.

— Вернулся все-таки?

— А вам-то что?

— Прописаться бы надо. Паспорт с собой?

Я машинально полез в карман за потрепанной книжицей. Кум достал из кармана печать, поставил штамп и поглядел на прелата, пытающегося вскарабкаться на воду.

— Ишь ты, как старается. Казачок-то засланный,— подмигнул он мне.

— Другого бы не пропустили,— буркнул я.

— Ну а ты зачем здесь?

— Организовать подполье.

— Я знаю,— сказал Морозкин с угрозой в голосе.— Тебе какая власть ни будет, всегда надо против нее бунтовать. Хочешь насадить даже в раю инакомыслие? Что ж, валяй, только, боюсь, здесь у тебя не будет последователей.

— А когда они были?

Морозкин захихикал.

— Мы ведь поначалу тоже привыкнуть не могли. Солнца нет, влажность, река провалилась, а потом ничего, привыкли. Когда водка вся кончилась, мужички — знаешь, что стали делать? Договорились с охраной — те сверху водку пускают по реке, а тут наши ловят. Ну а мы солдатам — свою продукцию. У нас климат-то, видишь, какой — как в парнике. Хоть и света маловато, а огурцы, помидоры, перец, кабачки, баклажаны — все хорошо растет. Жалко, батя твой не дожил. Мужики в его честь новый сорт огурцов назвали.

— И никто не пытался отсюда выбраться?

— А зачем? Через туман пробиваться противно — в уши лезет, в нос, да и заблудиться можно. Я, знаешь, Никита, понял одну вещь: насилие, ложь, убийство, воровство, ревность происходят от зависти. А ведь зависть — это всего лишь следствие недоразумения. Вот и все. У нас ее нет. Мы свободны от нее. И вряд ли ты кого-нибудь ею увлечешь.

— Ты лжешь! — крикнул вдруг я иступленно.— Ты лжешь, ибо уверен, что все кончится и тогда ты начнешь уничтожать всех подряд. Ты ждешь, когда пройдет тысяча лет, а у Бога она один миг, и опять воцарится антихрист.

Морозкин заозирался по сторонам, потом схватил меня за плечо и зашептал в ухо:

— А знаешь ли ты, что это придумали они? Сумасшедшие психи, непризнанные гении вроде тебя. Даже нет, похлеще. Которым вечно кажется, что мы едем на красный свет, и они готовы от отчаяния палить по окнам. Я даже все светофоры убрал. Но им все равно чего-то недостает. И что здесь будет завтра, не знает никто. Они все время над нами экспериментируют и говорят, что так нужно для общего блага. Я боюсь их, Никита.

— А как же тысячелетнее царство Христово?

— Ересь все это, наша Церковь хилиазм отвергает,— сказал Морозкин с важностью в голосе.

«Неужто крестился?» — Я с любопытством посмотрел на кума.

Он покачал головой.

— Крещеный я был. Бабка меня крестила в детстве, да таилась. Бога-то не обманешь.

— А это не обман?

— Это другое,— ответил Морозкин сурово и сделался похожим на того самого кума, что учил меня уму-разуму, призывал рожать детей и предостерегал от поливания грязью отечества.— Я ведь тоже сперва обрадовался — ни краж, ни убийств. Помяни мое слово — подует ветер, разломает стены, и все кончится. Я так понимаю, нагородили черт знает чего, а на самом деле...

— Что?

— Просто туман. Только очень сильный.

Прелат, который прислушивался к нашему разговору, достал блестящий пистолет. Я хотел броситься к нему, но он меня опередил, быстро поднес дуло к виску и нажал. Пистолет хрюкнул, из него вырвалось ядовитое облачко и поплыло над рекой, как мыльный пузырь. Морозкин покачал головой, потрепал

по плечу Александра и пошел прочь, а я подумал, что туман висел над Чагодаем всегда и только теперь сделался видимым.

Всю жизнь я был игрушкой чужого сознания — моей матери не нужно было от жизни ничего, и она просто физически не могла меня признать; для Инны были важны дети — они были обещаны ей у весенней польни, если всю оставшуюся жизнь она будет удерживать от детоубийства других; Морозкину не терпелось видеть в Чагодае опору для утверждения государственности, и, будь его воля, он бы Россию целиком таким Куполом накрыл, устроил в ней жизнь по своему разумению, хотя я вовсе не уверен, что жизнь по-морозкински была бы хороша и не завелись бы под Куполом новые освободители Родины; для отца Алексея весь Чагодай должен был прийти в один большой собор и молиться, и утвердить превосходство его правильной веры над проклятыми латинянами, и как свидетельство тому в сердцевине его земли зияла страшная пропасть, из которой поднимались в тумане убиенные во чреве матери дети и, поднявшись, бегали по воде, а на них глядел несчастный католический прелат, будущий Папа римский, который не забудет этого дня даже тогда, когда в его подчинении окажется полмира и его торжественно нарекут последним Викарием Христа.

Они все, и мать, и Инна, и Морозкин, хотели меня заполнить целиком, прорастали и крепились к моему сознанию, как грибница, опутывая мозг и тело длинными, словно нервы, нитями. Возможно, они были давно мертвы и меня преследовали призраки — я не знаю, но мне почему-то казалось, что все это они сделали, чтобы меня пробудить. Как когда-то я хотел вывести Чагодай из рабства, так теперь всем городом они тащили меня из глухого и неразборчивого небытия. Они не могли меня бросить, ибо мое отсутствие болело в каждом из них, и ради этого они выдумали туман и Купол, совершили акт милосердия и позаботились о том, чтобы выписать из голодного края бедствующего, заблудшего и нераскаившегося земляка. Они и в самом деле вступили в разговор с тем, чтобы заманить и спасти мою душу. Но, заполучив ее, почему-то отступились, и я чувствовал, что никто не доверяет мне опять в этом городе, как не доверяли много лет назад, и приняли сюда, потому что нельзя было не принять.

Я не понимал, зачем я им здесь нужен, и никогда бы не поверил, что все увиденное мною в новом Чагодае окажется таким будничным, а то самое чудо, которым он был переполнен до краев, превратится в обывательскую насмешку. Никто ничему не умилялся, они просто приспособили под себя все, что с ними случилось, выращивали в сыром климате без теплиц бесцветные помидоры, ходили за реку прямо по воде, может быть, летали, читали чужие мысли, превращали воду в вино, съедали целым городом за весь год две рыбины и пять хлебов, воскрешали мертвых и исцеляли больных, но все равно жили той жизнью, какой жили всегда, с ее немудреными радостями, сплетнями, скукой и бессобытийностью.

Наивный человек, откуда и куда я хотел их вести, вросших в эту землю, окруженных невидимым куполом до того, как их накрыло куполом настоящим? Чего жаждал доказать? Если их не прошибло даже чудо, которое свело с ума весь мир, так чего же мог я?

Чагодай не хотел принимать своего полукровка, и дети мои, в самом ли деле поднявшиеся молитвами их матери из чагодайской бездны или иначе появившиеся на свет, относились ко мне так, как и должны были относиться к чужому человеку, которого им вдруг велели любить и называть папой. Ах, как права была баба Нина, когда говорила маленькому хаму, приезжавшему из интерната для одаренных душ и пренебрегавшему своим горемычным отцом:

— Погоди, Никитушка, будут у тебя свои детки, все получишь сполна.

Насчет конца света и Страшного Суда ошиблась, а вот это сбылось. И поделаться с ними Инна ничего не могла, никакие чудеса не могли взрастить нашу

любовь и вернуть меня в дом. Не получалось ничего под этим Куполом, не складывалось — я все равно остался чужим и на халяву Царство Небесное меня принять не могло.

XXII

Я часами торчал у реки, бросал в нее щепки и делал бумажные кораблики. А иногда шел вверх по течению и смотрел, что приносит вода. Водку, упакованные сигареты, колготки и женские трусики — то, чем некогда я сам промышлял на пару с Аленой. Как-то раз пришло возмущенное письмо в бутылке от солдата из караула — рекламация на помидоры, которые оказались гнилыми.

В посылках я находил обрывки газет и по этим клочкам пытался догадаться, что за стенами Купола происходит, но, видно, на клочки мне не везло или же там работала цензура, потому что ничего, кроме рекламы и прогноза погоды, не попадалось. А может быть, о Куполе и в самом деле забыли?..

Однажды я зашел в храм. Церковь была полупустой, как и в прежние времена, хотя, судя по одежде иерея, день был праздничным.

Горели редкие свечки и лампадки, тонкими, то и дело сбивающимися головами пели старухи, что-то бубнил молоденький чтец, но Бог весть отчего это служение впервые в жизни невероятно тронуло мое сердце.

Вышел совершенно не изменившийся батюшка в старой рясе, встал перед Царскими Вратами и стал привычно повторять:

— О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся.

— О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу помолимся.

— О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Старушки крестились, кланялись и охали. В углу стоял прелат и, не отрываясь, глядел на иерея. Лицо у Александра было перекошено от флюса, он держался из последних сил, судорожно перебирая исцарапанными, с обкусанными ногтями пальцами четки.

— О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея Господу помолимся.

— О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.

— О благорастворении воздуш, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.

Они молились так уже тысячу лет, и когда Чагодай процветал, и когда лежал в руинах, когда захватывали его разномастные сварливые князья, когда все про него забыли и он превратился в заштатный пошехонский городок, а затем исчез по недоразумению или тайному замыслу с карты империи. Когда приходили белые, красные, целый год не было никого, и когда все церкви, кроме одной, были закрыты, когда уходили жители на войну и не возвращались, когда приехал в это плоское место столичный горновосходитель и попытался его разворошить, а, не разворошив, отправил единственного сына из Чагодая; и когда тот не по своей воле вернулся и стонал в ссылке, посылая любовницу на убийство детей, когда все от них отреклось и свалился на город туман — они все равно молились об одном и том же.

— Я человек подневольный, — молвил батюшка, когда до слез тронутый картинкой, что нарисовалась в моем восхищенном сознании, я подошел к нему после службы, — послал запрос в Патриархию — ответа пока нет.

— Но какой может быть оттуда ответ?!

— Я человек подневольный, — повторил он заученно, — и, пока ответа не будет, буду служить, как служил.

— А как же чудеса?

— Какие чудеса? — спросил он настороженно.

— Ну вот, люди по воде ходят.

— Грех это. Вода не для того, чтобы по ней ходить. Я сколько мальчишек ругаю, а они все равно шалят.

«Боже! — Мною вдруг овладела холодная ненависть к Чагодаю. — Выморочная земля, какого ж рожна тебе надо? Что ты мучаешь меня? Сколько людей уложила за то, чтобы иметь рай на Земле, а когда этот рай тебе дали, ты фыркнула. Да за что мне это несчастье? Что искал здесь, отчего все бросил и позволил одурачить себя и вернуться, зачем полез в эту западню, где мне подсунули чужих детей и измотали душу — и все это вместо того, чтобы мирно прозябать в законной московской квартирке и наслаждаться покоем? Неужели вот к этому смешному видению я должен был после всего прийти и здесь окончить дни?»

— Грех это, — повторил батюшка.

— А Христос? А Петр? Как же это возможно?

— Вот именно потому и грех. Что если нет Христа, а чудеса творятся, то не от Бога сии чудеса.

— Но ведь вы же сами...

— Не разобрался, прельстился. Каюсь.

— От кого же тогда это все?

— Сам знаешь от кого. — И, наклонившись, добавил: — Уходить отсюда надо.

— Уходить? Туда, где дохнут от голода? Да в своем ли вы уме?

Он посмотрел на меня с жалостью:

— Я знаю. Но без Христа нельзя.

Я закинул голову — высокие, как птичий полет, своды Купола стояли надо мной. Сквозь них пробивался рассеянный свет, иногда набегали тучи и шел теплый дождь; травы в лесу, деревья, кусты сделались гигантскими, какими кажутся ребенку или какие я видел однажды на Сахалине, куда ездил агитировать народ за демократическую власть.

Захотелось водки. Я пошел искать мужичка, промышлявшего торговлей с караулом. На пристани, где он обычно менял бутылки на продукцию теплиц, его не оказалось, и тогда я отправился выше по реке к тому месту, где стояла когда-то моя палатка и вечерами приходила Инна.

По дороге давно никто не ездил ни на машинах, ни на тракторах, валялись деревья, почва была подтоплена талой водой, я шел долго и устал, иногда садился курить, но посидеть спокойно не удавалось, потому что безбожно жрали комары, и мне пришла в голову мысль, что чагодайцы ходят теперь по воде и им так удобнее, а комары их скорее всего не трогают. Лес кончился, я увидел излучину и на высоком берегу свою стоянку. Она была занята.

Он сидел и удил рыбу. Обыкновенный старик — в помятом пиджачке, в шляпе с дырочками, только бороду сбрил, лицо сделалось круглее, и оттого выглядел он миролюбиво и молодо.

— Выпить хочешь? — спросил Евсей Наумович, нимало не удивляясь моему появлению.

Я опрокинул стакан одним махом и с наслаждением закурил.

— Ну и зачем вы это сотворили? — Я присел рядом с ним и стал отгонять комаров. — Батюшка вон сердится.

Горбунок долго не отвечал, будто не слышал, да и что он мог сказать такого, чего я не знал? Кажется, мне удалось-таки поймать «бабочку», за которой я гонялся в студенческие годы...

— Была идея, что, когда соберутся в Чагодае все живущие на Земле чагодайцы, то случится...

— Конец света?

— Да ну какой конец света! Где ты его видишь? Неужели не догадался выдумать что-нибудь посвежее?

— Я ничего не выдумывал,— сказал я тихо.— Я хочу знать только правду о себе. Меня всегда куда-то уводило от нее.

Он дернул удочку, но та зацепилась, и могло показаться, что на крючке сидит рыбина — такая громадная, что вытащить ее невозможно. Потом удилице обмякло.

— Леска порвалась... Что ты мучаешься, милый? Ты же сам все знаешь. Здесь люди живут, как умеют, а ты просто спишь и видишь сны, то есть делаешь единственное дело, на которое оказался способен. Но сейчас ты уже выспался, достаточно дунуть — все рассыплется. Ты окажешься у костра с деревенским пастухом и пойдешь вместе с ним искать корову, а потом не сможешь завести драндулет и поплетешься в Чагодай пешком. Или, если хочешь, возвращайся в «тойоту» за секунду до того, как она въехала в МАЗ, можешь нырнуть еще глубже и пойти с отцом в засаду. Вот видишь — перед тобою река, ныряй, не бойся, дружок. Тебя она не станет держать и пропустит. У тебя богатейший выбор. Можешь не отправлять Инну в больницу, и у тебя будет двое детей. Впрочем, это уже сделала за тебя она. Тогда придумай что-нибудь другое. Не бери из рук своей подружки флажок или не уезжай из Чагодая.

— Или могу не снимать штанишки в классе у Золушко?

— Ну конечно. Ты можешь вообще вернуться и не рождаться, очутиться в пропасти, куда по дурусти хотел свалиться, но этого я тебе делать не советую, ибо дыра — всего-навсего банальное небытие, и кто в нее стремится — напрасно теряет время.

— Разве ад и небытие — не одно и то же?

— Ты опять ставишь очень глубокомысленные вопросы, мальчик. Не забывай, что дело нужно выбирать себе по плечу. Иначе можно оконфузиться.

— Я одно хочу понять — что здесь произошло? Божеское это дело или человеческое? Эдем или Вавилонская башня? Град Китеж или дьявольский соблазн и искуc?

— Я думаю, что эта задача не имеет решения,— ответил Евсей Наумович и пожевал губами.— Видишь ли, мне вообще кажется, что мы ошибаемся. Сама по себе идея заговоров есть идея обреченная и небожеская. Честная сила таиться и плести интриги не будет. Если Купол — защита от мира и бегство, то ведь этого можно было бы достичь и более простым путем. Нет, Никита, мне что-то не нравится в твоей истории. Коль скоро у людей хватило ума создать совершенную систему защиты от внешнего воздействия, они могли бы вполне обеспокоиться и созданием маскировки. Не знаю, не знаю. Но мне кажется, ты просто все видишь не так.

— Что?

— Ты видишь лишь то, что можешь увидеть, на что настроено твое помятое, затемненное сознание.— Голос его неожиданно приобрел лекторские нотки, как если бы Горбунок взошел на кафедру.— А вместе с тем действительность Чагодая гораздо богаче. Ну предположи, что это защищается от распада Земля, которой мы все осточертели, или даже не защищается, а вступила в новую геологическую эру. Или провалилась в старую и через Чагодай прошел разлом. Бунт ноосферы. Ты читал Вернадского?

Он врал — я видел по глазам, что врет, и понял теперь, что вдали все — и Инна, и Морозкин, и Золушко, и прелат. Все, кроме разве что батюшки, хотя мог врать для общего блага и он.

— Я не читал Вернадского, но читал Федорова и видел своих детей.

— Еще в тот раз, Никита, когда ты пришел ко мне со вздорными домыслами,— произнес Горбунок неожиданно вкрадчивым тоном,— я сказал тебе, что не следует...

— Умножать число сущностей сверх необходимого.

— Вот именно.

— Но если вы не верите в чудеса, если не верите в Промысел, если, по-вашему, это просто физика и геология, то что же вы здесь делаете?

— Как что? Жду тебя. Какой-никакой, а ты мой ученик, и я за тебя в ответе.

Он посмотрел с обычным раздражением и высокомерием. Он определенно терпеть меня не мог, и все его слова про ответственность и отсутствующие у меня духовные очи отдавали фальшью.

В больших болотных сапогах Евсей пошел на другой берег. В этом месте был брод.

Брод, бред. Я бросился за ним вдогонку.

— Пойдите! Ну вот я и пришел к вам! И зачем? Чтобы вы опять сказали — текел. Да что же вы меня все мучаете?

— Так было необходимо, чтобы вернуть тебя в Чагодай,— сухо обронил Горбунок и, смягчаясь, добавил: — А того, что я тогда говорил, больше не скажу. Да я ведь ничего и не говорил.

— Лжете!

— Ты просто наугад раскрыл Библию и выдернул из нее эту строчку. Мне было забавно за тобой наблюдать. Иногда ты меня огорчал, иногда радовал, ты научился пить водку, иметь дело с женщинами, научил немало людей водить машину, и не беда, что сапожник остался без сапог. Ты оказался достаточно благо-разумен, чтобы позвонить в милицию и передать в приют грудную девочку вместо того, чтобы подвергать ее жизнь опасности в своей квартире. Нет-нет, теперь ты вовсе не вешишь мало. Ты прожил неплохую жизнь. Совсем даже неплохую. Наконец, ты правильно понял главное: богатство человеческой жизни определяется не успехом, не деньгами, не количеством прожитых лет, а суммой перемен судьбы. У тебя их было достаточно.

Он пошел вперед.

— Да погодите вы! А что будет с ними? Разбомбят? Ведь никто же не подумал, что вы просто пошутили! Ведь там шуток не понимают. Они-то думают, что здесь...

Он ничего не ответил — махнул рукой.

Людам явилось чудо, но никому до него нет дела, а те, кто остался там, очень серьезные и озабоченные будущим, хотят его уничтожить. Одни — потому что оскорблены, что это произошло не в их могучей стране, другие — потому что не под их протекторатом, а у схизматиков, третьим просто досадно и непонятно, и вообще им нравится играть в такие игры, где все горит и взрывается. Но они не знают, что Чагодай — не направление главного удара, а отцепленный вагон, и Купол призван их же самих заманить и отвлечь, пока где-то делается настоящее дело. Они ничего не знают. Идет война, и не только они могут пускаться на хитрости.

Я ушел от них, а вот чем был Купол, никто теперь не узнает. Он мог быть чем угодно — заповедником, отстойником, убежищем, лепрозорием, карантинном, Городом за рекой, русским Израилем наконец. А может быть, все гораздо проще — его жители впали в сон и накрылись одеялом, пока машинисты не решат, куда ехать поезду. Вот и спит Чагодай медведем в берлоге, гусеницей в кононе, чтобы дожидаться теплого ветра и весеннего дождя, проснуться и зазеленеть.

Или же прав батюшка — и все, что я тут углядел: хождение по воде, благоденствие и процветание, избытие помидоров и баклажанов, весь этот хилиазм, он же миллениаризм, сиречь тысячелетнее царство Христово, блаженный остров коммунизма, весь этот Чевенгур — только утонченная русская прелесть, последняя ступень соблазна и испытание, и если после разорения, раздора и нищеты Чагодай вынесет и это и от этого откажется, то тогда прямиком всех его несоблазнившихся жителей в Рай. И, значит, надо отсюда бежать, всем, немедленно, спастись и выбирать страдание, ибо мир, в котором страдания нет, безбожен?

Горбунок сидел у костра и пытался вскипятить воду. Костер горел плохо — не чета тому, что грел меня в последнюю ночь перед Чагодаем, — он горел так, как горит пламя высоко в горах, где странствовало тело моего отца, а теперь вечно пребывала его душа, и я мельком подумал, что не все под этим шатром так ладно, как за его пределами. Евсей Наумович опустил на колени и стал дуть на пламя.

— Конечно, кислорода-то под колпаком меньше.

— Значит, можно задохнуться?

— Вряд ли, деревьев много.

— А если пожар?

— Сыро все же, — ответил он осторожно.

— А какой-нибудь диверсант? Обоьет бензином, поднесет спичку?

— Тут приглядывают, — ответил Горбунок неопределенно. — Другое опасно.

Он ушел спать, а я долго лежал на траве и смотрел в небо. Купол померк, спустилась ночь, и вдруг я увидел звезды. Это было так странно после многих ночей, когда над головой висело безбожное и глухое марево, — вдруг распахнулись небосвод, словно Купол исчез — сдуло его ветром.

Но все было тихо, и звезды казались такими близкими и яркими, как будто их укрупнили в стократ, и тогда я понял, что Купол просто сделался прозрачным и звезды сквозь него видны, как через увеличительное стекло. Я лежал и смотрел на них — они были как будто приклеены к сводам Купола и медленно кружились вокруг.

Учитель вылез из палатки, проверил донки и сел рядом со мной.

Со стороны послышался гул самолетов, только он совсем не напоминал то нежное гудение, что умиляло мою юную душу.

— Ты вот что, Никита, ты уходи.

— Вы хотите сказать, что сейчас, что... Это вы их сюда послали! А я пришел, чтобы умирать здесь.

— Да сколько ж можно умирать? — воскликнул он в досаде. — Иди быстрее.

— А как же дети?

— Ты им не отец, — сказал Евсей Наумович печально, и, предупреждая вопрос, добавил: — Они твои дети, но ты им не отец. А там скажешь, что я остался.

Я не помню и не понимаю, что произошло дальше. Я шел по тропинке вдоль реки, потом она пропала, лес сделался густым, цеплял мою одежду, и мало-помалу она превратилась в клочья, похожие на клочья тумана, что висел на ветках. Я обернулся назад и увидел Чагодай.

Пропасть исчезла, и исчез каньон. Не было больше зловещей ямы в середине. Земля разгладилась, река вошла в берега. Передо мной лежал город, в котором я родился. Он еще спал, и не горел ни один огонек. Над домами высокие и стройные стояли главки церквей. Одинокая лодка скользила по воде. Тихо было и уныло. Я видел весь город, будто это был его макет, мог дотронуться до любого дома, потрогать руками мост, крыши, торговые ряды, здание школы, кладбище и стены монастыря. Я видел лес и разбросанные по нему капли озер. Мое зрение сделалось настолько острым, что я различал каждую травинку в поле и в темной воде спящих рыб. В лесу видел оранжевую морошку, снежные ландыши, красные ягоды брусники и клюкву на болотах, желтые березы и алые гроздья рябины, заросшие коричневыми опятами ветхие пни и красивые рыжие подосиновики, что кругами росли на зеленых мшистых полянках. Слышал их запах и крики северных гусей, пролетавших сквозь Купол и сядившихся отдохнуть на лесных озерах.

Я смотрел на лисиц и зайцев, на волков и лосей, которые пробирались звериными тропами, настороженно поднимая голову и чувствуя мое присутствие, но меня не видя, зрел осенних мух и тонкие нити паутин, на которых повисли капли дождя.

Местность открылась моему взору во всем ее разноцветии и разнообразии, как если бы я сам летел над землей, словно бесшумная птица. Она не казалась особенно красивой, многие строения в городе были ветхими, и много было в лесах непроходимых чащ, заброшенных охотничьих избушек и узкоколеек, стрельбищ, казарм, полигонов, противоракетных комплексов, сараев, зимовий, шахт, уродливых дачных домиков, сверху похожих на пчелиные соты, так что невозможно было понять, какой из них был построен отцом. Этот макет моей родины был удивительно точным. То был не сам Чагодай, но памятник моей колыбели — прожитой жизни и несостоявшейся любви, — и он заслужил мемориал под пуленепробиваемым стеклом, который должен был сохраниться на Земле даже тогда, когда не останется на ней ничего, как стояли далеко отсюда посреди пустыни великие пирамиды, чтобы сотни или тысячи лет спустя, в новой эре или новом эоне уцелевшие и преображенные люди разгадали секрет Купола, проникли под сырые своды, раскопали обломки чагодайской цивилизации и узнали о каждом, кто жил на этой Земле, и восплакали об их судьбе и судьбе человека, которого Чагодай не досчитался.

Я покидал свой край на сей раз навсегда. Позади сияла над городом семицветная радуга, впереди вздымался черный лес, и, кроме мокрых еловых веток, ничто больше меня не удерживало. Сквозь соприкасавшиеся с землей своды я прошел, как проходят сквозь тень предметы, и когда оставил их пределы, то оказалось, что совершенно раздет и меня окружает дождливое и ветреное октябрьское утро.

Было то самое утро, когда после ночной разведки с военной базы под маленьким, чистым приморским городком вылетела стайка изящных остроклювых самолетов, легко прорвала линию противовоздушной обороны в районе Пскова и нанесла удар по цели. Кадры, которые передавали информационные агентства, прервав другие передачи и программы, потрясли весь мир.

Я стоял у подножия Купола, и на моих глазах высоко и низко над землей, повторяя ее изгибы, появлялись светящиеся тела, приближались и ударялись о закругленные своды. Их было несколько сотен, хотя для уничтожения Чагодая вряд ли потребовалось бы больше десятка. Небо светилось как во время фейерверка, и слышны были сухие раскаты в небесах. Самолеты кружили и пускали все новые и новые ракеты. Они вспыхивали, дымились и, шипя, скатывались вниз, как скатывается по настоящему куполу дождевая вода, и, неразорвавшись, лежали на земле, где их обезвреживали саперы. Во всем мире комментаторы на всех мыслимых языках захлебывались, будто шел репортаж с футбольного матча, мелькали растерянные лица подтянутых генералов, и всюду показывали одно и то же — красивые ракеты падали на землю, опаляли жухлую траву, разрывали мох и мокли под дождем, а среди них стоял голый, как будто только что родившийся, человек и плакал, сам не зная — от жалости к Чагодаю или от гордости за него.

В середине дня пошел снег — он валил с необыкновенной силой, засыпая окрестные поля и леса, застилая телекамеры и заглушая голоса людей. Никому не было до меня дела. Все смешалось — журналисты, солдаты, туристы, сектанты, шпионы, дипломаты, прелаты, паломники и наблюдатели, — и в этой сутолоке я выскользнул, подхватил плащ-палатку и пошел искать заглохшую на лесной поляне машину, у которой, прикрутив снятые гаишниками номера, сидел давешний мужик ипил водку, а рядом паслась тощая корова.

Эпilog

С той поры прошло много лет. Я давно не живу в России. Меня разыскивали в Митине представители «Amnesty International», когда мои дни были уже сочтены, и вывезли по подложным документам в числе тех тысяч высланных иностранцев и не охваченных патриотическим подъёмом российских беженцев, что покидали страну сразу же после бомбардировки Чагодая. Я уезжал в полном рассудке, совершенно спокойно и ни о чем не жалея. Не снилось мне больше никаких снов, не было видений и не слышались голоса. И когда я пересекал первый раз в жизни и навсегда границу своей страны, странным образом прочерченную в здании аэропорта, когда самолет, в котором нельзя было курить, понес меня в ночное небо и мы долго летели над океаном, мне не казалось, что я пересекаю границу жизни и смерти и лечу в край вечного сна. В той стране, которая меня приняла, мне сделали операцию, вырезали опухоль и тем спасли жизнь. Я был ей за это благодарен и даже не испытал обиды, когда узнал, что вывозили меня вовсе не из-за Эмнисти, а потому что я был, не считая прелата, единственным человеком, побывавшим под Куполом, и интерес ко мне проявляли совершенно другие люди.

Они пришли в больничную палату, когда я еще не совсем оправился после наркоза. Их не интересовало ничего, кроме скорости роста деревьев. Они все верно рассчитали: деревья разорвут Купол изнутри. Его разорвет река, природа возьмет свое. В сущности, именно за тем, чтобы в этом убедиться, меня и послали вместе с Александром, который мог бы подобно Евсею Наумовичу остаться в Чагодае, но променял высокую честь чагодайства на папские знаки отличия.

Всякое явление несет смерть внутри себя — они просто будут сидеть, как стая голодных волков под деревом, на которое забрался человек, и ждать.

Впрочем, ко мне это не имело никакого отношения. Я сделал то, что должен был сделать, и теперь получал законное пособие от федерального правительства, которое кто-то мог бы сравнить с тридцатью сребренниками, но это было бы несправедливо. Я жил в доме на берегу океана и наслаждался ветром, смотрел в бинокль, как большие красивые корабли заходят в порт, иногда уезжал в город и слышал чужую речь. В этом городе не было ни автобусов, ни трамваев, ни метро, а все люди ездили на машинах. Я был единственным, у кого ее не было. Но не потому, что не хватало денег, а потому, что здесь невозможно купить права, обмануть врача или сунуть полицейскому взятку. Здесь уважают закон, и все дальтоники этой страны живут в специальных городах, где ходит общественный транспорт и не различающим цвета предоставлена по решению конгресса тридцатипроцентная скидка.

Только я не хотел жить среди дальтоников. Я ходил пешком по раскаленной дороге в магазин, потом вез назад сумку на колесиках с продуктами, не обращая внимания на удивленные взгляды из машин, и всегда отказывался, когда предлагали подвезти.

Иногда я вспоминал Морозкина и его слова, что он говорил мне в Чагодае еще задолго до Купола. Он оказался не прав: я не кричал о страданиях, не поливал Родину грязью, если я и раскрыл секрет Купола, то это не было следствием предательства — да и какие там были секреты? Ведь в Чагодае меня просто хотели обдурить, передо мною разыграли мистерию — они знали, что я не вполне нормальный человек, и хотели передать через меня обыкновенную дезинформацию. И если бы я действительно причинил Родине зло, меня бы доставили и здесь. Я ведь для этого и ходил в одиночестве по пустынной океанской дороге.

Я не был больше нужен ни тем, ни другим, был оставлен жить и не испытывал ненависти к стране, которая собралась править миром, после того как Чагодая не станет. Пожалуй, она мне даже нравилась. В ней заботились об инвалидах и детях, в ней все улыбались и была удобная жизнь, изобилие и комфорт, правда, иногда здесь тоже слишком активны бывали женщины, но ис-

портить жизнь они не могли и никто не позволял им ставить провинившихся мальчиков в угол. Здесь всего имелось в достатке, и чем были виноваты эти люди, что жили хорошо? Жить хорошо все не могут, и кем-то приходится жертвовать.

Там встретил я многих однокашников по интернату и половину университетских однокурсников. Там думал встретить и Алену, уверенный, что она прижилась, как прижились почти все, кто сюда перебрался и имел хоть каплю энергии. Однако, сколько ни искал, так и не нашел.

Может быть, она бросила все, что нажила, и вернулась в Россию, пошла до конца с теми богатыми и бедными моими соотечественниками, которые в отличие от меня не отворачивались от судьбы. Но какова эта судьба, я не знаю. Этого не знает никто. Россия давно отозвала посольства, перекрыла границы и ушла из мира. Что в ней сейчас происходит, жива ли она, задыхается в агонии, или там происходит нечто удивительное и она еще скажет миру слово, и доживу ли я до этой поры?

Я встретил не Алену, а смуглую женщину по имени Трауди — женился на ней и родил сына. Я очень любил их: и жену, и ребенка, но, прожив с ними несколько лет, бросил и ушел в один из тех больших городов, где так легко затеряться. Я не был больше наивен. Я бы хотел прожить свой срок в домике на берегу моря с Трауди, но иного выхода у меня не было.

Возможно, я так и не излечился от безумия, возможно, ничего не понял и по-прежнему страдаю странной и непонятной болезнью, манией преследования и чудовищной подозрительностью, пусть я неблагодарен и умственно беспомощен, но я рассуждал следующим образом.

Те люди, что приходили ко мне в больницу, те люди, которые полагают, что должны отвечать за благоденствие похожего на детский сад мира, где бы они ни находились и кем бы ни были, тоже несут смерть внутри себя. Все, кто причастен к убийству, будут убиты сами, пока самый главный в тоске не убьет себя и на Земле не останется никого, кроме безвинного и счастливого человечества, почитающего себя достойным тысячелетнего царства Христова. Только одного они не знают в своем могуществе и власти: Христа у них не будет, потому что Он выберет других.

Конечно, это только мое предположение, я не могу знать наверняка — ибо кто знает подобные вещи? Но что-то подсказывает мне, что я не ошибаюсь, хотя теперь-то вовсе не заинтересован в подобном исходе. Все в воле Божьей, и, в какой бы точке пути я ни находился, мне нет смысла возвращаться к Трауди — ведь, если я ее увижу, они точно ее убьют, а так у нее есть маленький шанс. А если нет у нее — ведь они могут подозревать, что она знает правду о Куполе, — то шанс есть у нашего сына.

Они не отступят от своего, они все рассчитают, но даже если это случится, то мы, вернее сказать, те, к кому я раньше принадлежал, унаследуют Новую Землю и Новое Небо. Нам нет места здесь — мы проиграли битву, но мы старались изо всех сил и даже воздвигли Купол, чтобы принести его в жертву и выиграть время. Пусть это было неуклюже, пусть не все участвовали, но они любили тех, кто не старался, и не согласятся на спасение без других. А потому для всех все кончится хорошо.

Я не сам до этого додумался, а прочитал уже в этой стране книгу одного русского священника: она неизвестно как, чудом пришла мне по почте из России, и я так никогда и не узнал, кто мне ее послал и откуда взял неизвестный корреспондент мой адрес. В ней говорилось о том, что в конечном итоге мы потерпим поражение, но бояться не надо, потому что на Земле мы все равно странники и наша истинная родина там, где не будет ни заговоров, ни страха перед заговорами, не будет обманов, подкупов, убийств, страдания, боли и зла. Я знаю, он прав, верю, так и будет, даже если новой родины не увижу, а провалюсь в пропасть, что разверзлась посреди Чагодая.

Но иногда во мне что-то протестует против этих абсолютно верных, но человечески холодных и бессердечных рассуждений, и мне делается безумно жаль моей далекой страны, ее больших и малых городов, один из которых мне дороже всего, и жалость к потерянной земле, моя любовь, едва теплящаяся в холодном и пустом сердце дальтоника — единственная, — способна меня утешить и оправдать.

Впрочем, главное даже не это. Главное — что у меня есть выпавшая из окна маленькая девочка. Я нашел ее с помощью самого богатого здешнего вьетнамца Хунг Ван Донга в самом прекрасном городе бесформенного континента и выкрал у приемных родителей. Это и вправду оказался не тот маленький Хунг, с которым я жил через стенку в общежитии. Но история моей жизни, которую я, как мог, поведал вьетнамскому барону, сидя во внутреннем дворике его прохладного дома, тронула загадочное азиатское сердце. Да и кто знает, что чувствуют живущие в этой стране вьетнамцы?

И вот теперь нас повсюду ищут, мы скитаемся и спасаемся от полиции, у нас нет приюта, и мне стоит большого труда объяснить ей, что прятаться в субтропических лесах и кукурузных полях гораздо лучше, чем жить в богатом доме на берегу океана, где много игрушек и вкусной еды, и что язык, на котором я говорю и которому ее учу, лучше того, на котором говорят все вокруг.

Я учу ее очень хорошо, из меня получился бы замечательный преподаватель, и коль скоро не вышло математика, я смог бы этим делом промышлять и стать профессором-филологом в частном университете, ведь многие люди хотели бы выучить великий язык моей родины; я говорю девочке о том, что игра, в которую мы играем, самая интересная на свете и тот, кто в ней выигрывает, вернется домой и получит чудесный приз.

— Какой? — спрашивает она, и в ее голосе чувствуется легкий акцент, с которым мне еще предстоит побороться.

— Этого никто не знает, но он, правда, удивительный.

Она мне верит, подыгрывает и называет по-русски папой, и, значит, я все-таки получу свою долю бессмертия, которую каждый день по предписанию добровольцев-врачей бесплатно вливает в меня из одноразового шприца толстая медсестра-негритянка в приюте для бездомных эмигрантов.



Письма читателей

РАССКАЗ

Вторую неделю ему не писалось — не писалось безмысленно, мертво, не было ни сюжета, ни слов. Сюжет хотя и столбовая дорога, по которой идут слова, но если можешь писать ни о чем (имярек вышел из дома, на улице поздний апрель, березы в зеленоватом дыму...), то есть надежда на что-нибудь в конце концов набрести. Для многих крупных писателей камнем преткновения был сюжет; Генри Джеймс, признаваясь в бессилии своей выдумки, высокомерно оправдывался: «Это скорее для Конан Дойла»; да что там Джеймс — Гоголь в фавеле был совершенно беспомощен. Но вот если не находится слов, чтобы описать проснувшуюся ветвь за окном... Это пропасть, тупик, это сродни слепоте, поразившей художника. Особенно тягостным было то, что ему *хотелось* писать; это было сложное чувство, желание в нем тесно переплеталось с сознанием, что ему уже *надо* писать,— уже поднималось в нем по утрам и не отпускало до вечера знакомое беспокойство, тревога: что время идет, что уходит жизнь, что день безвозвратно пропадает за днем — как будто сгорают уже написанные страницы... Душа его требовала, просила работы, каждый день он с утра садился — и ничего: лишь беспросветно исчерканные, разрисованные однообразными горбоносими профилями листы слетали со стола, усеивая ковер. Впрочем, так уже было, и было не раз; все было за тридцать... считая с того дня, когда в журнале появился его первый рассказ,— уже за тридцать четыре года работы.

Шестьдесят один год... А может быть, это — всё? И больше уже никогда ничего не будет?.. При нечаянной мысли об этом (впервые пришедшей к нему недавно, может быть, год назад; он сторожил, боялся ее, но в недобрую минуту она нет-нет да и прорывалась) на сердце его навалилась такая тоска, что стеснилось дыхание. Впрочем, он даже не посмотрел в сторону жестяной коробочки с валидолом (появилась рядом с ним по настоянию Кати после того, как в прошлом году, когда он узнал, что не приглашен на юбилей выпускавшего его книги издательства, его чувствительно и неприятно качнуло), потому что разум его за последнее время уже привычно, сразу же отогнал нелепую мысль. Шестьдесят лет — пора зрелости для писателя. Нет сюжета? — придет; потерялись слова? — найдутся. Флобер как проклятый сидел со своей Бовари и в день не мог сделать больше, чем полстраницы. Когда он прочел об этом лет тридцать назад, то испугался: ему слово давалось намного легче, он никогда не сидел над страницей и часа, не то что несколько дней; он заподозрил себя в легковесности, переживал: не словесный ли мусор оставляет его перо?.. Впрочем, время излечило его от этого недостатка: он научился работать медленно. «Уста не торопится»,— говорил много лет назад починавший ему обувь старик айсор. *Уста*, мастер.

Он всегда с благоговением относился к писательскому труду — своему труду, этим отношением как будто отделяя свой труд от себя. Писать — в этом был смысл его жизни; жить, чтобы писать, а не писать, чтобы жить. Древние моряки говорили: «*Navigare necesse est, vivere non est necesse*»*. Прекрасно. Конечно,

* Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо (*лат.*).

он не мог не признать, что в нем, особенно в прежние годы, было много честолюбия, даже тщеславия, суеты, что он... ну, наверное, так: что его отношение к жизненным благам нельзя назвать равнодушием,— но основа была неизменной вот уже почти сорок лет: Искусство — это святое, Литература — святейшее из святых. Многочисленный сброд, осаждающий святые места, не в силах разрушить Храм: у каждого из тех, кто его строил и строит, сила десятков тысяч. В глубине души Евгений Михайлович считал себя одним из строителей. Богом природы ему ниспослан писательский дар; это величайшее благо, но и великая ответственность — перед своими читателями, перед теми, кого ты приручил,— а он многих приручил, судя по полученным письмам. Он несет людям добро, в его книгах... свет истины, люди благодарны ему — не в этом ли высшее предназначение жизни? А сознание, что ты один из немногих («избранных», можно шепотом признаться себе), призванных нести людям *такое* добро,— чего уж греха таить, сознание это приятно. Правда, иногда читатели мешают ему — пишешь и вдруг начинаешь против воли своей оценивать: а не будет ли этот разговор для читателя слишком длинен? а не наскучит ли абзац на две страницы? а не повредит ли успеху печальный конец?... — как будто кто-то капризный, поверхностный, к тому ж многоликий стоит у него за спиной и читает написанное. Не сразу, но он научился с этим бороться; когда он работает, то без церемоний отгоняет читателя от себя — отгоняет самого близкого, дорогого, наполняющего смыслом его жизнь человека. Настоящий, честный писатель не думает о читателе; великая гордыня, но и великое самоуничтожение: я делаю все для тебя, но делаю так, как считаю нужным; после высочайшего взлета — творчества — я покорно жду на земле твоего суда. Ты можешь отринуть меня, растоптать — я не возропщу, ибо таков мой удел: *я Царь — я раб, я червь — я Бог...* Царем и Богом ощущать себя упоительно, но пагубно для души; рабом и червем — мучительно, но душеполезно, а для художника — временами необходимо. То же самое сниженно — у народа по Далю: «Сладко естся — горько рыгается, горько естся — сладко рыгается...»

Однако пора. Он выщелкнул стержень, нетерпеливо подрожал никелированным клювом над чистым листом бумаги — эта чистота, пустота угнетала его, и он поставил в левом верхнем углу ничего не значащую нотабену — обвел, подчеркнул несколько раз... посмотрел на часы: половина второго! Уже три часа за столом... за громадным, пустым столом. Вот так: тридцать лет назад у него не было письменного стола, был ободранный кухонный — и были сюжеты; сейчас стол есть, а сюжетов нет... Ладно, всё. Надо писать. Всплыло насмешливое: «Таких людей бы сечь — да приговаривать: писать, писать, писать...» О чем?! Предположим, натуры можно брать из себя, колодезь этот неисчерпаем,— что-то усиливать, что-то приглушать, разные степени этих усиленных и приглушенных дадут полный спектр характеров... как Гёте сказал: «Жаль, что Бог создал из тебя одного человека: материала хватило бы и на праведника, и на подлеца». Но что такое характер без действия? Что будет делать этот «добрый, вспылчивый, недалекий, легкомысленный, женолюбивый, в то же время стесняющийся женщин и чуть скуповатый»? Или: «энергичный, хладнокровный, честолюбивый, расчетливый, тоже любящий женщин, но без малейшего участия сердца, искренне привязанный к одному человеку на свете — матери»? Без сюжета — это куклы, лежащие в сундуках, причем часто фальшиво разрисованные и скроенные; характер оживает, уточняется, исправляется в действии: нередко в черновую входит один, а набело выходит совсем другой человек...

У него за спиной осторожно щелкнула дверь. Черт побери, сколько раз он собирался вытряхнуть этот проклятый замок и прибить простую кожаную манжету!..

— Енюша, хочешь чаю?

— Нет,— буркнул он.

Катя участливо вздохнула.

— Что, не получается?

— Не получается, не получается! — закричал он, бросая ручку на стол. — И не получится, если ты будешь каждую минуту заглядывать и задавать дурацкие вопросы!

— Ну что ты, Енюша, — мягко сказала Катя, — ну сколько уже раз так бывало? Ты же знаешь, что настоящий писатель не может все время писать. Вспомни Толстого, Гоголя... («Когда это Толстой не писал? А Гоголь... перед смертью, что ли?») Драйзер, ты говорил, несколько лет не писал. Куда тебе торопиться?

Он виновато остыл.

— Ладно... Ты извини, Катишь. Чаю сейчас не хочу. У меня скоро трубка.

— А уже прошло два часа?

— Да, я сегодня курю по четным.

Катя помедлила.

— И еще... ты, пожалуйста, не сердись, но звонила Оля. У Миши опять тройка по изложению. Ты бы позанимался с ним в выходные... Даже неудобно: тройка по изложению — у внука писателя.

— Ладно, — сказал он, впрочем, без особой досады. Внука он любил и занимался с ним с удовольствием — хотя и без всякой пользы: и потому, что большую часть времени отвечал (пытался ответить) на вопросы типа: «Деда, а как ловят слонов?» или: «А почему ты не смотришь “Утиные истории”?», и потому, что здесь нужен был хороший учитель, а не писатель.

Катя потихоньку закрыла дверь. После собственного напоминания ему нестерпимо захотелось курить. Он посмотрел на часы — еще десять минут. Ладно, чего уж там... Он выдвинул ящик подстоля, достал коробку «Золотого руна», спички и трубку (в перерывах между перекурами прятал, чтобы не искушаться), начал ее набивать. Табак, уминаясь, мягко пружинил под пальцем. Как всегда, он подумал, что надо бросать курить. Мысль эта была ему неприятна — он представить себе не мог своей жизни и, главное, работы без трубки. Но надо, надо бросать, вокруг все знакомые бросают после шестидесяти... Он с наслаждением закурил. Трубка мягко посапывала, выталькивая как будто сама собой из помигивающего рдяным мениском зева маленькие зыбки бублики. За окном по ярко-синему небу быстро плыли клочковатые, белые с сизыми выпушками облака. Веют весенние ветры... Раньше он больше любил весну. Впрочем, раньше он все любил больше — все, кроме покоя. Стремиться к покою нельзя, это конец. Это не смерть, но это конец созидания, в его возрасте — последняя остановка в пути. Правда, восточные мудрецы говорят, что именно в обретении покоя — наивысший смысл, истинное предназначение жизни. Сейчас это модно... Сейчас модно все, что оправдывает твоё равнодушие к ближнему. Раньше говорили хорошо, делали дурно; теперь дурно и делают, и говорят. Его цель — нести людям добро. Он не подвижник, не альтруист — для этого ему не хватает воли и сердца, — он вообще не лучше других (где-то в потайном уголке души он считал себя лучше многих, но в этом ему неудобно было признаться — даже себе), но в основе его жизни — труд для людей. Да, он не Гоген, он никогда не стал бы писать для себя — среди еще не поднявшихся над природою дикарей и тем более на необитаемом острове. И пусть сколько угодно зубоскалят нынешние эстетствующие шелкоперы, у которых бытие без обратной связи определяет сознание: поневоле запоешь о чистом искусстве, если тебя никто, кроме соседей по околосредовенному экзотарию, не читает...

Трубка засвистела; он с сожалением затянулся в последний раз, выстучал ее о доньшко пепельницы и спрятал в ящик стола. Всё. Надо писать. Читатели ждут — те читатели, которые помнят о нем, которые прислали ему столько писем. Ведь это во многом, — впрочем, не во многом, а просто благодаря им он работает. Лет двадцать пять назад он уже готов был все бросить... бросить самую жизнь — нет, едва ли бы он покончил с собой, но уж наверное опустился бы... трудное было время. Критика его упорно замалчивала; ему шло уже к сорока, у него было опубликовано несколько повестей, два десятка рассказов... и — можно было сказать, никакого отзвука: несколько коротеньких суконных рецензий да изредка упоминание его имени в ряду десятка столь же безвестных других — как

представителя, выражаясь на диком литературоведном аргументе, *обоймы* писателей одного возраста или тематического (других тогда не было) направления. Ни одного серьезного, внимательного, добросовестного разбора, ни одной попытки понять, почувствовать то, что с такими муками рождалось в его душе и криком выплескивалось на бумагу, ни строчки одобрения или хотя бы участия... ничего — как в болото. Первые годы он, хотя и недоумевающая, терпел — потом начал злиться, переживать; ему было непонятно, почему словоблудие Родченко, в котором не было ни мысли, ни чувства, ни стиля, или выступающая в обличье романов сельскохозяйственная публицистика Чистякова, написанная языком провинциальной многотиражки, из года в год пережевываются критикой с тщанием залегшей коровы, а его отшлифованные до хрустального блеска, напоенные любовью, горечью, состраданием строки редко достаиваются даже строчки в обзорной статье. Потом, когда он вступил в Союз, рецензии появились — но что за рецензии!.. Какое убожество, какое удручающее опошление его мыслей, какой бесцветный, плоский, примитивный до глупости, если не сказать подлости, пересказ написанных им со слезами, с восторгом, с благоговением картин! Что в жилах у этих людей?! что у них вместо сердца?! Впрочем, одну рецензию, написанную острее других, он помнил до сей поры, ее заключительный пассаж — наизусть: «Так он писал *темно и вяло*, что романтизмом мы зовем...» Бедный Ленский! Увы, убогое рефлексирование персонажей Евгения Кротова мы даже плохим романтизмом не назовем». Сволочь... ну что ты, что ты, нельзя же так. Кораблева уже давно нет в живых... Все же он не удержался и вспомнил, как он тогда ответил: «Амебе кажется, что и карась убого рефлексирует». Это было сказано Кате — больше и некому и незачем было говорить.

И все-таки критика его не столько недолюбливала, сколько просто не замечала — и это задевало его больше всего: как будто то, что он делал, было несерьезно, второго разбора. Он злился и недоумевал: почему?! Ответов могло быть два: либо это следствие испорченности нравов в околотитературной среде и его просто третируют как одиночку («одиноким талантом», — смущаясь, поправлял он себя) — а он действительно был одиночкой: в литературу пришел с «черного хода», из биологии, ни к какой группе до сих пор не примкнул (он и сам не стремился, но его и не приглашали), к тому же был не выдержан на язык, — либо... либо он не *большой* писатель. Не *крупный* писатель. Да чего уж там — никакой писатель.

Эта мысль была ему нестерпима, тем более что отринуть ее до конца он не мог. У него доставало ума понять, что в искусстве себя оценивать трудно. Расхожая мысль — что каждый писатель считает себя великим. Это глупость, разумный человек — даже самому себе про себя — не может такое сказать. Другое дело, что всякому добросовестному — то есть работающему в полную силу и по душевной склонности, а не корысти ради — писателю кажется, что он по меньшей мере *крупный* писатель, — и в этом нет ничего удивительного, удивило бы скорее иное. Каждое написанное им, а особенно пришедшее по вдохновению слово связано сотнями нитей с его сознанием, подсознанием, напитанной событиями всей его жизни памятью, и потому, окрашиваемое при чтении *своего* текста сотнями неизбежно возникающих ассоциаций-цветов, видится ему таким ярким, точным, исчерпывающим образ (к тому же бросающим на другие слова, на всю фразокартину отсвет с ним связанного, владевшего творцом настроения), каким оно не увидится ни одному человеку на свете — уже потому, что у этого человека другое сознание, другая память, другая прошедшая жизнь и оттого — другое восприятие жизни. С коротким «Светало...» у автора может быть теснее всего связана история его первой любви, и даже подсознательная, без образов, память о ней будет всякий раз пробуждать у него в душе настроение светлой печали; измордованный же солдат-первогодок испытает лишь приступ бессильной тоски — и в первую очередь вспомнит ненавистное «Р-р-рота, подъем!!!» и хриплую утреннюю матерщину сержанта...

(Поэтому, кстати, Евгений Михайлович иногда сомневался, действительно ли он несет *всем* читающим его людям добро. Допустим, у него самого и у мно-

гих других (они сами пишут ему об этом) рассказ об одинокой старухе вызывает сострадание и желание ей помочь; но не вызовет ли тот же рассказ у бездушно-го и алчного человека, тип которого столь многочисленен в наши дни, лишь раздражение против бесполезной старческой жизни и желание отобрать для себя и своих детей у зажившейся старухи квартиру? Но подобные мысли — о непредсказуемости последствий добра и зла — он поспешно и безжалостно изгонял: он чувствовал, что за ними дорога, которая уже в настоящей, реальной жизни ведет в никуда, — ведет к нравственной пустоте, к осознанию невозможности доказать безотносительность природы добра, к потере вообще смысла понятий добра и зла и, как следствие, к потере основы всего — работы и жизни...)

Так вот, по всему по этому Евгений Михайлович понимал, что писателю оценить самого себя — по крайней мере исчерпывающе — невозможно; но, скромно отказываясь от суждения о себе как о *большом* писателе, он тем не менее надеялся — позволял себе так оценить себя, — что он писатель, во всяком случае, *крупный*, — и пренебрежение критики относил на счет далеких от литературы соображений. Но так было в первые годы, в первые... ну, может быть, десять лет. Потом, с каждой новой повестью (или рассказом), напечатанной в толстом журнале и прошедшей без единого отклика, как будто канувшей в пустоту, душу его стало все злобней, все мучительней жалить сомнение. Даже вначале слабое, это было ужасающее сомнение: сомнение в том, что он работает (то есть живет) не напрасно, что он действительно писатель, художник, а не (вот страшное, зверское, подлое слово!) старательный *графоман*, что, пройдя уже первую, лучшую половину своего жизненного пути, он не растратил себя впустую, что впереди его еще ждут перевалы, каждый хоть чуть, но выше предшествующего, а не затяжной, безнадежный спуск — или пропасть... Даже попутная мысль о том, что, разуверившись в своем литературном таланте, он будет вынужден писать не ради искусства, не ради людей, а как ремесленник — ради денег, была ему невыносима.

Как ни странно, добила его (вот когда боги смеются!) его первая *книга*.

Если бы ему было вживе знакомо чувство, с каким будущая мать ждет дитя, или если бы он был менее добросовестен, он сказал бы, что ждал эту книгу, как мать ждет дитя; но он был добросовестен и мог только сказать, что он ждал эту книгу, как никого и ничего в своей жизни: ни... да нет, никого и ничего, не стоило даже перечислять. Причем у будущей матери, совершенно искренне думал он, есть перед ним одно неоспоримое преимущество: она знает, что ребенка можно выучить, воспитать, изменить в лучшую сторону то, что заложено в нем природой (по крайней мере многие думают, что это возможно), — автору же по выходе книги в свет остается лишь с бессильной тоской взирать на обнаруживающиеся одно за другим несовершенства, а то и пороки своего творения... Итак, книга вышла. Первые дни он часами бегал по магазинам, то жадно, то робко выискивая ее темно-синий с золотом переплет, если находил — замирал, обессилив от счастья, сердце начинало частить, жар заливал лицо, — и стоял так пять, десять минут, невидящим взглядом перебирая чужие книги и часто, но коротко взглядывая на *свою* (смотреть не отрываясь ему было стыдно, хотя он и понимал весь самонадеянный идиотизм своего стыда: а вдруг кто-нибудь знает — или поймет, — что это автор любит своего ребенка?), — стоял в сладко-томительном ожидании, что кто-нибудь попросит посмотреть его книгу, купит ее... Но при нем ее ни разу никто не купил. Покупали другие книги. Она стояла в магазинах так долго, что он перестал заходить в те из них, где она была; критика ее не заметила: как и все, что было им написано раньше, книга ушла в никуда, в пустоту. Однажды Сашок, старый друг, принес ему номер «Книжного обозрения», где она была названа среди десятков других, недавно вышедших из печати; Сашок, инженер, ничего не понимал в литературных делах и, наверное, думал, что ему это будет приятно... Он был раздавлен. Тогда ему было уже (сейчас он печально-ласково улыбался, вспоминая это *уже*) тридцать шесть лет. Ни он, ни его книги не были нужны никому. Он вдруг ясно понял: растрочена, кончена жизнь...

И вот тогда, четверть века назад, к нему пришло первое *письмо от читателя*.

Он протянул руку и выдвинул ящик небольшого бюро, стоявшего на угловой осмьюшке стола. В ящичке плотно ребрились тронутые желтизной конверты, разделенные ступенчатыми закладками с обозначениями годов. Перед первой, семьдесят третьего года, стояло только одно письмо; дальше шли стопки почти одинаковой толщины, по несколько писем в год. Письма занимали три ящичка, за четверть века он получил их более ста. Если точно — сто двадцать восемь. Последнее пришло месяц назад.

Он вытащил самый первый конверт, с рисунком старинного этажерчатого самолета и бородатой головою Можайского. Город Калинин, Матвеева Наталья Петровна. Полного обратного адреса не было — наверное, она подумала, что писатель из вежливости ответит, и постеснялась его утруждать. Он вытащил письмо, развернул — оно было коротким, на одной стороне тетрадного, в бледно-лиловую клетку листа.

«Глубокоуважаемый Евгений Михайлович!

Не смогла удержаться и не написать Вам о том, какое огромное впечатление произвела на меня Ваша книга «Городские рассветы». К великому моему сожалению, у меня нет таких слов, какими, уже к счастью для нас, Ваших читателей, обладаете Вы; могу лишь сказать, что при чтении Ваших рассказов в душе пробуждаются самые светлые чувства, не говоря уже о том наслаждении, которое доставляет образность Вашего стиля, богатство Вашего языка. Какие чудесные люди Ваши Николай из «Последнего парохода», Саша из «Случайного попутчика», Марина из «Я буду всегда с тобой»; как удивительно написан Иван Иванович в «Ожидании чуда»! Огромная к Вам просьба от меня и моих друзей, которые вместе со мной прочли Вашу книгу: пишите еще! В жизни так много зла, порой опускаются руки. Поверьте, после Ваших рассказов хочется жить.

С глубокой благодарностью

Наталья Матвеева».

Он читал, и у него как обычно — привыкнуть к этому было нельзя — волновалось дыхание. Почерк был крупный, округлый, с немного странным наклоном влево, казалось, очень старательный (наверное, переписывала с черновика), он подумал тогда — и думал сейчас, — что писала совсем молодая девушка... Сейчас? Сейчас у нее уже могут быть внуки... Письмо пришло в тот момент, когда он был близок к отчаянию: уже месяца два не работал, целыми днями лежал, убийственно много курил и почти не отрываясь читал без разбору книги, пытаюсь спасти сознание от захлестывающей его смертельной тоски. Он был на грани... чего? — как можно сейчас, спустя четверть века, сказать? — но он помнил до сей поры, что ему было очень плохо. Это письмо — его первое письмо от читателя — явилось ему спасением: оно не просто подбодрило его, не просто возвратило его в ту жизнь, которая была раньше — письмо это вдохнуло в него новую, до тех пор неизвестную ему жизнь, оно бескорыстно, с наивной признательностью — ему! — дало ему то, что многие ищут и не находят всю жизнь, — *смысл жизни...*

В тот же день он сел за работу.

Месяца через три пришло второе письмо, потом еще и еще... С тех пор было много писем. То есть как много? — пять, шесть, изредка больше в год. Они приходили в адрес редакций или издательств, а оттуда пересылались ему или он сам забирал их при случае — и это тоже было приятно: в издательском мире знают, что ему пишут читатели... Письма были самые разные — от умилительно-простодушных до такой глубины, что он порою конфузился и удивлялся: в своих героях он вкладывал очень многое из того, что сумел обнаружить неизвестный читатель, — а иногда и всерьез досадовал: если бы это пришло ему в голову самому, он выделил бы ярче случайный штрих, а может быть, и всю линию провел по-другому. Утешался он тем, что подлинное произведение искусства нередко перерастает замысел автора: классики, наверное, и не подозревали о том, что приписала им позднейшая критика...

Больше всего было писем — наверное, половина — из Москвы и городов Подмосковья; много из Ленинграда, странно много из Крыма, по одному, по два из Саратова, Киева, Тулы, Горького, Рыбинска, Тарту, десятка других городов; он помнил, что не было ни одного письма из Сибири — наверное, там не было его книг... Сначала он отвечал на все письма, даже совершенно беспомощные, потом — лишь на те, которые по своему тону и содержанию, казалось, ждали его ответа (прямо — наверное, из деликатности — его никогда не просили ответить); это не было ему в тягость — наоборот: он отвечал людям, для которых он жил — писал. Критика по-прежнему не замечала его, на пятидесятилетие его обошли двухтомником (на шестидесятилетие тоже, но сейчас времена изменились), его редко приглашали на конференции, открытия, юбилеи — все это по-прежнему жестоко уязвляло его само- и честолюбие, но теперь на нем была спасительная броня — письма его читателей. Это был источник — к счастью, до сих пор не иссякнувший, — который питал его творчество, его жизнь. Внутренний голос его, стремящийся к справедливости, иногда нехотя признавал: «Читатель, конечно, не судья...» — «Ну почему не судья?» — «Ну, не судья...» — «А судьи кто?! — вспыхивал бунт. — Кузовков, глубокомысленно расклеивающий кучи Ревякина?!» И когда у него было тяжело на душе, когда ему не писалось, когда, обессиливая воображение и мысль, подступала тоска, — он выдвигал одно из отделений бюро, раскуривал трубку и неторопливо, начиная с обратных адресов на конвертах, перечитывал письма своих читателей... Читатель, бесценный друг мой! что я без тебя?..

— Енюша, — сказала Катя за дверью, — я пошла в магазин.

— Хорошо.

Он нужен — не *востребован*, как сейчас говорят, — гнусное слово: *востребован* Кузовков — Ревякиным и компанией, а те, в свою очередь, — Капиталом: ему надо добить до конца беспокойную российскую интеллигенцию, растворить ее без остатка в обезумленном техническими извращениями народе, а пришедшую на ее место имморальную, безопасно фрондирующую толпу *растусовать* по своим гостиним (впрочем, уничтожить интеллигента — мечта любой власти во все времена), — да, так вот: *востребован* Кузовков, а он — он *нужен* людям. Он исполнял и исполняет свой долг; из-за этого он был... ну, наверное (Евгений Михайлович замялся в душе), не так, как должно, — не совсем так, как должно, — внимателен к родителям, Кате, Оле, теперь вот к внуку; а что делать? — он любит их, но книги его ждут десятки, сотни тысяч людей, из которых сто двадцать восемь прислали ему свои письма. Вот его оправдание — полка с шестью его книгами и множеством толстых журналов. При взгляде на нее привычно шевельнулась несбыточная мечта — *о собрании сочинений*... ну, хотя бы трехтомник... Но это уже, наверное, *потом*...

Он с трудом удержался, чтобы не закурить, нервно пощелкал ручкой. Надо писать... писать, искупать. Сколько ему осталось? Мама умерла в семьдесят семь, отец — в семьдесят четыре... но он уже в сорок бросил курить... Да. Надо писать, а сюжета нет. Какую повесть можно было бы сделать из Виктора с Настей! Нельзя — будет слишком узнаваемо, обидятся на всю жизнь. У него нет решимости, если угодно — бесцеремонности Чехова или Золя, готовых ради сюжета пожертвовать дружбой. Он уже написал «Возвращение», и с тех пор Гарик ему не звонит... Опять замутилось в душе. Он поступил подло, иначе не скажешь. Любой человек, мало-мальски знающий Гарика, Римму и Наташу, узнал бы Гарика в Славе, Римму в Марине, а Гарикову любовницу или, вернее, вторую жену — в Татьяне. Даже имена по звучанию схожи — ну конечно, так ведь легче писать... И вот пожалуйста: жена узнает из повести приятеля своего мужа, что тот тридцать лет жил с другой женщиной! Да нет, Римка, конечно, догадывалась... и все равно это свинство. Ну а что делать?! Он не может — да нет, что тут мочь, он в первую голову просто не хочет писать модернистскую чепуху, которой единственное достоинство в том и есть, что она не поддается оценке. Вот где раздолье для шарлатанов! Малевич с «Черным квадратом» — ха! Бездушный рисовальщик Дали — великий художник! Да в той же живописи всё, что на-

малевали в двадцатом веке, не стоит одних вытаращенных глаз репинского сыноубийцы. Конечно, куда проще малярной кистью измазать холст и на вопрос, что это такое, меланхолично ответить: «А вы когда-нибудь видели, как течет река?..», — у какого-то француза была такая новелла... Или стоит человек, нагнувшись, и выдавливает себе под ноги тубы, одну за другой: Джексон Поллок за *работой!* Бога ради — мажьте, пачкайте, рисуйте глаза на ягодицах, называйте своих героев Достоевский и Тоестльстой, укладывайте младенца Федорова в гроб г-жи де Сталь, пишите в молчании сердца, с холодной душой, — но он реалист, ему нужна жизнь!.. Ладно, ладно, не волнуйся... что ты? Тебе уже не пятьдесят, надо думать, из-за чего волноваться. Ну-ка, еще письмо... одно из последних. Странно, что люди до сих пор продолжают писать; странно вдвойне, что пишут не меньше, чем прежде: время сейчас такое, что не до словесности...

Талдом, Кузьмичеву Ивану Егоровичу. Почерк грубый (сказал бы — «корявый», если бы это не был почерк его читателя), прерывистый, строчки ползут, «вам», «ваше» всюду с маленькой буквы...

«Дорогой Евгений Михайлович.

Извините, что беспокою, но уж очень понравилась ваша книга. Я уже старейший человек, мне семьдесят пять, читаю мало, но внук принес вашу книгу, я прочел и, правду сказать, заслезился. Чувствуется, что вы душевный человек, если такое описываете, и описываете хорошо. Люди у вас как живые, читаешь и видишь то одного соседа, то другого. А такой же случай, как у вас с Михаилом, у нас лет десять назад на Красноармейской произошел. Спасибо вам и долгих лет жизни. Пишите дальше, сейчас правды мало пишут, всё Ленина со Сталиным облыгают. Вы о них не пишете, но, думаю, если что, неправды не скажете. И по телевизору всё больше про за границу, а нам она не нужна. С уважением»

Кузьмичев Иван Егорович, ветеран войны».

Евгений Михайлович улыбнулся, вздохнул и положил письмо рядом с первым, от девушки из Калинина, — между ними было без малого четверть века... Буду писать. Буду, Иван Егорович. Может быть, что-нибудь о войне? Но я не знаю войны... Или о ветеране? Нищенская пенсия, одинокий, больной старик...

Зазвонил телефон. Евгений Михайлович поднял трубку — без обычной досады, с которой снимал трубку, когда оставался дома один: и на душе посветлело после письма, и все равно пока не работалось, и уже несколько дней ему никто не звонил...

— Слушаю вас.

— Кхе-кхе, — прокашлялась трубка. — Великого писателя Кротова приветствует его преданнейший читатель.

— А-а... здравствуй, Сашок.

— Я тебя не оторвал? — чуть посерьезнев, спросил Сашок. Чуть — потому что Сашок, его друг со школьной скамьи, кажется, так и не смог до конца понять, что такое работа писателя.

— Да нет... не пишется ни черта, — сказал Евгений Михайлович с облегчением. — Прямо какой-то... мозговой туман в голове. Как ты там?

— Да ничего. Слушай, Жека... Я тут у тебя проездом, с одним приятелем. Хороший парень, сосед... Можно к тебе ненадолго?

— Заходи.

Ну если не пишется? Не пишется — и не пишется. Что, всю жизнь без остановки писать?!

— У нас тут бутылка, — осторожно сказал Сашок.

— А тебе уже можно?

Он знал, что у Сашка недавно было обострение язвы.

— И можно, и нужно. Это молодежь выбирает пепси, потому Россия и вымирает.

— Ну давай, заходи! — засмеялся Евгений Михайлович.

— Катька-то ничего?

— А ее, кстати, нет... пока. Вы где?

— У твоего гастронома. Теперь он называется супер... мать его, маркет.

— Ну давайте.

— Все, мы идем.

Евгений Михайлович повесил трубку и снял очки. Катя, конечно, будет ворчать — из-за водки. Ворчать беспокоясь, но не сердясь — на Сашка она никогда не сердится. Тридцать... тридцать четыре года назад Сашок был у них на свадьбе свидетелем; с тех пор редкий праздник Сашок и Мила не сидели у них за столом — или они у Сашка. Милы уже три года как нет... а ведь она ему нравилась; то есть любил он, конечно, Катю, но Мила ему очень нравилась; и хотя ему стыдно было даже думать об этом, все же, подвыпив, он не мог удержаться и на прощание неизменно ее целовал... Сашок остался один в однокомнатной квартире на «Войковской» — двухкомнатную, сталинскую, они давно уже отдали сыну с семьей. Недавно Сашок вышел на пенсию — его предприятие сократило пенсионеров; без Милы, без работы (он был заместителем главного инженера на небольшом оборонном заводе), поссорившись и в душе до сих пор не помирившись с сыном, который бросил преподавание в Бауманском и пошел торговать, Сашок сильно душевно сдал — хотя и изо всех сил бодрился... Жалко Сашка.

Евгений Михайлович встал, вышел из-за стола, открыл секретер (мелькнула недовольная мысль: как же он стал все медленно делать!), вытащил чайную скатерть, розовогорлую шипастую раковину под пепельницу, три хрустальных рюмки, початую бутылку «Смирновской», — перенес, расстелил и расставил все это на низком журнальном столе, стоявшем в окружении четырех пухлых кожаных кресел. Выйдя на кухню, он достал и нарезал хлеб, сыр, колбасу, соленые огурцы, уложил их на стеклянное, с лучевыми перегородками блюдо, — подумав, добавил головку маринованного чеснока и немного маслин (сам он чеснок и маслины не ел — тяжело; но Сашок сказал, что будет с приятелем, — а что за приятель?), вернулся к себе, поставил блюдо на стол... Раздался звонок.

Евгений Михайлович открыл дверь. Сашок... еще недавно Сашок бы *влетел*, сейчас — хотя и проворно, но все же *вошел*: вошел, правой рукой поймал его руку, левой обнял за шею и, приподнявшись на цыпочки (он был невысок), крепко три раза поцеловал Евгения Михайловича в щеки: в последние годы при встречах стал целоваться... Вошедший с ним был среднего роста, плотным, белоснежно-седым, с широким красным добродушным лицом, в коричневом потертом, но чистом и выглаженном костюмчике и с матерчатой, какой-то старушечьей сумкой в руке. Сашок отступил и закивал одуванчиковой, наполовину облетевшей головой.

— Жека, это Николай Петрович... Евгений Михайлович.

— Очень рад, — сиповато сказал Николай Петрович.

— Душевно рад, — несколько басисто ответил Евгений Михайлович, пожилая Николаю Петровичу доброжелательную сухую теплую руку. Николай Петрович сразу ему понравился хотя — чем старше он становился, тем меньше искал знакомств и тем больше чуждался новых людей. — Проходите, пожалуйста.

— Тапочки дай, — сказал Сашок, энергично сбрасывая языкастые туфли.

Николай Петрович поставил сумку на пол и нагнулся к армейского типа ботинкам.

— Да не надо снимать!

— Давай, давай...

Переобувшись, гости прошли в кабинет. Сашок поставил на стол бутылку брынцаловской водки и первым плюхнулся в кресло. Для Николая Петровича Евгений Михайлович сделал широкий приглашающий жест.

— Ну, давайте сразу по одной, — сказал Сашок, потирая худые руки. — С мороза...

Он всегда так говорил — и в жару, и в мороз. Евгений Михайлович взял со стола «Смирновскую». Николай Петрович сидел, помаргивая, на краешке кресла и несколько, казалось, смущенно оглядывал кабинет. Евгению Михайловичу это было приятно: он гордился своим кабинетом.

— «Смирновская»,— сказал Сашок.— Жека, ты прямо как новый русский.

— Нет,— сказал Евгений Михайлович.— Это зять приезжал, привез.

— А зять у тебя новый русский?

— А то ты не знаешь, что он старый... м-м-м... русо-украино-азербайджано-еврей.

— Ну, тогда слушайте анекдот про нового русского.

И Сашок рассказал анекдот про нового русского, в котором тот полным был дураком. Николай Петрович и Евгений Михайлович от души посмеялись... негромко посмеялись, он вдруг подумал: «Старики посмеялись...»

— Ну, за встречу! — сказал Сашок.

Они чокнулись, выпили. Сашок размашисто напластовал себе бутерброд с сыром и колбасой, Николай Петрович взял кусок хлеба и огурец.

— Закусывайте, закусывайте, Николай Петрович,— сказал Евгений Михайлович.

— Спасибо.— Николай Петрович взял кружок колбасы.

— Красота,— сказал Сашок, энергично жуя, отчего его как будто уменьшившееся, заострившееся за последние годы лицо зарябило разноячейстой сетью морщинок.— Как говорил Сент-Экзюпери, нет ничего приятней, чем выпить с хорошим другом по бутылочке портвейна...

— Где это он говорил? — улыбаясь, спросил Евгений Михайлович. На душе у него стало совсем покойно, тепло. Подумаешь, десять дней не писал... а куда торопиться? Служенье муз не терпит суеты.

— Говорят, говорил,— сказал Сашок и потянулся к маринованному чесноку. Евгений Михайлович несильно щелкнул его по руке.

— Ку-уда? К хирургу на стол захотел?

— Да мне уже можно!

— Маринованный чеснок?! Нечего, нечего... Чеснок нынче в цене. Это для Николая Петровича.

— Ох-хо-хо! — простонал Сашок и взялся за голову.

— Николай Петрович, чесночку.

— Спасибо,— сказал Николай Петрович и выломил дольку. Человек он был, наверное, славный — с ним было спокойно и хорошо. В обществе незнакомых людей Евгений Михайлович, по крайней мере вначале, чувствовал и держал себя не вполне свободно, естественно. Он очень дорожил своим призванием писателя, втайне гордился, что он писатель, и втайне даже от себя (стыдно — гордыня) считал себя человеком необыкновенным (нет, все-таки так: не обыкновенным), отличным не то чтобы в лучшую, а в какую-то несколько высшую сторону от остальных (исключая старых друзей, таких, как Сашок: они для него были просто родными). Поэтому, если незнакомые люди не оказывали ему достаточного внимания и уважения или (бывало и такое) выказывали невнимание и даже неуважение, он напрягался и старался поставить этих людей на место, приличествующее им подле него, *писателя*; если же, напротив, кто-то видимо терялся в его присутствии, он, в свою очередь, чувствовал себя очень неловко и становился до приторности вежлив и обходителен. Николая же Петровича не было нужды ни осаживать, ни ободрять: он держался скромно и одновременно с достоинством...

— Между первой и второй — перерывчик небольшой,— сказал Сашок и забулкал бутылкой. Лысина его покраснелась... а какие у Сашка были волосы! — Катя-то скоро придет?

— Не знаю,— сказал Евгений Михайлович.— По магазинам пошла.

— Как у нее с ногами-то?

— Да сейчас вроде ничего.

— Ох, Катя, Катя... — вздохнул Сашок.— Ну, с Богом.

Евгений Михайлович встретился глазами с Николаем Петровичем и, здравствуя, поднял рюмку. Николай Петрович ответил. Выпили, закусили.

— Да, дела,— сказал погрустневший Сашок.— Вчера видел, как у одной бабки в нашем дворе разлетелись газеты. Ветер был, разметал их по всему дво-

ру, ну, и она пошла собирать. Бабке по виду уже за семьдесят, ходит плохо, нагибается с трудом... А рядом качались на качелях две пигалицы, лет по двенадцать, — знаете, двойные такие сиденья, лицом друг к другу. И вот, когда бабка к ним подошла, собирая свои газеты, они говорят: «Здравствуйте...» — ну, допустим, Марья Ивановна. Бабка отвечает: «Здравствуйте». «Что, — одна говорит, — Марья Ивановна, все газеты разлетелись?» Вежливо так говорят, участливо, без всякой насмешки... и — продолжают качаться! Это — что? Это уже патология какая-то. Построили свободное общество!

— М-да, — крикнул Евгений Михайлович. Многие происходящие в стране перемены угнетали и раздражали его; но ему было легче, чем, например, Сашку, потому что у него были читатели — люди, которых было много и которые, судя по письмам, не изменились. «Мои читатели — не такие», — так это прозвучало в мозгу. — Времена смутные, что и говорить. Я слышал, что уже и издательское дело прибирают к рукам бандиты.

— Преступность страшная, — с неожиданным чувством сказал Николай Петрович.

— Людям есть нечего, а они храмы строят, — сказал Сашок. — Срам Христа Спасителя!

Евгений Михайлович засмеялся.

— Ладно, — сказал Сашок, — ну их к такой-то матери... Ты где куришь?

— Здесь.

Сашок закурил сигарету, «Яву». Николай Петрович не курил.

— А вы какими судьбами в наших краях? — спросил Евгений Михайлович, набивая трубку.

— Да мы на Птичку за блеснами ездили... Представляешь, Жека, — сказал Сашок, обеими руками показывая на Николая Петровича, — десять лет прожили в соседних подъездах, и только на пенсии привел Бог познакомиться. Тоже рыбак, прекраснейший человек... — Николай Петрович заметно смутился, — ...хотя и в некотором роде опасный.

— Чем же вы опасны, Николай Петрович? — спросил Евгений Михайлович, благожелательно улыбаясь.

— Николай Петрович у нас в прошлом... все мы теперь в прошлом, кроме тебя, Жека, ты уж держись, — так вот: Николай Петрович — криминалист-почерковед. И в частности... как это, Николай Петрович?

— Психографолог, — чуть улыбнувшись, сказал Николай Петрович и немного печально покачал совершенно седой головой.

— Посмотрит на то, что ты написал, и с ходу определит твой возраст, пол, характер, профессию... Вот так, Жека, — легко загорелся Сашок. — Специалисты на пенсии, а вместо них молокососы сидят. С кем эти обкомовцы капитализм будут строить?!

— Интересно, — сказал Евгений Михайлович, раскуривая трубку. Ему действительно было интересно: мало того, что он никогда не встречался с криминалистами, так еще и определение характера человека по почерку почему-то всегда считал шарлатанством. Может быть, тут играло роль простое созвучие: графология, графомания, хиромантия...

— Александр Иванович немного преувеличивает, — сказал Николай Петрович. — Основное направление графэкспертизы — это идентификация почерков. Характер же, возраст, пол... ну, разве что с некоторой долей вероятности.

— Ничего я не преувеличиваю! — горячо сказал раздумывавшийся Сашок. — А вспомните, как вы на Сенеже различили по почерку Воробьевых?

— Да... но одному из них было восемнадцать, другому — сорок, а третьему — за семьдесят лет. И я знал, что это написали они, и вообще их немного знал.

— Не скромничайте, Николай Петрович, — сказал Сашок, казалось, искренне раздосадованный самоуничижением приятеля. — Вот попробуйте-ка, определите, что Евгений Михайлович за человек. Уж я-то его знаю, уверен, что будет в точку. Жека, черкни что-нибудь! А, вон у тебя на столе бумажки лежат... я возьму?

И Сашок, не дожидаясь ответа, живо посунулся из-за стола. Евгений Михайлович испугался и засмеялся.

— Нет-нет, зачем же меня? Сиди, сиди... я и так весь как на ладони.

— Ну давай, что ты?! Или ты уже перестроился и что-то украл?

«Вот чертила,— подумал Евгений Михайлович; ему было немного неловко, да и Николай Петрович, казалось, сидел в некоторой растерянности.— Передо мной уже выпил, что ли? Сказать, что не надо ничего определять,— тоже нехорошо: это будет пренебрежением к Николаю Петровичу — как будто мне неинтересно то, чем он занимался всю жизнь... Но не себя же давать?!» Вслух он сказал:

— Если Николай Петрович не возражает... и его это не затруднит...

Николай Петрович покорно развел руками.

— ...то вот у меня есть два письма.

Евгений Михайлович поднялся и взял с рабочего стола два конверта: письмо девушки из Калинина — самое первое, полученное им четверть века назад, и письмо талдомского старика ветерана.

— Но это же не проверишь, — недовольно сказал Сашок.

— Почему не проверишь? Из контекста ясно, кто это писал.

— Так ты загни ту часть, из которой ясно!

— Ладно, загну... Что это мы Николаю Петровичу экзамен устраиваем?

— Да нет, ничего, — сказал Николай Петрович, — на пенсии мне это самому интересно... Только я вас предупреждаю заранее: точно здесь сказать ничего нельзя.

Евгений Михайлович перегнул письма так, чтобы спрятать мужские и женские окончания (получились две полоски, в каждой по несколько строк), и протянул их Николаю Петровичу. Тот положил их перед собой, вытащил из внутреннего кармана плохонькие, в дешевой оправе очки, надел их — и враз построжел лицом. Сашок встрепенулся и доразлил бутылку «Смирновской».

— Погодите, Николай Петрович. Давайте-ка... за нас, отставников. Мы, я чай, не на работе, — немного даже сердито добавил он.

Выпили. Николай Петрович снова склонился над письмами, жуя огурец. Минуты две он сидел неподвижно, только пару раз поднял брови, — потом вдруг улыбнулся.

— Ах вы, хитрецы...

Сашок подался к нему:

— Ну, что?

Николай Петрович, посмеиваясь, снял и спрятал в карман очки.

— Ну, что... Письма написаны одной рукой.

— Как это — одной рукой? — спросил Евгений Михайлович. Он даже не удивился.

— Ну конечно, одной рукой, — весело глядя на него, сказал Николай Петрович.

Евгений Михайлович почувствовал себя очень неловко. В отношениях с хорошими людьми он был очень деликатный человек. Кроме того, после столь явного провала Николая Петровича воспоминание о его убогих очках прямо сдавило сердце. Он вдруг подумал, что Николай Петрович старше их самое меньшее лет на пять — и к тому же, наверное, одинок.

— Да нет, Николай Петрович, вы ошибаетесь, — мягко сказал он. — Между этими письмами двадцать пять лет. Одно писала девушка, ну, может быть, молодая женщина, другое — старик. Это видно из текста.

Николай Петрович перестал улыбаться и снова посмотрел на лежащие перед ним бок о бок листки.

— Ну ничего, и на старуху бывает проруха, — бодро сказал Сашок. — Наверное, девушка была больна. Помните, вы мне рассказывали, что почерк зависит от здоровья и настроения?

Николай Петрович поднял глаза. Вид у него был несколько обескураженный. Евгению Михайловичу стало жалко его.

— Ладно, Бог с ними, с письмами, — он протянул руку и взял листки. — Александр Иванович, повинуюсь своему инстинкту замглавного инженера, не может смотреть, как люди сидят без работы. Следующим он заставит меня — написать рассказ.

— Евгений Михайлович, — тихо сказал Николай Петрович, глядя на него снизу вверх. — Я не знаю... а вдруг это важно? Я тридцать пять лет занимался графической экспертизой. Уверяю вас, эти письма написаны одной рукой.

— Помилуйте, Николай Петрович! — сказал Евгений Михайлович, изумляясь его упорству. — Я же говорю, что эти письма получены мною с перерывом в двадцать пять лет. Одно из Калинина, из Твери, другое из Талдома. Вот конверты... вот штемпеля: Калинин, шестнадцатого ноль пятого семьдесят второго; Талдом, двенадцатого ноль восьмого девяносто шестого. Да и... да и вообще: одно пишет старик, вот он пишет: «Я уже старик», другое девушка или женщина: «смогла», «Наталья Матвеева»... Как же один человек?!

Непонятно почему он начинал волноваться.

— Я не знаю, Евгений Михайлович, — все так же тихо сказал Николай Петрович. — Одна рука. Ну... на девяносто пять процентов одна рука.

Евгений Михайлович вдруг — как будто без участия разума — повернулся, выдвинул ящик бюро и наугад выдернул еще один конверт — откуда-то из середины восьмидесятых годов.

— Ну, а это?

Николай Петрович не очень охотно взял конверт, вытащил из него письмо, развернул.

— Позвольте один из предыдущих образцов.

Евгений Михайлович протянул ему письмо старика. Николай Петрович положил перед собою листки, с полминуты поводил глазами с одного на другой — и отодвинул их на середину стола. Евгений Михайлович вдруг заметил, что он не надел очков.

— Одна рука.

— И это одна рука?..

— Теперь у меня, Евгений Михайлович, нет и пяти процентов сомнения.

Сашок молчал и только переводил недоумевающий взгляд с сидящего Николая Петровича на стоящего Евгения Михайловича и обратно.

— Но здесь же совершенно разные почерки!

— Да нет, Евгений Михайлович, почерки совершенно одинаковые. Они отличаются лишь вторичными признаками: размером, наклоном, напряжением... то есть степенью связанности букв. Эти признаки изменены, их легко изменить. Но индивидуальные особенности начертания букв во всех трех документах... — Николай Петрович запнулся, — ...письмах полностью совпадают.

Евгений Михайлович склонился над столом, опершись ладонями на колени, и впился глазами в прерывистые чернильные строчки. Лицо его горело. Он ничего не понимал — не понимал, зачем он спрашивает и о чем вообще они спорят. На третьем конверте было написано «Ленинград» и нарисована шпильчатая башня адмиралтейства. Ленинград, Калинин, Талдом, семидесятые, восьмидесятые, девяностые годы... Бред сумасшедшего. О чем они говорят?!

— Взгляните: здесь наклон влево, здесь вправо; здесь почерк крупный, здесь средний; здесь связность высокая, соединены по четыре-пять букв, здесь низкая — по две-три... — Голос Николая Петровича как будто обесцветился, посушел. — Но если все это убрать, получится везде один почерк. Конечно, с непривычки это трудно, но у меня профессиональный взгляд... вот смотрите. Здесь один из определяющих признаков — начертание букв «у», «д» и «з», они здесь очень характерны: у всех у них основной... вертикальный штрих — вот видите, на котором нижняя петля? — вогнут внутрь, так что «д» немного напоминает печатное латинское «g». Так вообще редко пишут, и это облегчает задачу...

Евгений Михайлович без единой мысли смотрел. Вогнуто.

— В третьем письме она решила писать букву «д» с хвостиком наверху, как курсивом, но один раз по привычке ошиблась — и вот пожалуйста: вертикальный штрих над петлей изогнут. То же самое, естественно, в «у»...

— Она?.. — туло спросил Евгений Михайлович.

— Ну, я почти уверен, что это писала женщина... Или посмотрите на буквы «к»: во всех трех письмах она почти всегда с большей или меньшей, но срединной петлей. Буква «ф» — верхняя часть везде не из двух половинок, а кружок, перечеркнутый вертикальным штрихом. Или вот, например, полка над «т»: видите, она пишет «т» как «ш» и наверху ставит штрих. А вот в этом письме она стала писать «т» как классическое рукописное «т» и, естественно, без штриха, но вот пару раз забылась — и штрих поставила. О таких мелочах, как однообразная, как бы нерешительная тонкость письма, без ярко выраженных толстых штрихов, я уже не говорю: индивидуальных особенностей начертания букв более чем достаточно...

Евгений Михайлович сел. Он ничего, решительно ничего не понимал, но ему стало страшно... казалось, подкрадывается что-то страшное — как ночью в лесу. Этот человек сумасшедший. Да, вогнуто, да, «к» с петелькой посередине, да, «ф» из кружка... тридцать пять лет в экспертизе... Но бред же, бред! Сто двадцать восемь писем за двадцать пять лет — из Москвы, Ленинграда, Саратова, Севастополя, Киева, Горького, Тулы, Рыбинска... Кто *один* мог их написать? Господь Бог?! Москва, Ленинград, Севастополь, Рыбинск... Рыбинск... Рыбинск...

— Жека! — встрепенулся Сашок. — Да это что-то... это вы что-то, Николай Петрович...

Евгений Михайлович сидел не в силах пошевелиться и не отрываясь смотрел на бледно-розовый зев океанской раковины со свернувшимся в нем одиноким окурком. Сердце тяжело стучало в висках. Наверное, сто восемьдесят на сто. Надо бы принять адельфан. Рыбинск... Рыбинск... Что Рыбинск? Почему не отпускает его этот Рыбинск?.. Ох, остаться бы одному... Он с трудом поднял глаза на Николая Петровича — увидел лишь белоснежные волосы с чуть просвечивающей розовой кожей макушки: Николай Петрович сидел с опущенной головой, — и умоляюще посмотрел на Сашка:

— Сашок... Мне что-то...

Сашок подскочил. Николай Петрович поспешно встал.

— Жека, что ты?! Может быть, «скорую»?..

— Нет-нет, ни в коем случае!.. Ничего не надо. Просто мне... надо подумать. — Он перевел взгляд на Николая Петровича — тот смотрел на него с виноватым, немного испуганным выражением. Евгений Михайлович, мучаясь, улыбнулся. — Вы мне... задали задачку, Николай Петрович. Надо подумать... Вы извините меня...

— Что ты, что ты, все, мы пошли, — торопливо сказал Сашок и пошел к двери.

Евгений Михайлович, плохо слыша, покивал головой. Кажется, Николай Петрович сказал: «Извините, пожалуйста...» — и тоже ушел. Хлопнула дверь. Он дошел до письменного стола и медленно опустился в жесткое кресло. Рыбинск. Рыбинск. Перед глазами тускло мерцала старая бронза, олениха с телятами. Справа неясно голубело окно. Он прикрыл глаза; в мозгу его медленно, рассыпчатыми сатурновыми кольцами, закружились книги, конверты, лица людей, строчки бесчисленных букв, островки городов — с крошечными домами, улицами, реками, парками... Мозг его работал как будто без участия его *я* — разбирал, упорядочивал этот хаос, отбрасывал ненужное, к причине пристраивал следствие, — он чувствовал, что конец уже близок, и с покорностью обреченного шел к концу. Москва, Подмосковье, Ленинград, Киев, Крым, Рыбинск. Главное — Рыбинск, несколько лет назад. Но ведь он иногда отвечал?.. Да, но опускала она. Он не делал в жизни вообще ничего, ни дома, ни вне дома, — только писал. Но... ведь он мог заметить? А она могла придержать. Она вообще могла так не мучиться, ни разу в жизни он не взглянул на штемпель. Но она

слишком любила его, чтобы допустить хоть малейшую возможность разоблачения. Единственное — она не смогла предусмотреть, что Мила так рано умрет, Сашка отправят на пенсию и неприкаянный, одинокий Сашок познакомится с Николаем Петровичем.

Все. Конец.

Страшная тяжесть навалилась и без сопротивления смяла его. Руки сорвались с подлокотников и повисли плетью — он их даже не попытался поднять. Внутри и вокруг была пустота, вся его долгая жизнь, все мириады составляющих его жизни канули в пустоту. Он не чувствовал своего бессильно обмякшего тела, ему казалось, что он не дышит, ничего не видит, не слышит, и только разум его — бесконечно устало, бесчувственно от этой мертвящей усталости — смотрел на проторенную им самим дорогу к познанию, к гибели.

...Письма писала Катя.

Письма писала Катя. Первое, от девушки из Калинина, она написала двадцать пять лет назад, когда он совсем пал духом, — чтобы спасти его. Это было еще плохо обдуманное движение ее сердца, поэтому она не указала обратного адреса: она боялась, что он ответит, письмо вернется — и он заподозрит неладное. Конечно, она боялась не за себя — за него. За два или три месяца, прошедшие до отправления следующего письма, она все обдумала. Обдумала вперед на долгие годы... как оказалось — на всю оставшуюся жизнь. Примерно каждые два месяца она писала ему письмо — превращалась в студентку, в домохозяйку, в учительницу, в ветерана войны, — читала его книги чужими глазами, часто обнаруживая в них недоступную ему самому глубину. Дальше эти письма надо было правдоподобно отправить. Раз в два или три года они ездили к ее сестре в Ленинград — и она опускала письмо в Ленинграде. Почти каждый год они отдыхали в Крыму — так появились письма из Симферополя, Севастополя, Ялты. Раза три они были в Киеве, там жил его двоюродный брат, — наверное, столько же было писем из Киева. Несколько раз она выезжала на свои симпозиумы, конференции; последняя проводилась в пансионате на берегу Рыбинского водохранилища — это ей он обязан восторженным откликом студентки из Рыбинска. Наконец, она очень любила автобусные экскурсии, которые организовывал ее институт, и никогда не настаивала, чтобы ехать вдвоем, — отсюда эти многочисленные Псков, Суздаль, Казань, Запорожье, Тарту... он перечислял города, как будто упиваясь нарастающей мукой. Иногородние письма он, наверное, получал с большим опозданием, потому что ни разу не заметил странного совпадения: чтобы письма приходили из города, откуда они — или она — только что возвратились. Устроить это было нетрудно: вся семейная жизнь была на ее плечах — дочка, покупки, уборка, квартплата, врачи, поездки на отдых, — он ничего не делал, только писал; корреспонденцию из почтового ящика забирала всегда она, когда утром шла на работу, а уж в те дни, когда ожидала письмо, была, наверное, особо внимательна; она могла задержать пришедшие письма на месяц, на два, на полгода, могла подчистить или замазать дату на штемпеле — излишняя предосторожность, потому что на штемпель он никогда не смотрел... Впрочем, писем из других городов было не так уж много, это за четверть века их набралось шестьдесят. Другая половина была из Москвы и Московской области; сколько раз, отписавшись в библиотеку, она брала билет в два конца и ехала за пятьдесят, за сто километров — к загорскому, талдомскому, серпуховскому почтовому ящику?.. Она забирала у него, под предлогом отправки, и уничтожала или прятала (нет, конечно, уничтожала) его письма — ответы читателям; если же случалось, что он посылал их сам, перехватывала на обратном пути, когда они возвращались, не найдя адресата. Он вспомнил, что один раз получил вернувшееся письмо. Это было невероятное совпадение редчайших событий: он сам отправил свое письмо, две недели спустя сам спустился за почтой, Катя в этот день почему-то почту не забрала — и именно в этот день письмо возвратилось.

Он сидел неподвижно и смотрел на выдвинутый ящик бюро с плотно сжатой гармошкой конвертов. Сто двадцать восемь писем. Сто двадцать восемь... и

все — ложь?! Восторг надежды вдруг опалил его душу; он рванулся к бюро, выхватил из ящика первый конверт, вытащил густо исписанный, сложенный вдвое листок... индивидуальные признаки начертания букв: «д», «з» и «у» с прогибами вертикальных штрихов над нижними петлями... победил, спотыкаясь, по частым строчкам: «признательность» — прогиб!.. «поблагодарить» — прогиб!!! — отшвырнул листок, вырвал следующий конверт: «глубокоуважаемый» — прогиб! — третий: «с удовольствием» — прогиб!.. Задыхаясь, трясущимися руками он выхватывал один конверт за другим, вытаскивал письма, впивался в них слезающимися от напряжения глазами: прогиб! прогиб! — три проклятые, ненавистные ему буквы как будто били его по лицу; по вискам стекал пот, боль разламывала затылок, груди не хватало воздуха — плевать!!! Сто двадцать восемь писем! Не может быть! Пальцы его устали разнимать слежавшиеся конверты — он начал их рвать; потом понял, что письма ему не нужны, стал смотреть адреса на конвертах. Он терзал их глазами, он спасал свою жизнь: «Ленинград» — прогиб! «Партизанская» — прогиб! «Дубову» — прогиб!.. Первый ящик закончился, он вырвал второй; рыхлая груда листков и конвертов росла; в ярости он смел ее на пол — письма с плеском и шелестом затопили ковер. «Ул. Дзержинского» — прогиб! «Суздаль» — прогиб! «Рихарда Зорге»... нет прогиба!!!

Он перевел рвущееся дыхание, вытащил из конверта письмо. «Глубокоуважаемый Евгений Михайлович!» Нет прогиба. «С большим удовольствием прочел Вашу книгу». Нет прогиба. «Вопросы, которые Вы поднимаете...» Нет прогибов. Есть письмо. Настоящее. Одно настоящее на полсотни фальшивок. Он глубоко, со стоном вздохнул и пришел в себя. Все ясно. Оставшиеся конверты он просмотрел быстро, но уже успокоившимися руками. Он нашел три настоящих письма. Три из ста двадцати восьми. Три за всю жизнь.

...Он сидел, оцепенев от громадного, никогда раньше не испытанного им горя. Критики оказались правы, его тревожный, изо всех сил заглушаемый внутренний голос был прав: он не писатель, он не художник — он бездарный, никому не нужный пачкун, случайный, чужой, наверное, презираемый за навязчивость человек в этом проклятом, оказавшемся недосыгаемым для него, ненавистном и вождеденном мире искусства. Вся жизнь прожита напрасно — и как напрасно! Тридцать пять лет он мучил себя и других — Катю, дочь, стариков, — мучил своей холодностью, грубостью, эгоизмом, равнодушием к их жизни, судьбе; люди вокруг любили своих жен, детей, может быть, других женщин — щедро, не задумываясь о мертвых философических категориях, отдавали им свои силы, свое тепло, помогали друзьям, бесхитростно радовались добру, боролись в меру сил не со вселенским — с житейским злом, — он же, высокомерно, а на деле трусливо отвернувшись от жизни, бросив на ее произвол родных и друзей, маниакально исписывал никому не нужными, чахлыми, вымученными словами километры бумаги, упивался химерой своего высшего предназначения, оправдывающей его бегство от жизненной, не чернильной, борьбы, жаждал признания для утоления своей порожденной жалкими комплексами гордыни, жаждал учить, наставлять людей, нести им добро — чтобы они, внизу, превозносили его: мудрый! добрый! ты принес нам добро! Когда они молчали, он изнемогал от яда сомнений — сомнений в своем выборе, своем таланте, своем олимпийстве; когда они заговорили своими письмами — он ослеп от восторга, от упоения своей властью над ними, от сознания своей исключительности... Все, все оказалось ложью: люди шли мимо, не зная о нем и не замечая его, книги его стояли у них в шкафах непрочитанными, раньше была мода на книги, или мертво оседали на полках бесчисленных районных библиотек. Никогда и никому он был не нужен. Вся жизнь насмарку! история пустой, бесплодной души. Он вдруг увидел свои лежащие на столе сухие, старые руки. Старик, проигравший жизнь! Боже, какая мука!..

У него не было сил даже на слабый протест — хотя бы шепотом возразить, что он был честен в этой борьбе, борьбе, которую проиграл, что он принес себя в жертву страсти, которая была выше гордыни, выше жажды признания, выше потребности выразить свое я; что он работал как одержимый, изнуряя себя, — но

чами, в гробовой тишине, чтобы остаться с непокорной натурой один на один, надрывая сердце кофе и табаком, готовый отдавать годы будущей жизни за то, чтобы сегодня, сейчас пленить и навсегда запечатлеть на бумаге живую жизнь,— что, несмотря на все дурное, что было в нем, он всегда любил своего Читателя... Не было ни сил, ни желания протестовать, он сдавался бесповоротно и до конца. Что толку? все оказалось впустую. Вдруг ему болезненно-страстно захотелось прочесть хоть что-нибудь из того, на что он потратил жизнь; он понимал, что теперь увидит себя другими глазами, что флер самообмана отдернут, что если даже он все увидит по-старому, то это ничего не изменит, а если по-новому, то будет лишняя мука,— но, как будто с высоты притягиваемый землей, не мог удержаться. С трудом приподнявшись, он перегнулся через заваленный грудой конвертов стол, снял с полки свою первую попавшуюся под руку книгу, раскрыл ее наугад — прочел...

«Одинокая, усталая туча медленно ползла по предзакатному багровому небу, обжигая иссиня-черное вымя о пылающие крыши домов...»

...не закрывая, уронил книгу на стол. Боже, какая фальшь! какое вырядившееся в изысканные одежды уродство... Вымя у тучи! цепляется за крыши домов! И этим испакощены сотни, тысячи страниц его книг, за это он платил и заплатил своей жизнью! Лютая злоба вдруг полыхнула в нем. Катя! Это она во всем виновата! Зачем ты обманула меня? В тридцать шесть лет я еще мог все бросить, начать новую жизнь — спастись! Зачем, надрываясь, я с пустой сумой дотащился до гроба?! Что ты наделала?! Будь ты...

Вдруг он увидел ее лицо, ее лицо четверть века назад,— когда он метался, не находя себе места, измученный борьбой со словами, бессильными выразить жизнь, то подавленный, то взбешенный равнодушием критики, истерзанный страхом, что жизнь уходит, уже ушла по ложно выбранному пути, утративший веру в себя, неспособный работать из-за мучительного раскола в душе,— он вспомнил ее лицо: страдающие глаза, кривящийся в жалкой улыбке рот,— страдала из-за него, улыбалась, чтобы подбодрить его... написала письмо, чтобы спасти его. А какая она была красивая и молодая! Тридцать пять лет она прожила рядом с ним — с его капризами, его раздражением, его невниманием к ней, его беспомощностью и ленью в житейских делах; страшно подумать: она приносила себя в жертву литературе, которая не стоила ничего и была не нужна никому,— и она лучше всех знала об этом! Лучше всех — потому что даже в пренебрегающих им литературных кругах, наверное, знали, что ему пишут письма,— ведь она посылала их в адрес редакций! Конечно, жертву она приносила не рахитичному богу его искусства — в своем омерзительном эгоцентризме ему даже здесь нужно сделать усилие, чтобы ее понять: ей было все равно, пишет он книги или мостит дороги,— просто она, ничего для себя не требуя, прожила всю жизнь ради него. Он же всю жизнь гонялся за призраком, за признанием и вниманием невидимых, незнакомых ему людей; хорошо, пусть он даже бескорыстно стремился делать добро, но он хотел осчастливить безликий, неизвестный ему, бесконечно далекий мир, а рядом, на расстоянии вытянутой руки, страдали живые, близкие ему люди. Даже будь он гений, мир, не заметив, прожил бы без его книг: в жизни людей книги одного чужого, далекого от них человека занимают ничтожное место; для Кати же он был — всё, и он отнял у нее это всё, чтобы по мизерным, бесследно растворившимся каплям раздать непроящим другим. Он ошибся в расчетах, тридцать пять лет жизни ему понадобилось, чтобы понять: одного отнятого счастья не хватит, чтобы осчастливить хотя бы двоих. Он ошибся в выборе цели: пробежал, задыхаясь, многие километры дорог, а цель, радость, счастье — были, вот они рядом.

Кто это сказал: «Слепой, идущий по верной дороге, движется быстрее, чем всадник, скачущий не туда»?..

На него вдруг снизошел странный, никогда прежде не испытанный им покой. На седьмом десятке переживать из-за того, что жизнь не удалась? Это скорее сюжет для одного из его слабых рассказов. Екклезиастом пусть восхищаются молодые, а в его возрасте не надо быть Соломоном, чтобы понять: все

суета. Да и что значит — не удалась? У него есть Катя, Мишутка, Ольга... есть даже три настоящих письма; это главное, что было скрыто во время его тридцатипятилетнего марафона. Да... конечно, шестьдесят один год. Через месяц будет шестьдесят два. Господи, дай мне еще пожить — обретя смысл жизни...

Хлопнула наружная дверь. Щелкнула дверь его кабинета. Катя. Он повернулся.

— Катя,— сказал он — и улыбнулся ласково и спокойно.— Катя, я все знаю.

Она посмотрела на письма, разбросанные по ковру, и в глазах ее задрожали ужас и боль. Ну конечно из-за него,— из-за того, что ему будет больно.

— Катенька, все хорошо,— быстро сказал он, вставая.— Честное слово, клянусь тебе, я нисколько не расстроился, Катя...

Она горько заплакала и, не снимая плаща, с сумкой пошла к нему. Он обнял ее, взял сумку и поцеловал в прижавшуюся к его плечу голову. Седая, совсем седая...

— Как же ты все это написала, Катюша? И какие чудесные письма...

— Но ведь ты действительно замечательно пишешь, Ень,— захлебываясь от слез, прошептала она.— Пиши, пожалуйста, дальше... Правда, мне очень нравится...

На стене розовел перечеркнутый прямоугольник окна. Солнце садилось. Тридцать пять лет... Снова стеснилось сердце.

— Мне так тебя жалко,— прошептал он.

— Отчего же, Енюша,— сказала Катя, вытирая глаза.— Я очень счастливая.



Три рассказа

СОТВОРЕНИЕ ПРАХА

Иван Коротыжин по прозвищу Слива, хозяин книжной лавки на 9-й линии, сидел у окна-витрины, умудренного пыльным чучелом совы, и изучал рисунки скорпиона и баллисты в «Истории» Аммиана Марцеллина. Гравюры были исполнены с необычайной дотошностью — исполать евклидовой геометрии и ньютоновой механике. «Должно быть, немец резал», — решил Коротыжин, копнув пальцем в мясистом носу, действительно похожем на зреющую сливу. За окном прогремел трамвай и сбил Коротыжина с мысли. Он отложил книгу, посмотрел на улицу и понял, что хочет дождя.

Утро было сделано из чего-то скучного. Большинство посетителей без интереса оглядывали прилавки и книжные стеллажи, коротая время до прихода трамвая. Трое купили свежезавезенный двухтомник Гамсуна в несуразном голубом переплете. Мужчина, похожий на истоптанную кальсонную штрипку, после нервного раздумья отложил «Философию общего дела», предпочтя ей том писем Константина Леонтьева. Сухая дама в очках, залитых стрекозиным перламутром, долго копалась в книжном развале на стеллажах, пока не прижала к отсутствующей груди сборник лирики Катулла — «Academia», МСМХХХХ.

Коротыжин достал из-под прилавка электрический чайник и вышел в подсобку к умывальнику. Сегодня он работал один — Нурия Рушановна, счетовод-товаровед, отпросилась утром на празднование татарского сабантуя. Вернувшись в лавку, Коротыжин застал в дверях круглоголового, остриженного ежом парня в лиловом спортивном костюме. Суставы пальцев на руках физкультурника заросли шершавыми мозолями.

— Привет, Слива, — сказал парень.

Коротыжин оглядел посетителя вскользь, без чувства.

— Чай будешь?

Парень обернулся на застекленную дверь — лужи на улице ловили с неба капли и, поймав, победно выбрасывали вверх водяные усики.

— А коньяку нет?

— Коньяку?.. — Коротыжин нашел под прилавком заварник и жестяную кофейную банку, в которой держал чай. — Коньяку нет. Зато чай — настоящий манипури. Последний листочек с утреннего побега... Собирается только вручную — прислал из Чаквы один пламенник...

— Кто прислал? — Парень развязно оплыл на стуле.

— Есть такая порода — пламенники. Это самоназвание, иначе их зовут «призванные». Живут они сотни лет, как библейские патриархи, и способны творить чудеса, как... те, кто способен творить чудеса.

Парень ухмыльнулся и, не спросив разрешения, закурил.

— Я знаком с одним призванным, — сказал Коротыжин. — Он купил у меня «Голубиную книгу» монашеского рукописного письма и запрещенные для христиан «Стоглавом», богоотреченные и еретические книги «Шестокрыл», «Воро-

нограй», «Зодчий» и «Звездочет». — Он рукавом смахнул со столика пыль. — А когда пламенный увидел «Чин медвежьей охоты», то зарыдал и высморкался в шарф. Я дал ему носовой платок, и с этого началась наша дружба. Он кое-что рассказал о себе... — Коротыжин вдруг встал, подошел к двери и вывесил табличку «обед». — Дар обрек его на скитания. Живи он, не сходя с места, при его долголетию в глазах соседей он сделался бы бесом, ведьмаком. Каких земель он только не видал... Но при том, что живет он куда как долго и может творить чудеса, он остался человеком. Я видел, как он смеется над августовским чертополохом, покрытым белым пухом, будто намыленным для бритвы, как кривится, вспоминая грязных татарчат в Крымском ханстве Хаджи-Гирея — они позволяли мухам кормиться у своих глаз и губ. Словом, все-то ему известно: страх, усталость, радость узнавания...

— Слива, ты заливаешь, — сказал парень и осклабился.

— Сносная внутренняя рифма, — отметил Коротыжин. — Первый раз он попал на Русь давно и, должно быть, случайно. А может, и нет — он всегда был любопытен и хотел иметь понятие о всех подлунных странах. Он говорил, что это понятие ему необходимо, дабы провидеть будущее... Вернее, он говорил: вспомнить будущее. Такая сидит в нем вера, что, мол, время мертво и в мертвой его глыбе давно и неизменно отпечатаны не только судьбы царств, но и извилистые человеческие судьбы. А чтобы понять их, следует просто смотреть вокруг и запоминать увиденное... Словом, выходит, будто судьба наша не то чтобы началась, но уже и кончилась. Не такая уж это и новость... — Из-под крышки заварника в лавку потек горький аромат высокосортного манипури. — Он был звонарем в Новгороде, юродом в Москве, воинским холопом при владимирском князе, бортником под Рязанью, лекарем у Димитрия Шемяки, бил морского зверя на Гандвике, ходил на медведя в ярославских лесах, кочевал со скомоухами от Ростова до Пскова — всякого покушал... Он даже уходил в монастырь, в затвор. Но отчего-то пошла среди чернецов молва, будто чуден он не по дару благодати, а дьявольским промыслом. Что-де под действием беса говорит он по-гречески, римски, иудейски и на всех языках мира, о которых никто никогда здесь прежде не слыхал, что бесовской силой чудеса исцеления являет, с бесовского голоса прозорлив и толкует о вещах и людях, ранее никому не ведомых, что освоил все дьявольские хитрости и овладел пагубной мудростью: умеет летать, ходить по водам, изменять свойства воздуха, наводить ветры, сгущать темь, производить гром и дождь, возмущать море, вредить полям и садам, насыпать мор на скот, а на людей — болезни и язвы. Не все, разумеется, но многое из этого он действительно умеет...

Какой покой наступает, когда думаешь, что цвет детства — цвет колодезной воды, вкус детства — вяжущий вкус рябины, запах детства — запах грибов в ивовой корзине. Как делается в душе прозрачно и хорошо. Но об этом почти никогда не думаешь. А говоришь еще реже. Потому что это никого не касается. Все равно что пересказывать сны... А они здесь удивительно раскрашены. Красок этих нет ни в сером небе, ни в бедной природе, ни в реденьком свете чего-то с неба поблескивающего. Но не убогость дня рождает цвет под веками — много в мире убогих юдолей, длящихся и в снах. Не красками, но *мыслями о красках* пропитано это место. Кто-то налил по горло в этот город ярчайшие сны. Я вижу, как идет по тротуару Среднего Нурия Рушановна. Она погружена в обычное свое дурацкое глубокомыслие. Вот достает она из сумки банан, гроздь которых я подарил ей по случаю татарского сабантуя, и неторопливо сама с собой рассуждает, немо шевеля губами, что Антон-де Павлович Чехов, не-дай-бог-пожалуй-чего-доброе, был германо-австрийским шпионом, ведь последними словами, которые произнес он перед смертью, были: «Ихь штербе» — «Я умираю». «Нет, — думает Нурия Рушановна, — фон Книппер-Чеховой не по зубам вербо-

вать классика. Вероятно, Антона Павловича подменили двойником на Сахалине или по пути туда-обратно». Счетовод-товаровед удивляется прыти колбасников и, обходя лужу, словно невзначай роняет на асфальт у дома, где живет герой моего сна, банановую кожурку. Колготки на суховатых икрах Нурии Рушановны забрызганы капельками грязи. А вот дворник Курослепов — циник и полиглот. Он знает три основных европейских языка плюс португальский и латынь. Курослепов уверен, что лучшие слова, какие можно сказать о любви, звучат так: «Фомин пошел на улицу, а Софья Михайловна подошла к окну и стала смотреть на него. Фомин вышел на улицу и стал мочиться. А Софья Михайловна, увидев это, покраснела и сказала счастливо: “Как птичка, как маленький”». Эти слова написаны на обоях его комнаты, над кроватью. Курослепов метет тротуар у дома, где живет герой моего сна, который еще не появился, который появится позже. Метла брызжет в прохожих жидкой грязью. Банановая кожурка не нравится дворнику, он сметает ее за поребрик, едва не налепив на замшевый ботинок спешащего господина. Подметая тротуар, Курослепов, разумеется, думает, что занимается не своим делом. Мысль, весьма чреватая мышью, возвращенная расхожим заблуждением, будто человек выползает в слизи и крови из мамы для какого-то *своего* дела. Нахальство-то какое... Метла и Курослепов исчезают, как кириллические юсы, куда-то за предел сознания, в архетип, в коллективное бессознательное, что ли, — не помню, что за чем. Они сделали *свое* дело. К тротуару мягко подкатывает девятая модель «Жигулей». За рулем сидит некто, при первом взгляде напоминающий колоду для — хрясь! — разделки туш, то есть вещь грубую, но в своем роде важную. Однако если остановить здесь скольжение взгляда хотя бы до счета «восемь», то на «три» колода станет шаловливо надутой предохранительной резинкой, на «пять» — выковырянным из колбасы кусочком жира, а к концу счета — соринкой в глазу, которую и не разглядеть во все, а надо просто смыть. Некто — приятель героя моего сна, который скоро появится. Здесь у них назначена встреча. Они собрались в Апраксин двор покупать патроны для общего — на двоих — пистолета Стечкина. Собственно, цель не важна — пистолета я не увижу, — важна встреча, а причина — почему бы не эта? В той же девятой модели сидит подружка героя моего сна. От бровей до тонированной родинки на подбородке лицо ее нарисовано: губы, словно из Голландии, — тюльпаном, синие ресницы напоминают порхающих речных стрекоз. В среде естественной стрекозы в парники не залетают. Она — наездница, самозабвенная путешественница. Не раз ночами она скакала в такие дали, что, воротясь, искренне удивлялась: в пути, оказывается, она сменила коня. Герой моего сна об этом не знает, он считает себя бессменным скакуном. Его подружка думает так: «Когда я стану старой, когда голова моя будет сорить перхотью, когда живот мой сползет вниз, когда на коже появятся угри и лишние пятна — тогда я, пожалуй, раскаюсь и стану дороже сонма праведников, а пока моя кожа туга, как луковица, и, как луковица, светится, я буду развратничать и читать Эммануэль Арсан». Некто и наездница с нарисованным лицом встретились еще вчера. Но герою моего сна не скажут об этом. Ему соврут, что они встретились... Впрочем, соврать ему не успеют. А вот и герой моего сна. Он выходит из подворотни походкой человека, который ломтик сыра на бутерброде всегда сдвигает к переднему краю. Контур его размыт, подплавлен, словно я смотрю сквозь линзочку и объект не в фокусе. Импрессионизм. Светлые невещественные струйки стекают по контуру к земле, привязывают его к субстанции, словно это такой ходячий памятник. Свет не течет ни вверх, ни в стороны — герой моего сна заземлен. Кажется, моросит. На миг объект заслоняет девица в куртке от Пьеро — из рукавов торчат лишь кончики пальцев, ногти покрыты зеленым лаком. По странному капризу воображения, персонифицированная Атропос представляется вот такой — хамоватой недозрелкой с зелеными ногтями. Герой моего сна подходит к девятой модели «Жигулей» и, глядя на пассажирку, простодушно

поднимает брови. Та в ответ целует разделяющий их воздух. «На-ка, поставь», — говорит некто, протягивая над приспущенным стеклом щетки дворников. Герой моего сна склоняется над капотом. Зеленый ноготок судьбы незримо тянется к нему, не указуя, не маня, а так — потрогать: готов ли? «Поторапливайся, — говорит некто, — а не то умыкну твоего пупса...» — и шутливо газует на сцеплении. Герой моего сна весело пружинит в боевой стойке, как выпущенный из табакерки черт, и тут невзначай наступает на банановую кожанку. Кроссовка преступно скользит, нога взмывает вверх, следом — другая, руки беспомощно загребают воздух, будто он пытается плыть на спине, и герой моего сна с размаху грохается навзничь. Голова с тяжелым треском бьется о гранитный поребрик. Удар очень сильный. На сыром темно-сером граните появляется алая лужица. Пожалуй, в этом есть какая-то варварская красота. Герой моего сна без сознания. Он жив.

— А сам-то? — спросил парень, трудно улыбаясь. — Сам-то веришь в этих... этих...

— Призванных? Разумеется, — сказал Коротыжин. — Ты пьешь чай, который прислал один из них.

— Кто ж их призвал? За каким бесом?

— Кто? — Коротыжин поднес к губам чашку — на глади чая то и дело взвивалась и рассеивалась белесая дымка. — Должно быть, часть той части, что прежде была всем. Как там у тайного советника: «Ихь бин айн тейль дес тейльс, дер анфангс аллес вар». Лукавый язык. На слух — бранится человек, а поди ж ты... Так вот, кто и зачем — это тайна. Знакомый мой пламенник говорил, что таких, как он, — не один десяток и что действует некий закон вытеснения их в особую касту: отличие от окружающих, непонимание и враждебность с их стороны заставляют призванных менять место и образ жизни до тех пор, пока они не сходятся с подобными. — Снаружи неслась водяная кутерьма, брызги от проезжающих машин долетали до стекла витрины и растекались по нему широким гребнем. — Есть у пламенников особое место, как бы штаб или совет, там в специальной комнате на стенах висят портреты, написанные с каждого его собственной кровью. Стоит кому-то открыть тайну, вроде того — кем и зачем призваны, как сразу портрет почернеет. И тогда достаточно выстрелить в портрет или проткнуть его ножом, и пламенник тотчас умрет, где бы он ни находился.

— Розенкрейцера соната... — Парень отпил из чашки и поморщился. — Сахар у тебя есть?

Коротыжин достал из-под прилавка майонезную баночку с сахаром Нурии Рушановны. Сам Коротыжин чай никогда не сластил — он находил, что сахар прогоняет из напитка чудо, которое в нем есть.

— Так вот, — сказал Коротыжин. — Моего пламенника в Московии сильно увлекла медвежья охота. К этому ремеслу он подступил еще в пору бортничества — над крышей колоды подвешивался на веревке здоровенный чурбан, который тем сильнее бил медведя в лоб, чем сильнее тот отпихивал его лапами. Так — разбивая в кровь морду — доводил упрямый зверь себя до изнеможения. Или готовился специальный лабазец — сунет медведь лапу в щель, пощупает соты, а тут — бымс! — захлопнется доска с шипами, и, как зверь ни бейся, погибает дурацкой смертью: разбивает ему ловец задницу палкой, отчего вмиг пропадает медвежья сила... — При известии о медвежьей слабинке парень прыснул в чай. — Я знаю об этом отчасти со слов пламенника, отчасти из книги «Чин медвежьей охоты», которую написал тот же пламенник в бытность свою пестуном у княжичей в Суздале. Разумеется, капканы были баловством — настоящая охота началась тогда, когда мужики ловили зайца и с рогатинами шли к берлогу. У берлоги начинали зайца щипать — медведь заячьего писку не выносит — и тем подымали зверя. Вставал мохнач, разметав валежник, на дыбы, и тут кто посме-

лее, изловчась, чтобы зверь не вышиб и не переломил рогатину, всаживал острие медведю под самую ложечку. Зверь подымал рев на весь лес, а ловец упирал рогатину в первый корень и был таков. Медведь же, чем больше бился и хватался когтями за рогатину, тем глубже загонял острие в свое тело. Оставалось добычу ножами добить и поделить по уговору... Но если упустят ловцы медведя, то нет тогда зверя ужасней на свете — всю зиму он уже не ложится, лютует, ломает людей и скот, выедает коровам вымя...

— И долго?.. — Парень сглотнул, будто вернул в глотку грубоватое для слезистой слово. — Долго твоей призванный небо коптит?

— Вот смотри... — Коротыжин шаркнул к стеллажу и снял с полки пухленький том в шестнадцатую долю листа.

Том был в ветхом кожаном переплете цвета старой мебели, с приклеенным прямо к блоку корешком, настоящими бинтами и желтыми неровными обрезками. Шершавый титульный лист гласил: «Чинъ медвѣжьей охоты». Шрифт был подтянутый, но чуть неровный, словно часть литер прихрамывала на правую ногу. Далее следовало: «Съ Латынскаго на Россійской языкъ переведенъ въ Нижнемъ Новѣгородѣ. Москва. Въ Типографіи у Новикова. 1788». Авторство указано не было.

— Пламенник написал это в пятнадцатом веке на русском, — сказал Коротыжин. — Впоследствии, проживая в Италии, он перевел рукопись на латынь и преподнес Папе Пию II как документ, позволяющий глубже постичь упрямый оплот греческой схизмы. Книга была издана в папской типографии. С нее и сделан обратный перевод на русский, так как оригинал утрачен. — Коротыжин отложил матово-бурый, в потеках, том. — Ну а что с ним было до пятнадцатого века, пламенник рассказывать не любит. Еще я знаю, что он посильно помогал Пискатору в составлении карты Московии...

— А про медведей — всё? — Из пачки проклюнулась вторая сигарета.

— Отчего же... Казалось бы, что ему медведь, — он мог шутя заставить зверя служить себе, лишь начертав в воздухе знак, мог убить его заклятьем, но он хотел испытать над ним не победу своей таинственной силы, а честную победу того, что было в нем человеческим. Завалив с десятков медведей ватагой, пламенник принялся ходить на зверя один на один. Готовился загодя — собирал сколько мог телячьих пузырей и сыромятной кожи, обтягивал ими затылок, шею и плечи, залезал в протопленную печь и сидел там, пока не ссыхались на нем доспехи тяжелой броней. Потом два дня точил широкий обоюдоострый нож, привязывал его крепко-накрепко ремешком к руке, надевал на броню полшубок, подхватывал рогатину и шел к берлоге или на медвежью тропу, где мохнач ревел по зорям. Зверь, чутьем врага узнав, вставал на дыбы и кидался на ловца. Тут впивалась ему в грудь рогатина и сердила до последней меры. Пока медведь свирепствовал, боролся с рогатиной, с корнями вырывал кусты и зашвыривал их в пространство, пламенник укрывался за деревом и караулил удобную минуту. А как подкараулит, заслонит лицо локтем, бросится на зверя и порет ему ножом шкуру от ключицы до клочка хвоста, пока не вывалятся потроха. Страшно, а что делать — отступи только, медведь задерет и высосет мозги. — Коротыжин смочил горло чаем. — Так и действовал всякий матерый медвежатник и так ходил один на один, пока не заваливал тридцатого медведя. А после тридцатого перестает страх бить в сердце, и никакой медведь больше не уйдет и не ломает.

Коротыжин замолчал, щелкнул линзочкой ногтя по чашке и посмотрел за окно, где струи дождя от полноты сил сделались матовыми, непрозрачными.

Мне есть что не любить в жизни — волоски, прилипшие ко дну и стенкам ванны, потные ладони скупердя, бездарное соитие дневного света с охрой электричества, свое лицо, будто сочиненное Арчимбольдо, воздух, от присутствия

известной породы тусклый и излишне плотный. Тем не менее следует признать, что в окружающем пространстве героя моего сна определенно почти не осталось. Он словно бы умалился, стоял, как запотевшее от дыхания пятно на стекле. Называя его героем моего сна, я уже делаю усилие — разглядеть его стоит труда. Разглядываемый — инвалид, клинический дурачок, он живет с семьей своей сестры и совершает странные прогулки, не выходя, скажем, из журчащих удобств. Он спускается под землю, в тайные лабиринты неведомых храмов, блуждает по мерцающим норам, видит черные озера, скрижали с загадочными письменами, уснувших до благодатных времен титанов, горы изумрудов и сторожевых при них котов. А иногда душа его, скрепленная с покинутым телом серебряной ниткой, воспаряет в горние миры и постигает тайное, но прозрения, как визуальный эффект молнии, повествовательно невыразимы. Случается, правда, что фигурки в шафрановых одеждах, те, что притягивают за серебряную нитку душу, словно воздушного змея, обратно, делают свое дело нерадиво, тогда герой моего сна становится саламандрой, огонь манит его, он хозяин огня, его дух. Но сестре не нравится метаморфоза, и она отправляет саламандру пожить в Колонну, в выходящий окнами сразу на две реки дом. В этом доме полы шестнадцатого отделения покрыты кремовым линолеумом, окна зарешечены, а на обед дают галоперидол и жареную рыбу с трудно отстающим от скелета мя... тем, что покрывает рыбы кости. Перед обедом гостям позволено клеить в столовой коробочки под наборы пластилина. Героя моего сна к этой работе не допускают, потому что он без всякой меры пьет крахмальный клейстер. Кстати, вечером в столовой можно смотреть телевизор. Информация не включает в себе облегчения и света — просто что-то же должно быть кстати. Врач, заведующий шестнадцатым отделением, чье лицо мне весьма знакомо, встречался с героем моего сна до того, как тот поскользнулся на банановой кожуре, но оба этого не помнят. Я вижу их встречу так. Весна. Восьмое марта. Пятница, что, впрочем, не важно. Герой моего сна вместе с приятелем, владельцем девятой модели «Жигулей» (он же «некто»), без особого дела едет по Английскому проспекту. На углу Офицерской, у кафе-мороженого, машина, клюнув носом, тормозит перед голосующей рукой. Владелец руки и есть зав. шестнадцатым отделением. Машина медленно, решительно не соответствуя бойкой музычке, что насвистывает в салоне приемник, катит по разухабистой Офицерской. Кругом вздыблены трамвайные рельсы, гнилые обломки шпал, разбросаны невпопад бетонные кольца и прочая канализационная бижутерия. Слово «ремонт» зловеще щетинится во рту, из нейтрального становится едким, как скипидар. Не произнося, его следует выплюнуть. «Это не улица,— говорит некто,— это рак матки, это запущенный триппер». «Таков весь мир,— говорит зав. шестнадцатым отделением, мотаясь на кренящемся сиденье из стороны в сторону.— В общем-то весь мир похож на старый лифт, в котором нагадил спаниель, наблевал сосед Валера и семиклассник с четвертого этажа нацарапал голую бабу, но лифт тем не менее ездит вверх-вниз». Машина наконец сворачивает на Лермонтовский и по мокрому, лоснящемуся асфальту — на вид ему вроде бы следует пахнуть дегтем,— мимо витого, как раковина, шелома синагоги, мимо обескращенных луковок (церковные луковки, в вас поволжский немец разглядел символ луковой русской жизни) церкви Священномученика Исидора Юрьевского, рассекая перламутровую весеннюю дымку, летит к Садовой. «Странно, восьмого марта закрыт музей поэта, написавшего стихи о Прекрасной Даме. Вы не находите это нелепым? — После риторического вопроса следует риторический ответ — зав. шестнадцатым отделением протягивает герою моего сна фотографию.— Вот. Из личного архива. Хотел подарить музею». Фотография наклеена на плотное паспарту, помеченное на обороте овальным штампом: «С.-Петербургъ, «Ненадо», В. О., 6 линия, 28». От руки орешковыми чернилами, почти не выцветшими в здешней сырости, дописано: «1911 годъ». На снимке — павильон фотографического ате-

лье, задник задрапирован тканью, в центре стоит одноногий, в стиле модерн, столик, за которым по одну сторону с выражением удивления на протяжном лице сидит Александр Блок, а по другую, закинув ногу на ногу, выставив из-под брючины вызывающе белый носок, красиво улыбается объективу зав. шестнадцатым отделением. «Вы очень похожи на своего дедушку», — говорит герой моего сна, возвращая снимок. «Здесь каждый похож на себя. — Хозяин карточки обижен, как домочадец, принятый гостем за прислугу. — Мы с Александром Александровичем прошли весь Васильевский остров, прежде чем нашли ателье, которым владел русский, — у немцев и евреев Блок сниматься отказывался». Воздух заполняется сухим электричеством, энергией отчуждения, которая относится к влажному электричеству, энергии карнавального амикошества, как отчество к имени, как веко к глазу — так вроде бы. Кроме того, первое едва-едва потрескивает, а последнее смотрит по сторонам в поисках чего-нибудь голого. Потом приехали, куда ехали, и пассажир вышел. Зав. шестнадцатым отделением не помнит этой встречи, потому что считает, что его голова не мусорный ящик, но вспомнил бы, подвернись случай (потускневшее, словно оно абажур, под которым с потерей ватт сменили лампочку, лицо саламандры таким случаем не явилось). Герой моего сна не помнит эту встречу, потому что при ударе о гранитный поребрик просыпал сквозь прореху в черепе свою предыдущую жизнь. Он как бы вновь родился, но за грехи — тварью страдающей. И так, все вроде бы на месте, все расставлены в надлежащем порядке. Чуть смазывает картину муть естественной избыточности жизни, планктон бытия, зыбь параллельных возможностей и необязательности происходящего, пусть их смазывают — без них куда же? Я вижу героя моего сна сквозь туман его желаний. В ванне воды — по кромку. Градусов сорок. Герой в воде по самый нос, глаза его закрыты, а душа — душа высоко летит, почти слепая от света. Шафрановые человечки сверяются со временем, с чем-то, что его меряет, и решают тянуть нить, решают, что душа героя моего сна нагулялась. Однако нынче они нерадивы — серебряная нитка срывается с какого-то блока и со скрежетом, рывками мотается на ось — не на то, на что следует. Словно рак-отшельник с мягким брюшком, душа без раковины тела пуглива и до обморока впечатлительна, она возвращается потрепанной и не узнает себя: она видит себя саламандрой и требует смены среды. Герой моего сна открывает глаза, слепые, как жидкое мыло, вылезает из ванны, идет на кухню и зажигает на плите все конфорки... Герой моего сна открывает глаза — вода доходит ему до носа, — вылезает из ванны и, как туча, оставляя за собой дождь, идет на кухню, где зажигает на плите все конфорки... Глаза героя моего сна открыты, они похожи на жидкое мыло, он подымает красивое тело из ванны, как туча, оставляя за собой дождь, идет по пустой квартире на кухню, зажигает на плите все конфорки и, ухватившись руками за решетку, бросает лицо в огонь. Кожа лопается раньше, чем затлевают мокрые волосы. Удивительно, но он не кричит.

— Что дуло залепил?

— В Купчине открылся клуб породного собаководства «Диоген», — сказал Коротыжин.

— Ну и что?

Коротыжин прищурился и за шторкой ресниц обнаружил пену, сообщество пустот, прозу, составленную из сюжетов и восклицательных знаков.

— Не скачи, как тушкан, — сказал парень, — досказывай.

Ветхий кожаный том вновь оказался в руках Коротыжина и с тихим хрустом разломился.

— Но самое ценное в этом труде — не руководства по практике медвежьей охоты, не способы добычи чудодейственного медвежьего молока, не рассказы о сожительстве вдовец с мохначами и об оборотнях, у таких вдовец рождающихся, а ряд советов, полезных и ныне, о том, как вести себя при встрече с лесным хозя-

ином.— Коротыжин утвердил палец на нужном месте.— Совет первый: «Притворись мертвым, дабы князь лесной, стервой брезгующий, погнушался тобою, лапою пнув. Оное притворство требует выдержки немалой, но живот твой выручит и от увечий тяжких избавит; гляди только — пластайся, пока сам в чаще не пропал, потому, коли узрит обман, никаким мытом уже не откупится и новым обманом живота не отстояти». Совет второй: «Аще, повстречав зверя сего в лесу березовом или разнодеревном, оборотись окрест и пригляди березу к взлазу годную, на оную березу взлазь и терпи, покуда медведь восвоюсь не отойдет. Березна кора гладкая, в баловном малолетстве медвежатки на те березы лазают и с них крепко падают — науку оную до старости поминают и тебя с березы имати не станут и в соблазн не войдут».— В глазах Коротыжина блеснули светлые лучики.— А это точно про нас... «Аще при встрече с сим зверем, коли будет близ скала или валун великой, то вокруг оной скалы или валуна от зверя кружити следует и в хвост ему выйти. Князь лесной след берет по чутью, на нос, и в недоумии зверином не ведает, как кругом идет, и разумети не может, каково бы оборотиться или встать обождати. Зверь сей силою в лапах и когтях зело богат, да дыхом слаб и сердцем недюжен, посему, в хвосте у медведя идучи, как услышишь одых хрипом, ступай смело, каким путем лучится, потому зверь сердцем сник и погоню сей миг бросит». А дальше...— Книга в руках Коротыжина захлопнулась.— Дальше пламенник делится кое-какими секретами ворожбы и говорит, что при встрече с косолапым кстати может оказаться клубок просмоленной веревки, заговоренный печерским ведьмаком оберег, сухая известь, вываренный крестец летучей мыши, серебряная откупная гривна, печень стерлядки, нетоптаная черная курица и... кажется, все. Но с таким багажом встретить мишку — случай редкий. Так-то вот. В тот раз выходил пламенник из Руси под личиной княжеского посла со свитой из переодетых скоморохов. Путь держал через улус Джучиев и державу Тимуридов — хотел осмотреть судьбу всяких пределов...

— Слушай, Слива,— сказал вдруг парень,— а кто в штабе у этих призванных портреты сторожит? Тот, стало быть, и атаман, раз жизням их хозяин?

Коротыжин на миг задумался.

— Нет,— сказал он,— не атаман. Ему, конечно, от пламенников уважение, но в дела всякого призванного сторож не допущен. Да и портреты заговоренные: если пламенник тайны хранит, а портрет кто-то ножиком тычет, тот сам и очокурится. Сторожу это известно.

Дождь за окном ослаб. Осовелая витрина смотрела на стучащий мимо трамвай.

— Что же, и судьбы читать твой пламенник научился?

— А как же! — сказал Коротыжин.— Дело-то пустяковое — они ведь уже кончились.

— Сам, что ли, пробовал? — Трудная улыбка вновь осела на круглом лице парня.— А скажи-ка мне, Слива...

— Пожалуйста. Смерть твоя, в продолжение жизни, будет дурацкой. Ты поскользнешься на банановой шкурке и пролomiшь череп о поребрик. Из больницы ты выйдешь идиотом и остаток дней поделишь между домом и набережной Пряжки. Твоего лечащего врача будут звать Степан Периклесович — он тоже пламенник. А однажды ты сожжешь лицо на газовой плите и через три дня умрешь в больничной палате, потому что гной из твоих глазниц прорвется в мозг.— Коротыжин плеснул в опустевшую чашку медной заварки.— А когда все это будет, не скажу. Смысла нет — это уже случилось.

Лицо парня плавно отвердело, словно оно было воск и его сняли с огня. За окном матовая занавесь раздернулась, и теперь лишь редкие капли шлепались в лужи со светлеющего неба.

— Хамишь, Слива,— нехорошо сказал парень.— Ну вот что... Школьная задачка — прежде на полтора умножь. Теперь так будет. Шевелись, говорун!

— Помилуй,— спокойно сказал Коротыжин.— Я масспродукта не держу. Наркотиков всяких из целлюлозы и типографской краски...

— Теперь так будет,— повторил парень. Лицо его было твердым, казалось — сейчас посыплется крошкой.— Товар твой — и вправду дрянь. Но раз аренду тянешь, так и за покой плати, а то, гляди, выгорит лавчонка...— Парень оттолкнул свою чашку, та стукнулась о заварник и едва не опрокинулась.— А не по карману — место не занимай. Насосанные люди осядут.

Коротыжин встал, сыро пробурчал под нос: «Тупо сковано — не наточишь...» — и отправился в комнату за подсобкой, где оформлял торговые сделки и хранил в сейфе документы и выручку. Спустя минуту на журнальный столик легли четыре пачки денег. Две — сиреневые, две — розовые. Букеты не пахли. Парень взял деньги, взвесил в руке и, доверяя банковской оплетке, без счета сунул в карман спортивной куртки.

— Спасибо за чай,— сказал он.— Привет пламеннику...

Парень подошел к двери, на улице — влобоборота круглой головы — плюнул в лужу. Зевотно глядя вслед посетителю, Коротыжин снял со стекла табличку «обед», вспомнил про оставленный открытым сейф и направился в глубь лавки.

Дверь в комнату была обита листовым дюралем и снабжена надежным замком. На трех стенах в один ряд висели старые, обрамленные черными багетами портреты, писанные, похоже, кошенилью по желтоватой и плотной хлопковой бумаге. Посреди пустого стола лежала пара спелых, уже чуть крапчатых, как обрезы старых книг, бананов — остаток грозди, купленной утром по случаю татарского сабантуя в подарок Нурии Рушановне.

Прежде чем закрыть сейф, Иван Коротыжин по прозвищу Слива сунул руку в его выстеленную сукном утробу, вытащил из-под флакона штемпельной краски тетрадь в синем бархатном переплете и сделал запись под четырехзначным номером: «Солярный миф Моцарта — Гелиос улыбчивый, свершающий по небу ежедневные прогулки; солярный миф Сальери — потный Сизиф, катящий на купол мира солнце».

ДРУГОЙ ВЕТЕР

Зима не терпит бегущей воды и положительных градусов Цельсия. Еще она не терпит суверенных цветов радуги. Отчего-то эти штуки ей не по душе. Зима ставит человека ближе к батарее, как брагу, а землю обряжает в китайский траур и капитуляцию. Если этого не случилось — стало быть, не зима.

Декабрь вышел — по календарной капле, сквозь щелку в двадцать четыре часа, он весь уж почти перекапал наружу. В городе хлопала не зима с сумерками в половине четвертого и рождественским постом на столе — у природы есть что-то вроде скобок, и город вынесли за них. Был бы снег, сходили б в разведку, а так — запускаешь побродить в эту скверную пору фантазм, да и тот скулит и уступает по принуждению.

Фантазм Гвоздюкова ехал в троллейбусе домой, где его не слишком ждали жена и картофельная запеканка. Да и вправду: зачем он нужен? Гвоздюков смотрел в грязное стекло с собственным призрачным отражением (значит, стемнело, значит, полпятого) и думал о том, что Австро-Венгрия была тонкой и нежной штучкой — пожалуй, там пили не так много пива, как кажется, и кое-что значили педерасты. В чистом виде мысли Гвоздюкова имели неустойчивую структуру, как редкоземельные металлы, которые темнеют на воздухе и кипят в воде. Гвоздюков немного подумал об этом и искупался в жидком конце фразы. «Если присмотреться,— решил он,— вода равнодушна и развратна, по большей части она валяет дурака».

Ехать домой не хотелось. Что там делать, если не слишком ждуть? Когда бы ждали, можно войти и исполнить желание. Это не в смысле, что мусор вынести или не пить до Нового года, а будто Дед Мороз — про шапку-невидимку, дудочку-погудочку или неразменную ассигнацию, ведь ждущий Деда Мороза в него *верит*, а стало быть, доверяет репутации и дает топливо на чудо. Но ведь не ждуть же. То есть не слишком — не так, чтобы сорить чудесами.

Гвоздюков умел верно озвучивать свои грезы, что сродни природе божественного дарования. Приблизительно так: в сердце Птаха возникла мысль об Атуме, а на языке — слово «Атум», Птах произнес имя, и в тот же миг Атум воссуществовал. В голове Гвоздюкова ветер дул в другую сторону: ответ первичнее вопроса, подражание предшествует подлиннику, ложь обгоняет лжеца, партитура существует до живого звучания, преграде все равно, нащупали ее ультразвуком или нет, — она позы не поменяет. Словом, ответы начинаются и выигрывают. А вопросы... Что короче — детство или аршин? Так можно и нарваться.

Гвоздюков сказал: «Тукуруанохул», — и в троллейбусе появился Тукуруанохул, потому что был правильно назван. Народу в салоне было много, но не битком, поэтому новую тварь не заметили, к тому же Гвоздюков собрался выходить, что и сделал вместе с Тукуруанохулом. На улице по-прежнему была зима, и ввиду подвернувшейся компании Гвоздюков пошел в сторону от дома. Попутчик оказался невысок и одет престранно: на нем были вязаные — под лосины — рейтузы, хромовые сапоги, матросский бушлат и велюровый берет с пером, кажется, петушиным. В таком виде можно поджигать мусорные баки, и никто не спросит: зачем? Это снаружи, а глубже, в парном «внутри», он был таким, каким помстился сердцу Гвоздюкова, то есть Тукуруанохулом. Дело было у магазина с кофейным аппаратом, где-то в поясице Литейного, на углу улицы, похожей на растянутый ремень с замковой пряжкой, — она начиналась и кончалась храмом. Если защелкнуть, над головой повиснут шесть куполов и колокольня. Путь к картофельной запеканке лежал через проспект — туда, за мавританский сундук Мурузи, — но, как сказано, Гвоздюков пошел прочь, к Соляному, увлекая за локоть свою нелепую попытку творения словом.

— Послушай, — вздохнул Гвоздюков сыровато, — вот Швеглер, скажем, полагал, что мифы эллинов — плод народной фантазии, в то время как латинские предания сочинены римскими интеллектуалами, чтобы красиво, по-гречески, объяснить свои невнятные учреждения и обряды. Послушай, не понимаю... Ты извини — об эту пору так трудно совладать с насморком и сплином, что поневоле становишься рассеян, как рваная подушка. Ах да! Книги меня ничему не научили, люди тоже. Не понимаю... Если одни небывлицы сочиняет народ, а другие — яйцеголовые, то кто придумал тяжбу Гора и Сета за наследие Осириса? Ты помнишь: там Сет хочет бесстыдно овладеть Гором, но сам попадает впросак. И те же ли это, что сказали: «Мертвого имя назвать — все равно что вернуть его к жизни»?

— Видишь ли, — сказал Тукуруанохул, петушиное перо на берете мелко вздрагивало в такт его узким шагам, — существуют разные формы непонимания. Которых у нас пока что две. Первое непонимание похоже на время, исчисляемое зевотой, время, утомленное своим присутствием, время, мстящее бессонницей, — и слава Богу, и кушайте сами. Извини, что все. Второе непонимание — манящее, милая отравка: табак, кошка, массандровское, сам знаешь какая женщина, словом: такая теплая ночь у озера — без кровососущих, разумеется. Все остальное — прописи.

— Предыдущее — тоже прописи, — сказал Гвоздюков и своеобразно плюнул.

Свернули на Моховую. Не доходя Учебного театра, зашли в дверь под эркером — в зальчике размером с песочницу наливали бельгийскую водку и мол-

давский бренди. Присутствовали портвейн, бутерброды с сыром, два посетителя и бесплатная вода в графине. Очереди не было, и веселый хозяин крепил над стойкой рукописный плакат: «Поздравляем христиан с Рождеством Христовым. Иудеям и магометанам выражаем сочувствие». Из стен на уровне груди, словно бы сами собой, как чаги, вылуплялись узкие карнизы столиков. Гвоздюков держал в руке стакан с добротным молдавским пойлом, и глаза его плыли далеко — туда, откуда их не украсть.

— Не понимаю,— сказал Гвоздюков,— но чувствую. Стало зябко без Империи на свете, как с дырой в валенке... Ведь если Бог создал мир, а дьявол — время, если ад — это хаос и невозможность тормознуть его соития и распады, если Империя — это стоп-кран и область отсутствия перемен, то она, выходит, что-то вроде пилюли от этой гадости: движение замерло, а после, глядишь, можно в иную сторону двинуть... Ведь ад застывший — уже не ад, в нем невозможно сделать хуже.

— Эх, непутевый,— откликнулся Тукурунохул,— наше ли это дело? Что толку в познании, если оно бесконечно? Зачем идти куда-то, когда кругом заснеженное поле? Всякая кошка знает, где ее мышка... А нам всего-то следует усвоить: лишь малое имеет продолжение, великому отказано и в этом.

Желтый бренди греет кровь даже у призрака: холодную кровь, которой нет. Пойло само становится кровью и помогает быть всему, внутри чего должна течь. Гвоздюков поднял голову и увидел, что небо темно и на нем не цветут острые звезды. Он был на улице. Он обрастал телом. Справа и слева стояли дома, и их время тянулось быстро, как у взрослых. «Когда время разгоняется,— подумал Гвоздюков законченно,— праздников становится много — они спешат, теснятся и наступают на пятки». В домах светились окна, но не вызывали любопытства: жизнь у всех одинаковая, капризничают детали.

Что можно услышать на улице, вечером, в истекшем декабре? Все то же: звуки и запахи. Шелест шин в сыром твороге талого снега, всхлипы шагов, запах мокрого ветра и случайных прядей табачного дыма, лай пса из подворотни, невнятную воркотню разговоров, парфюмерию встречной кокотки, трамвайный звонок с Литейного, потрескивание фонарной лампы, выхлопной фантом автобуса, грохот двери в подъезде и, может быть, колокол. Вот что странно: все это редко фальшивит. Возможно потому, что это и есть та самая «правда жизни», которой в *собственно жизни* нет — она заводится/не заводится только в ее имитации.

На углу Моховой и Пантелеймонской блондинка с морковными губами торговала новогодней пиротехникой.

— Сударыня,— спросил Тукурунохул,— какая буква алфавита кажется вам самой эротичной? — и застыл, волнуясь и предвкушая.

Блондинка посмотрела на прохожего, как на рюмку, которая, пожалуй, лишняя.

— Эн, разумеется.

— Конечно,— продолжил движение Тукурунохул,— веселье, это когда под стулом взрывается хлопушка и на брюки падает салат, а самая манящая буква — «нет», «не дам»...

В городе есть окна, куда войдет слон, и такие, будто для кошки. Последние иногда на брандмауэрах — как норки береговушек. При равном прочем на Гагаринской было больше лая — по левую руку, в садике за оградой гуляли домашние звери. Между садиком и Пантелеймонской, в нише открытого двора, зажатый с боков двумя доходными глыбами, дремал екатерининский особняк с охристым фасадом и белыми колоннами под фризом. Классицизм. Гвоздюков во двор не свернул — ему было слегка обидно за восемнадцатый век, от него оста-

лось немного фарфора, редкие дома и буква «ё», которую держат за падчерицу. Ну, и этот город — он, конечно, выручал.

Интересно, как это происходит, что время меняется? Вот показался миг, вот он вылез наполовину, и уж нет его — куда он делся? Вот время ползет, вздувая и перекатывая мышечный бугорок под кожей, как гусеница бражника, вот пластается на луже прелым листом. Когда оно лист, куда оно деваает свои начальные ужимки?

— Что-то стало с зимой, — отметил Тукуранохул задумчиво, — растаяла ее ледяная яранга.

Гвоздюков оглядел его, точно вырезал из плоского пространства.

Кафе на Гагаринской светилось желтым, внутри пахло ванилью и, разумеется, кофе. Водка была русской, какую только и может быть, остальная — что-то вроде аристотелевского *подражания*, так кажется, если не ошибся арабский переписчик. Светлые деревянные столы и лавки с отчетливой сучковатой фактурой корректно поблескивали (лак) — не то чтобы уютно, но лучше, чем пластик. Материал хочет быть привычным, материал хочет, чтобы ему доверяли. Иначе он нервничает — боится, что станут портить. Подспудное состояние предметов бросается в глаза: ограда Летнего знает себе цену, и сарай, и Псковский кремль тоже, это хорошая цена, а вот телефонная будка и лифт трепещут. Отчего-то не по себе газонам. Цивилизация желает быть адекватной себе, суетливый прогресс достает ее: в самом деле — поставь фанерный киоск в Микенах, что, не поковыряют?

На столе перед Гвоздюковым поместился гладкий стакан с водкой до ободка, чашка кофе и полосатый цилиндрок-леденец в шуршащем целлофане. Тонкое стекло стакана спесиво гордилось посверкивающей на боку каплей, чашка задумалась, а леденец был что надо — растянулся на пядь. Гвоздюков смотрел во все глаза, и мир в его глазах менял пропорции: стол и то, что на нем, царствовали — все остальное умещалось под ногтем, даже ветер.

— Эй, ты не пьян ли? — спросил Тукуранохул, расколдовывая.

— Вот что я знаю. — Гвоздюков опрятно потер ладони. — Конец света живет не снаружи, а внутри всякой твари. Это усталость, потеря воли быть, это когда Бог больше не дышит в свою игрушку. Человек откушал яблоко, и ему стало скверно. С тех пор ему всегда скверно — он уравнился с братиками меньшими, что время от времени стадами сигают умирать на берег. Терпение — это и есть *то дыхание*, а когда оно уходит... Знаешь, не хочется, чтобы жизнь стала похожа на телевизор, который похож на сон. Дурной сон. Сон без молитвы.

— Сон — не сон, — сказал Тукуранохул, — а мне вот хочется просыпаться и не ощущать разницы. Нам пустяка для этого всего и не хватает: помолчать, сосчитать в уме хотя бы до шести с половиной и осознать стиль как предпоследнюю истину. В широком то есть смысле.

— А что же поглавнее?

— Не знаю. Всегда что-нибудь найдется.

Приблизительно справа шуршали машины, под ногами черной сковородой с остатками постного масла лоснился асфальт тротуара, впереди, в академической перспективе, неонем (аргоном?) мебельного светилась запотевшая Пантелеймонская. Гвоздюков шел по тротуару и чувствовал свои ноги. В блаженной бессмыслице Гвоздюков выкладывал город плотными петлями — он цель не обретал, он удалялся, и это определено было развитие. В ладонь ему уже падал немой миг абсолютного величия, засевшего в щелке между вопросом: «Пенсне — не атрибут ли покаянья?» — и ответом: «Это ж какая нагрузка гнетет лопат-

ку турбины, когда с затвора пускают воду!» — величия, тождественного совершенному знанию, еще не разбежавшемуся подобно паучатам из кокона в разножопицу наук, религий, любомудрия и искусства, величия, непостижимо вместившего связь бессвязных предметов. Словом, наитие падало. Гвоздюков сжал ладонь, посмотрел на трепетное перо Тукуруанохула и сообщил счастливо:

— Ну, вот и все. Пожалуй, *sapienti sat**.

— Это, стало быть, хватит? — удивился Тукуруанохул. — Но я еще не рассказал, как принято в домашней обстановке выращивать мандрагору. Казалось бы, пустяк, однако есть и тут свои секреты. Вот слушай: в цветочной кадке с чернотомом, песком, толченым кирпичом и летней пылью с проселка хоронят семя висельника. Поливать следует скупо, но ежедневно — капустным соком, росой с подвальных труб и слезами некрещеного младенца, а если хочешь девочку, тогда необходимо добавить ночную женскую слюну, но так, совсем немного. Держать зимой, конечно, приходится у батареи, а с мая можно ставить на окно, под солнце, хотя необязательно. Питомец неприхотлив, поэтому до поры о нем не то что забывают, но по часам кроить день не приходится, как было бы со спаниелем или хомячками. Можно по-прежнему, не сверяясь с циферблатом, отправляться в кино, кропотливо выпиливать лобзиком, крошить уткам бублик, клеить из спичек корабли, выкладывать черные кирпичики домино, ходить по грибы или на язя, ватагой брать снежную крепость, жечь рыхлую шерстку тополиного пуха и тому подобное, сообразно пристрастию. Когда же — месяца через четыре — появятся на свет первые зеленые прядки, почву нужно подкормить творогом и полить спитым чаем. Если прежде в доме не подкопилось ползунков и распашонок, еще осталось время для белошвейных дел — лишь через три примерно лунные фазы приступают с деревянной лопаткой к извлечению мандрагоры из кадки. Порою при расставании с землей малыш кричит, и кажется, что просит жертву, но это морок, предрассудки — младенец робок и не кровожаден. Его легко напугать неловким жестом или резким звуком — тогда он тает в воздухе, как завиток дыма, и никогда уже не возвращается на место своего детского ужаса. Чтобы этого не случилось, обычно сморщенное существо греют в ладонях, где оно сопит и трогательно вздыхает, а после расчесывают гребешком волосики. Вот, собственно, и все. Осталось малыша выкупать, обтереть вафельным полотенцем, дать ему на блюдечке молока, пожаловать родовой герб, флаг и гимн и лишь затем отворить ему уста и вложить разнообразные речения.

На Пантелеймонской, у заведения с цепким названием «Лоза», Гвоздюков вспомнил, что он еще есть. Ну есть — и все тут. Следом он вспомнил, что заходить внутрь ему не стоит, так как сей миг только он вышел наружу. «Лоза» отпустила его. Крадучись он отошел от витрины и, опершись на желтую, охлаждающую из-под краски металлом ограду тротуара, посмотрел на картонно кренящийся дома. Что-то было в городе от бабочки, взлетающей в немислимо замедленном рапиде.

За оградой попыхивали выхлопные трубы. Лица прохожих казались стыдливовыми. Вяло артикулируя и невнятно слогоразделяя речь — целая канитель, — Гвоздюков сказал своему наперснику:

— Знаешь, я домой пойду.

Того, казалось, он и ждал. С шипением, разбрызгивая за собой бело-зеленые искры, Тукуруанохул взлетел над Пантелеймонской и ослепительной шутихой по тугой траектории, как огненная собака, погнавшаяся за хвостом, унесся в черное небо. Осветились на миг мертвенным сиянием нависшие стены, лепные драконы, тяжелая рельефная надпись «Основано в 1893 г.», крашенная штука-

* Для понимающего достаточно (*лат.*).

турка, на которой влага вздула разнообразной формы пузыри, и все пропало. Как не было.

Гвоздюков стоял у дверей своей квартиры и искал в карманах ключи. Щелкнул сухо галльский замок. Из комнаты в коридор вышла жена с черной пешкой в руке.

— Я шахматы расставила, — сказала беспечно. — Сыграем в поддавки?

Гвоздюков протянул ей полосатый леденец.

— Вот тебе, заяц, палочка-выручалочка. Только черта с два она заработает!

О ПРИРОДЕ СООТВЕТСТВИЙ

Деревья тоже могут сказать свое «ку-ку». Листья — языки их. Осень рвет с ветвистых глоток языки, лишает деревья речи — чтобы они не разболтали, куда она уходит. Потом осень скрывается в тайничке — под мычание.

Какое видение еще возникнет зыбко в черном зеркале мозга, когда поставлены перед ним Федор Чистяков и то, что до его ареста лукаво называлось «Ноль»? Что явит призрачное отражение призрачного предмета? Ведь ноль, шут гороховый, и есть, и в то же время нет его. Пожалуй, *тот* «Ноль» похож на мимолетное признание в пристрастии к разнополой любви, которое в контексте современной жизни чревато недоумением — права сексуального большинства в культурном пространстве нынче со всей очевидностью ущемлены. Работает механизм, схожий с механизмом гражданской самообороны малого народа: стоит простак, невинно очарованному и преданному географии, снять шляпу при имени Рублёва — Вагнера — Фердинанда Арагонского, как он незамедлительно будет если и не уличен, то бдительно заподозрен в юдофобии. Словом, возникает тревожный образ героического безрассудства: отказ ходить к зубному врачу в несусветную рань, когда явь еще неотличима от ночного кошмара.

Чистяков живет у меня, как живут Платонов, Борхес, Моррисон, БГ, Коровин и другие приятные и странные вещи. Иные (многие) здесь умерли, как часто умирал в подобных местах и я, как все мы еще неоднократно умрем до и после медицинского освидетельствования. Можно считать это речевой уловкой, невинной подменой тускло мерцающих представлений. Итак, Чистяков живет у меня, хотя в нем, как в пожаре, нет ничего домашнего. Он красив — в том смысле, в каком красота свободна от декоративности. Он пьет вино и говорит на языке, в котором «рабочий» означает «вставай», «раз, два, три» — «деньги», а «брайануино» — всего-то «привет». Он поставил над собой конвой из муштрованных инструментов и грезит Луной, но все равно в нем остается столько жизни, что порой это выглядит неприличным — слишком физиологичны его жесты, как пот, как слюна, что ли... Он платит ненужную дань «Этим русским рок-роллом» и «Говнороком» (в своем доме я освободил его от столь грустной повинности) — тягостными описаниями способа описания сердцебиения, — какое фиговое братство требует от него признаний в верности рок-н-роллу?

События текста не будет. Со-бытия с чем?

Общеизвестно: Петербург — это не пятьсот квадратных километров построек и не пять миллионов жителей. Петербург — это особняк в три-четыре этажа, с парадным, где в мороз и сырость трещат в камине дрова и где уместны зеркала и гравированные стекла, потому что помогают друг другу оставаться. Петербург — это хрустальный шар, в котором не меняется ничего, кроме оттенков холодного внутреннего свечения. Пожалуй, это еще и вода, много открытой воды — больше, чем чугуна и гранита. Внутри такого Петербурга дороги нет, он уже все в себя вместил — все, что ему нужно.

«Ноль» — это наступление окраин. Атака доходного дома в те же четыре этажа, если не считать пяти остальных. Окраина светит не хрусталем, а докрасна раскаленной спиралью рефлектора, она сравнивает спиц Петропавловки с зубочисткой, уловившей в дупле двора-колодца волокна пищи, она хочет через состязание слиться с холодной сферой и если не войти, то опоясать ее собою, как императорскую державу, покатиться с ней по временам года, которые здесь невняты, с ничего, в общем-то, не значащим кличем: «Ратуй!»

Федору Чистякову нет дела до мнений о нем. Собственно, мнению о Федоре Чистякове тоже нет до него дела. Он «инвалид нулевой группы», он сидит на скамейке, ест из бумажного фунтика черешню и считает дребезжащие трамваи, которые неторопливо и слегка развязно едут умирать. Черешневыми косточками Федя пуляет в брусчатку площади Труда.

Все, что отражается в поясах катящейся державы, насмешливо деформировано, безумно и пугает: «Батюшки! Соловей-то как страшно поет. Цветы-то цветут как жутко...» — но где-то рядом почти ощутим, почти виден, почти сияет из-за скобок покатый хрустальный бок. Хрусталь — это память о смысле. Она здесь, за оплеткой, она рядом. Да, все наши деяния лишены смысла, и поэтому единственное ожидание — ожидание красоты, которая тоже лишена смысла. Но красоту можно любить, а любовь — хитрая бестия, она позволяет находить нам смысл в том, что мы делаем, хотя в действительности ничего подобного там нет. Можно выразить это иным журчанием: танец жизни объемлет смысл труда (или до смешного упорный труд смысла), объемлет не знанием, но машинальным включением, просто записью, что ли: смысл есть фигура танца, он вписан в то или иное коленце, а сам танец смысла откровенно и безо всякого лексического тумана лишен.

События текста не будет. Будет со-бытие. Обретаясь, критическая масса слова породит странную среду, тонкую атмосферу для интеллектуального медитирования, — все в ней знакомо и все неуловимо, погружение в нее требует безотчетного поиска выразимого образа; результат — всего лишь лестная иллюзия заворачивания в коре новой складочки. И все. Текст невозможно с приятностью усвоить в привычной технике читательского потребления, он дымоподобен, он невеществен, как откровение бокового зрения. Есть лабиринт и есть герой. Ну а с нитью Ариадны все в порядке — ее-то как раз нет.

Тягать из фунтика черешню и обстреливать косточками мостовую — дело бессмысленное, но, безусловно, красивое; к тому же далеко не простое: чтобы заниматься этим самозабвенно, следует сперва, по наблюдению современника, сдвинуть бутылки, которыми уставлен стол и вообще все вокруг. А как это сделать, если ты «родился и вырос на улице Ленина», на тебя неуважительно дует ветер, тебя не слушает крепкий дождик и вся твоя жизнь застроена пустырями?

Если приглядеться, окраины наступают словно бы боком, по-крабьи — армией сине-черных иероглифов. Окраины не следует путать с предметями: они — поля книги, и если они наступают, то потому, что набухли содержанием, которому на маргиналиях тесно; предместья же бездарно и мстительно бунтуют. Поля как область существования обещают предельную свободу и отсутствие обязательств вплоть до возможности вообще не быть. Но главное — они манят сходством с пробуждением. Сон разума, как отмечал Деррида, — это вовсе не почивающий разум, но сон в форме бдения сознания. Разум усердно блюдет то дрему, то некий глубокий сон, в котором решительно отчего-то заинтересован. При таком условии смех — в каком-то смысле пробуждение. Конечно, если хорошо знаешь и понимаешь, над чем смеешься. Привычные слова, довольно приблизительно, как нетвердая валюта, определяющие меру вещей: пробуждение, предательство, отстранение — всего лишь взрыв смеха, звучащий сухо, шуршание осыпающегося песка (сделан шаг), забытый скрип снега (Зулис: «...сейчас природа, как проститутка,— мокрая, теплая, капризная»). Но разум пробужда-

ется лишь затем, чтобы сменить сон; бдение сознания есть череда иллюзий, шеренга заблуждений, выстроенных в затылок. Получается такой паркет, где смех — щелка стыка. Щелки лишь на вид пыльные — там свой быт, культура, любовь, эстетика, и не грязь это вовсе: по полям выются мелким бесом строчки. А основной закон судьбы для всех и везде один: свою пулю не слышишь.

Вольницей маргиналий Чистяков с избыточным расчетом воспользовался, дабы продублировать обретенную свободу, — декларация сумасшествия (хотя бы и без последующей демонстрации) дает преимущества даже в кругу равных, освобождая от всякой ответственности за смену мнений и примечательную непоследовательность отрицаний. «Ноль» отчего-то ценит эту привилегию и с неуместным педантизмом поставил себе за правило на каждой кассете или диске безыскусно, с легким занудством, в лоб напоминать: «Мы все сошли с ума». Сочтем это издержкой стремления к предельной анархии жизни (у себя дома я освободил Чистякова также и от этого обременительного обязательства), ведь очевидно: достаточно услышать «Имя» или «Мухи» — и надобность в откровении «90°» становится определенно сомнительной. Чистосердечное признание как жанр имеет свою конституцию и уйму частных законов в придачу.

Я преодолел искушение говорить о традиции русской смеховой культуры, скоморошестве, кромешном мире, юродстве и Федоре Чистякове как олицетворении отрадной преемственности. Это академическая тема, которая, спусти ее со своры, сначала цапнет Петра Мамонова, и неизвестно, долго ли будет изучать в Москве углы. Обойдемся без расточительной петли, вполне достаточно заметить, что первым публичным музеем в России стал музей заспиртованных уродцев. Замечание это прячет в себе странную проблему — ничего, пусть томится до финала.

Бывает, найдет морок, и кажется, что если вещи схожи чем-то внешне, то и во всем остальном — вернее, в самом главном — они тоже устроены одинаково. Однажды случайно я положил только что купленную книгу на стиральную машину и вдруг заметил, что ее обложка по цвету почти сливается с алюминиевой крышкой механизма. Мгновенное озарение высветило суть столь определенно и с такою немой убедительностью, что я по сию пору не читал эту книгу, пребывая в уверенности — функция и той, и другой вещи состоит в манипуляции с грязным бельем.

Так вот, Федор Чистяков неуловимо напоминает площадь Труда. По крайней мере она ему к лицу. Не то... Это такой портрет (странный ракурс — с крыши, что ли): справа — величавая эклектика Штакеншнейдера, слева — подкупающе вульгарный, как разбитое «Яблочко», Матросский клуб, впереди, за каналом, — неумолимый и недостижимый мясной кирпич Новой Голландии, в затылок упирается зелень Конногвардейского бульвара, а посередине жестко, с медными тарелочками, стучат и стучат трамваи. Чему служит это беспечно организованное пространство? Ничему. На него счастливо снизошел божественный дар прозябания — призрачного, но единственно достойного занятия, — площадь прозябает, словно полуденная крапивница на деревенском заборе, складывая и расправляя свою мозаику с частотой смены сезонов. Федор Чистяков похож на этот портрет; он и площадь Труда устроены одинаково.

Примечательны некоторые разговоры живущих у меня вещей.

— Это что за свинец? — спрашивает Чистяков и кивает на динамик, из которого со скрежетом выпорхнули «Swans».

— Это «Лебеди», — говорит Боря Беркович.

— А что они так хреново летят? — удивляется Чистяков. — Мусорные какие-то лебеди — вот-вот шмякнутся.

— Просто они через помойку летят, через свалку, через горы хлама и разного говенного дерьма. Не где-то высоко, что и не видно, а прямо сквозь хлам, и крылья им пружины царапают, и вонючая масляная дрянь из консервных ба-

нок на них льется, и зола им в глаза бьет, но это все равно лебеди. Они белые-белые, и летят они резко.

— А это?.. Это как объяснишь? — Чистяков меняет кассету: звучит Петя Дорошенко и его ансамбль «Росчерк». — Отлично: «Ты в моей жизни случайность. Что же сердце бьется так отчаянно? Я тюльпан на стрелку положу и ухожу. А-ха-ха!»

— Что ж тут непонятно? — в свою очередь, удивляется Беркович. — Ждет он бабу. Баба — так себе. А он все равно нервничает и прикалывается к себе — отсюда такой слог. Стоит, стоит, а ее и в шесть десять нет, и в шесть пятнадцать нет. Что он, тюльпан жене понесет? Это же цинизм. Он его на стрелку кладет и сам себе так — а-ха-ха! Хотя на самом деле отчасти грустно.

Или вот еще:

— Почему мотылек визжит? — спрашивает Чистяков, сдувая мехи баяна. — С чего ему визжать?

— Так уж вышло, так отчего-то случилось, — говорит Андрей Левкин. — Это после я прочитал у Кастанеды, что какая-то сила — не сила является в образе бабочки и что узнают о ее появлении по крику. А потом, не так уж и громко эта тварь кричит. Моррисон тоже о бабочке пел — не помню точно. Он, значит, поет о бабочке, а следом гитара тихо так делает: блюм-блюм...

— Что же мотылек кричит-то?

— Он кричит: аааааа!..

— Понятно — букву боли.

Или вот:

— А дело все в том, — теребя густой ус, говорит Женя Звягин, — что Сергеева вовсе не было. Не было его ни в абсолютном, ни в относительном смысле, ни фигурально выражаясь, ни буквально привирая — никак.

— Капитан, я тебя предупредил, — мрачнеет Федор Чистяков.

— О чем ты меня предупредил?

— Сам знаешь о чем.

— О чем?

— Я тебя последний раз предупредил.

Впрочем, как установлено индивидуальным опытом каждого, идущего путем, ну, скажем, зерна: совершенно не важно, *что* говорится, важно — *кто* говорит. Вопрос: как стать тем, чьи слова важны? — неинтересен, это пустое. Ведь в итоге (отсюда итог кажется конечным, что неверно) проблема имеет решение лишь в том случае, если будет принято условие о сокровенном знании, то есть будет признан факт существования эзотерического плана бытия. Но это случится не завтра. Ложи Фуле (THULE) больше нет, а вскоре погиб и первообраз (разумеется, Глауэр-Зеботтендорф, основатель Общества Фуле, в свое время посетивший Египет и серьезно увлекшийся оккультизмом и тайным знанием древних теократий, имел в виду мистериальный культ, а не открытую некогда Пифеем ледяную землю Ультима Туле) — озеро Насар, победно разлившееся за Асуанской плотинной (мой отец, русский инженер, следил за монтажом турбин на этой плотине), поглотило остров Филэ — место древних мистерий. Храмовые постройки распилили на компактные блоки и перевезли в сухое место. Форма соблюдена, однако намоленная икона и новодел — не одно и то же.

Того Феди Чистякова, который сидит на скамейке у площади Труда, рассеянно ест черешню и выстреливает перепачканными соком пальцами косточки на черную брусчатку, в действительной жизни, должно быть, не существует. Это отражение задействованных регистров его баяна, прочих щипковых, клавишных и ударных, его голоса и собственно того, о чем он рассказывает. А вот липы на Конногвардейском бульваре настоящие, и столетние тополя на берегу Новой Голландии настоящие, и они лопочут зелеными языками свое «ку-ку».

Определенное пристрастие к очевидному — совсем не обременительное — советует отметить закономерность: предмет, помещенный перед зеркалом, неизбежно так или иначе, в зависимости от кривизны зеркала, освещения, ясности амальгамы и прочих условий, в нем отразится. Феномен этот в реальном мире явлений многократно и в удивительных (если отстраниться от привычки) формах размножен. Чаще всего приходится иметь дело с плоским зеркалом, дающим минимум искажений, но нельзя забывать и о неисчислимом многообразии насмешливых зеркал. Так, скажем, отражением изощренного преступника оказывается искушенный сыщик, Тасман через триста лет обернулся трупом сумчатого волка, а море становится то иероглифом ММММ, то сочетанием букв la mer, то просто берлинской лазурью. Ко всему между предметом и отражением, несомненно, существует строгая обратная связь: кажется, кто-то уже отмечал, что будь известен способ наведения в зеркале отражения пачки ассигнаций в отсутствие оной, то по самой природе соответствий пачка ассигнаций должна была бы тут же перед зеркалом возникнуть. Подтверждение этого невыявленного закона можно найти в многочисленных письменных источниках — стоит сыщику, отвлекшись от трудов, отправиться в тишайший пансионат или в познавательное путешествие на пароходе, как там неизбежно совершается преступление. Выходит, если в зеркале мозга в отсутствие Чистякова и его музыки возникает Чистяков с фунтиком черешни, то в предметном мире тоже что-то появляется. Тут можно подумать и о музее заспиртованных уродцев... Впрочем, оставим этот ларчик закрытым.



Гражданин мира

ИСПОВЕДЬ ПАТРИОТА

«**П**роходи, гражданин...» — именно так, почему-то обращаясь ко мне на «ты», приветствовал меня на родной шереметьевской земле офицер российской таможни...

И я прошел. Я, гражданин мира.

Всемирная отзывчивость

Странное чувство испытываешь, впервые вернувшись домой из-за границы. Оказывается, более странное, чем когда впервые очутился «за».

Заграница мне снилась ночами. Не то чтобы она была прекрасна... Но восхитительным было ощущение телесной и душевной свободы, когда, прижимаясь щекой к подушке, словно к сказочному ковру-самолету, я разгуливал во сне по Парижу и никто вокруг не догадывался, что я не свой, а иностранец. Высшим кайфом было степенно объяснять пожилым туристам в шортах и с выпученными глазами, как им, бедолагам, добраться туда-то и туда-то... «Parlez-vous français? Bien... Do you speak English? Oh, great! It's not so far... Look!» Бог знает, какой еще бред я нес на своем чудовищном английском, что не смогли исправить ни десять лет волгоградской спецшколы, ни три года саратовского иныза, ни пять лет добросовестных московских бдений в аудиозале иностранной библиотеки... Черного кобеля, как известно... Однажды я все-таки плюнул, забросил к чертям свои тетрадки и утешился мыслью, что где-то глубоко в подсознании у меня есть «база». Сочувствующие тоже успокаивали: не волнуйся, ведь у тебя «база». Когда надо — заговоришь!

И я заговорил... Во сне. В Париже. С немцами. По-английски. Как им найти «La Tour Eiffel» (название я произносил на французском языке, который тоже зачем-то терзал в Литинституте). «La Tour Eiffel» маячила прямо перед глазами, словно наглядный экспонат. Немцы этого как бы не замечали. Они благодарили... Завязывалось знакомство, из которого выяснялось — ах, Боже мой! oh, mein Gott! — что никакой я не француз. «Из России?! Зачем вы нас обманываете?» — кокетничали фрицы, намекая, что не может иностранец столь превосходно («excellent!») знать Париж. «Из России?! It's unbelievable! Unbelievable...»

Как все-таки забавно стремление русского человека сливаться с окружающей средой! Или это только мнимость? И даже во сне я был идиотом в глазах немцев? Но почему, почему? Почему русский мечтает быть французом в Париже, англичанином в Лондоне? Что бы ни напялил на себя немец и где бы ни оказался, он останется немцем... до противности. Чехов высмеял русских и воспел патриотизм англичанки, оставшейся «дочерью Альбиона» на берегу грязного российского пруда. Но и если бы я захотел остаться русским в Париже... На гус-

лях им, что ли, играл? Впрочем, мог бы напиться... По-русски, по-свински. Часиков эдак в восемь утра и чтоб до соплей. И чтоб клошары шарахались. И песни чтоб...

В начале восьмидесятых в поселке Терскол возле Эльбруса мы сидели в кафе с шофером Колей из геологической партии. Мрачно допивали бутылку (даже не стоит вспоминать чего!) и поругивали начальство. За соседним столом «гуляла» группа немцев из Восточной Германии. Они приехали летом кататься на горных лыжах, а тут вот вечерком решили отвязаться... Заказали по бутылочке «Останкинского» пива (0,33 л — экзотика по тем временам) и сосали каждый свою бутылочку до темноты. Когда трезвый Коля прикидывал: дадут ему водяры в долг или нет, — немцы собрались уходить. И тут начался форменный спектакль! Оказалось, что они надрались! Вдрызг! Хохотали, как сумасшедшие, и даже затеяли какой-то скандал. Один из них падал на мокрую от вечерней росы траву и вывозил свои белые шорты в зеленом. Его поднимали, он снова валился как сноп. И опять ржали... Я до того ни разу не общался с живым немцем. Но, кажется, догадался, в чем дело. Они на отдыхе. На отдыхе в России (пусть и на Кавказе). А что надо сделать в России, чтобы себя позабавить? Да надраться! Но надраться водкой — это уж нет! Это интоксикация! Это — увольте! Надраться же пивом в бутылочках по 0,33 хотя и проблематично, но теоретически возможно. Но одна бутылочка стоит гораздо дешевле десяти или двадцати, которыми еще можно попробовать надраться взрослому человеку. А вдруг и ими не надерешься! И немцы рассудили, что довольно и по одной. Важно — не сколько выпить. Важно — надраться. «Как эти русские...» Я абсолютно убежден, что ни один из тех немцев даже приблизительно не представлял, что такое русское состояние надратости. Это когда ты волоком втаскиваешь Колю (ходить уже не может) на водительское сиденье его боевого «козла». А там он себе трезвеет и мчит по горным дорогам под сто кэмэ в час. Но я также не сомневаюсь, что немцы и по сей день в компаниях вспоминают о той *настоящей русской пьянке*. И демонстрируют грязные штаны...

Вот оно — высокое национальное искусство, которое для нас недостижимо! По-немецки напиться «по-русски». Этот незначительный эпизод из своей юности я однажды вспомнил, плутая на «жигуленке» посреди тульских полей в поисках деревни Малый Конь, где купил дом. Землю каждый год распахивали с каким-то изумительным виртуозным разнообразием так, что дороги всякий раз вели в разные стороны. И вот, утопив «жигуленок» в мартовской грязи поздно вечером, я заплакал, закурил и вспомнил тех немцев. Боже мой... Mein Gott! Но ведь они были здесь в сорок первом! Бабка Рая рассказывала, как было страшно ей, крестьянской девчонке, встретить этих фрицев в снях родительского дома. Я ей сочувствовал и вроде бы понимал: как это действительно страшно! Вот чужие люди, с оружием, какой-то непонятной породы, заходят в твой дом, говорят на нерусском языке... И ты весь в их власти и даже не можешь ничего объяснить. Вот он передернет автомат, наставит тебе дуло в живот... А ты его даже умолить не сможешь... Но здесь, посреди тульских полей, я вдруг до странности зауважал немцев! Mein Gott! Какой же силой духа надо обладать, чтобы сюда добраться! Я тут сопли пускаю, всего за триста километров от Москвы и в пяти — от нашего, от людского, от русского жилья. И мне жалко себя... Вот сейчас побреду впотьмах. Но эти-то, эти! Разве не жутко им было в громадной бездорожной стране, населенной, по их убеждениям, медведями и коммунистами? Разве не было *странно* захватывать себе эти *бедные селенья*, в которых ни слова не знали по-немецки, где их все боялись или ненавидели? Разве не пугало их расстояние до фатерлянда?

Они и здесь оставались немцами — вот что! Они просто не знали, что такое «печаль полей». Они заходили в родительский дом бабки Раи и брали свои «курку, яйцо, млеко», потому что этого требовали их немецкие животы. Они кололи

русских свиней, но делали из них «шпек», а не наше русское сало. Они говорили по-немецки, сражались по-немецки, жрали и пили по-немецки. Они сюда тащили свою Германию. И когда этих гадов попятили назад, они отступили тяжело и нехотя, оставляя кровавый след, но не теряя при этом ни капельки национальной души.

Пленные немцы отстраивали центр и окраины Сталинграда. Ну какого черта никто из них не схалтурил, не подсыпал песочка в цемент выше нормы! Какого черта в квартире моих родителей такая аккуратная лепнина на потолке, что до сих пор не выпало ни кусочка! В «немецких слободках» под Волгоградом и по сей день витает немецкий дух... Ни одного немца там за версту не встретишь. Но русское население в этих милых розовых домиках живет гораздо опрятней, разводит цветочки под окнами и пьет меньше, чем в соседних слободах. Кажется, их и называют «*немцами*».

«*Проходи, гражданин...*» Он смотрел на меня чуть-чуть насмешливо. Это была первая виза в моем новеньком загранпаспорте. И всем своим видом я показывал, что ничего «такого» из тамошних краев не привез. Следовательно, и шмонать меня — только время попусту тратить. Зато небось оставил там тыщонку долларов. «*Проходи, гражданин...*» Я ему был неинтересен. Ничего себе... Нормальный. Русский.

«Замыслил я побег...»

Охота к перемене мест уживается во мне с паническим домоседством. На мой взгляд, нет фигуры более жуткой и жалкой, чем бож. Если я оставляю свою семью на неделю, то уже через три дня начинаю воображать Бог знает что, всяческие напасти, которые случились с родными в мое отсутствие, и не успокоюсь до тех пор, пока не дозвонюсь.

Терпеть не могу казенные дачи и не понимаю очередников писательского Переделкина с пожизненной системой распределения домов. Как это: после моей смерти какой-то тип (бездарный, разумеется!) вселится в мой дом?! Брезгливо оценит обстановку, выставит мою жену и собаку, а я ему из гроба даже по морде не дам?! Но в то же время я без ума от хороших гостиниц — от их воздуха, от разных смешных мелочей вроде бесплатного кусочка мыла. О, как волнительно это девственное мыло — после вечного домашнего обмылка!

В моей семье патриотического воспитания не было никакого. О том, что я русский, я слышал не чаще, чем о том, что я человек. То есть почти не слышал. Это было ясно и так. Евреев в моей среде тоже не упоминали. Первый раз о вражде евреев и русских я узнал от московских интеллигентов. Куда сложнее было с советским патриотизмом.

В семидесятые годы он иссякал... Космическое соревнование СССР и Америки приелось настолько, что очередной полет космонавтов нас, пацанов, интересовал гораздо меньше покупки пачки сигарет «Зенит». Чем больше гоняли нас продавщицы, тем азартнее шла охота: купить через дяденьку, через дворового дурачка с паспортом и проч. Но оставалось нечто, неизбежно формировавшее советского патриота из ребенка — хотел он того или нет. Это — ядерное противостояние систем. На меня оно оказало громадное влияние. Известный анекдот о красной кнопке, из любопытства нажатой новобранцем («Ну и хрен с этой Америкой!»), над которым я из солидарности смеялся в кругу приятелей, по ночам ввергал меня в холодный пот. Ведь если кнопка существует, ее непременно нажмут! Это так очевидно! И совершенно ненормальным казалось спокойствие друзей, родителей, которые жили, смеялись, будучи, без всякого сомнения, приговоренными! Когда я впервые догадался об этом, то год или два прожил в сумеречном состоянии. Или все вокруг сошли с ума и ничего не понимают? Или с ума сошел я один?

Мне начали сниться кошмары. Нет, это был не ядерный апокалипсис. Он в моем воображении рисовался просто: нажали кнопку — и все... И нет меня. Это были видения «один против всех». Однажды мне приснилось, что все вокруг черти. С рогами, бородами, копытами и хвостами. Они гуляют по улицам Волгограда, а я один среди них человек. Они этого вроде бы не замечают. А я делаю вид, что такой же черт, как они. Но вот мне начинает мерещиться, что они заметили. Вот один черт перешептывается с другим и с подозрением косится в мою сторону. А я ничего, я гуляю. Но — на всякий случай — жмусь ближе к подворотням, чтобы, когда они кинутся на меня, сигануть от них и спрятаться в подезде...

Нашу английскую школу посетила настоящая пожилая американская миссис. Зачем она приезжала в Волгоград и что ей понадобилось в школе — я не помню. Но без идеологической провокации все-таки не обошлось. На перемене ее окружили школьники. И она кому-то дала жвачку, кому-то несколько центов... Разумеется, все потянулись за центами и жвачками. Началась свалка. Старуху чуть с ног не сшибли, а наш директор был сам готов провалиться сквозь пол от стыда и страха.

И вот посещение американки навело меня на соблазнительные мысли. Ага! — думал я. Бабуля сейчас здесь! А ихняя кнопка там. И когда ее нажмут, американке кранты! С другой стороны, не такая она дура, чтобы себе могилу рыть. Следовательно, в Америке покуда не собираются наносить ядерный удар по СССР. По крайней мере по Волгограду. Провокаторша об этом знает. Мозг шестиклассника заработал с сумасшедшей энергией. Теоретически бабушку можно взять в заложники. Посадить, как Чебурашку, в стеклянную будку в центре нашего города (кстати, недалеко от моего дома). Поить, кормить, поставить ей туалет и телевизор.

Самое главное — чтобы там помнили...

А если в каждом городе посадить одного американца, то война с их стороны практически исключена! Разумеется, они тоже захватывают наших и сажают их по одному.

И все! И нет войне! Гениально!

Все эти прожекты настолько захватили меня, что я поделился с родителями. Высмеяли меня или что-то всерьез объяснили? Но все это было уже не важно. Важно, что мой внутренний человек приобрел брата. Рядом с патриотом стал наливаться соками гражданин мира. Именно тогда я решил, что стану политиком, дипломатом, журналистом или путешественником. Потому что они ездят! Потому что могут выбирать (так мне казалось!) свое местоположение на этой Земле. И я смогу не быть в СССР, когда в Америке нажмут кнопку.

Конечно, мне будет тяжело... Конечно, я буду вспоминать своих родных... Конечно, я стану ужасно горевать о своей бедной погибшей родине... где-нибудь в Австралии или в Новой Зеландии, где такие смешные кенгуру и утконосы... Может, я не справлюсь с ностальгией... Может, я тяжело заболею... И ни один врач не распознает причины моей неизвестной болезни, от которой скончаюсь в расцвете лет. И никого на моей могиле!.. Я сладко плакал о себе по ночам.

«Проходи, гражданин...» В этих словах было что-то поощрительное и оскорбительное вместе. Как будто он поймал меня на чем-то стыдном, но при этом делает вид, что не я один такой... Мол, все такие... Он сам такой!

Не ходите, дети...

На школьных занятиях по военной подготовке лысоватый отставной майор, развалясь на стуле, вещал:

— Придет время, парни, и вам повоевать. А-а-бязательно! Полетят ракеты на Америку! А-а-бязательно!

Однажды я не сдержался и, потный и красный от волнения, задал ему страшный, роковой вопрос:

— И что мы будем делать, когда полетят?

— Воевать будем, парни! А-а-бязательно!

Он говорил это с эдаким чувством, словно уже вел нас в бой супротив ядерного ракетного удара. Но тут же — спохватившись — торжественно добавлял:

— Спасибо, кынешн, нашему родному Лянидыличу за тридцать лет без войны! А-агромное ему спасибо!

Это звучало так, что, мол, Брежневу, конечно, спасибо... Но в том числе и за то, что эти дурацкие тридцать лет без войны, слава те Господи, уже закончились...

Я ненавидел майора настолько, насколько вообще способен ненавидеть кого-то шестнадцатилетний пацан! Когда он заставлял нас на пустыре возле школы бросать на дальность деревянные гранаты, мне хотелось захватить ему этой гранатой по лысой башке! Какие еще, к чертям, гранаты! «Першинги» мы, что ли, гранатами сбивать будем! Куда больше деревянных гранат меня заинтересовала организованная майором экскурсия в бомбоубежище в городском парке. В бомбоубежище я задал военруку так много вопросов (как долго продержимся? откуда поступает воздух? каков запас пропитания?), что майор растрогался, приобнял меня за плечо, как сына, и долго водил по гулким коридорам не слишком глубокой ямы, не обращая внимания на остальные «недоумков», для которых эта экскурсия была развлечением и только...

В бомбоубежище мне не понравилось. Кажется, именно отсюда пошла моя легкая клаустрофобия, принимающая порой самые неожиданные формы: от нелюбви к метро до яростного сопротивления всякой попытке ограничить мой суверенитет. Потом это проявлялось в работе со всевозможными начальниками. Все они однажды начинали недоумевать: почему вроде бы такой вежливый, такой послушный молодой человек, готовый стерпеть любые начальственные капризы, вдруг заводится от самого нормального, но главное — совершенно законного распоряжения: например, быть на службе от столько-то и до столько-то?

Но все же клаустрофобия не идет ни в какое сравнение с той чудовищной боязнью открытого и незнакомого пространства, что я испытал в раннем детстве. Баба Нина начала брать меня в пионерлагеря чуть ли не с шести лет. Она там подрабатывала на каких-то ответственных должностях, имея высшее педагогическое образование и большой стаж работы в детских садах. Первое время меня и селили вместе с бабкой в отдельных комнатах для персонала. Но однажды краснорочая повариха из столовой, взглянув на меня, сказала:

— Это почему такой взрослый симпатичный мужчина спит у бабушки под бочком? Ему уже жениться пора!

Стало обидно! Я взбунтовался, картавя:

— Что ты все делжишь меня под бочком? Надо мной уже все смеются! Я уже взлослый! Я хочу в отряд!

И бабка в тот же день определила меня в «отряд». Я дружно пообедал «с коллективом». Затем очень неплохо притворился, что поспал в «мертвый час». Я замечательно сражался вечером в настольный футбол. Но ночью... Боже, что это было!

Я не смог заснуть, но мужественно держался до тех пор, пока за дверью палаты горели фонари и шушукались молоденькие воспитательницы. Наконец все стихло, и свет был везде погашен. И тогда меня охватила паника! Я даже не ворочался. Я оцепенело лежал на боку и смотрел в темноту. Что я

здесь делаю? Почему такая огромная, нескончаемая ночь? Может, она никогда не кончится? Бежать! Бежать немедленно к бабушке! Она еще наверняка не спит, и свет горит в нашей уютной комнате. Сейчас она откроет дверь, отшлепает меня понарошку, и я засну на кровати рядом с ней, такой большой и надежной. Я босиком вышел из палаты и в одних трусах побежал к бабке. Но на полдороге меня посетило сомнение. Ой ли! Только ли понарошку отшлепает меня бабка? Бегство мое, если посмотреть строго, было случаем из ряда вон выходящим. Я представил, как отчитывают меня на линейке перед лагерем. Как звучат с трибуны слова директорши: «Ночью! Сбежал! К бабушке!» И я решил вернуться... Но вскоре обратный путь показался мне слишком долгим и неизвестным. Вот усыпанные гравием дорожки. Вот белые корпуса с черными квадратами окон. Но когда я бежал вперед, то не запоминал ориентиров. Вот вроде бы и моя палата. Но что-то в ней не то... Допустим, я войду. Но как я найду свою кровать? Я даже не помню, где она! Назад! То есть вперед!..

Даже сегодня, тридцать лет спустя, я вижу с фантастической отчетливостью, как худенький мальчик в белых трусиках со смертельно перепуганным лицом мчится по ночному лагерю. Я бежал и бежал, отыскивая глазами какое-нибудь знакомое местечко, какую-нибудь привязку к местности, где я мог бы остановиться, осмотреться и начать спасительный путь назад: в палату... к бабушке... в родной дом... в материнский живот...

Вновь я испытал это чувство, когда со знакомыми эмигрантами мчался на японской машине поздней ночью от Ниагарского водопада в Нью-Йорк. Звучит это красиво... Но мне было не до красотостей... Я опаздывал на самолет. В моей голове торчали тысяча миль да засыпающая за рулем Лялька, бывшая жительница Ленинграда. «Ничего! — сонно шутила Лялька. — Если ты даже опоздаешь, в Америке тебя не оставят. На хрен ты нужен! Тебя посадят на ближайший самолет и отправят бесплатно. Богатая, понимаешь, страна!» «Да пошли вы с вашей богатой Америкой!» — вовсе не шутил я. Мне вдруг показалось, что нашей мощной шестицилиндровой «Акуре» ни за что не сожрать этого бесконечного ночного расстояния, которое отделяло меня от моего законного «Боинга», которому еще пятнадцать часов гудеть над океаном и третью материка, чтобы я в конце концов приземлился в чужой для меня Москве, от которой до родного и теплого Волгограда почти тысяча километров. Но в Москве я оседлаю старенький «жигуль» и через пятнадцать часов окажусь на родине. А оттуда всего-навсего сто километров до степной деревни, где я провел лучшие годы своего детства. И вот там, в кругу деревенской родни, я вспомню об Америке. О том, что влюбился в нее с первого взгляда, с первого вдоха. Потому что сразу почувствовал, что это не просто страна, но чей-то очень большой и надежный дом. В нем можно жить... только не мне. Но тогда на ночном шоссе я ненавидел Америку и молил ее только об одном: отпусти! Не напоминай мне о том, что, сломайся вдруг наша надежная «Акура», закончись в США весь авиационный керосин или случись между двумя странами глупейшая война, и я буду, возможно, добираться до мой не сутки, но неделю... месяцы... годы... жизнь.

...Утром ничего не подозревавшая бабка нашла меня замерзшего и не вполне живого на ступеньках перед своей дверью. Я все-таки вышел к ней ночью. Вот только постучаться уже не мог.

«*Проходи, гражданин...*» Что-то мне напоминали его глаза. Что-то в них было от взгляда бабы Нины, когда она спросила: «Ну что, хочешь опять в отряд?» Через секунду меня окликнули: «Эй, паспорт забыл!» Имелся в виду заграничный. Он пошутил: «Больше туда не собираешься?»

Ничего особенного!

Холодная война была в разгаре. США в сознании простого советского школьника ассоциировались с худющим ефимовским дядей Сэмом из журнала «Крокодил». Но уже никакие сэмы и никакие израильские ястребы с клювами-шнобелями и пузатыми ракетами под пернатыми мышками не могли остановить волны антисоветских настроений, подхватившей советских подростков. Если это вправду делалось «по заданию ЦРУ», то хорошо же поработали ребята! Но главное — непонятно: как?

Более мерзких голосов, чем на радио «Свобода» и «Голос Америки», я не слышал ни до, ни после времен моей юности. Фамилии вроде «Щаранский» в сочетании со словом «отказник», произнесенные сто раз будто бы разными, но одинаково гайморитными голосами, казалось бы, должны были напрочь отбить желание интересоваться чем-то подобным... Это была какая-то пропаганда наоборот. Она воспитывала во мне не гражданина мира, но именно самого подлого и грязного патриота, то есть обиженное, загнанное в угол и всех подзревающее существо. «Вот падло! — думал я о «Щаранском». — Сбежать хочет! И чего это он сбежать хочет? Неспроста он сбежать хочет! Медом ему там намазали...» Это была не пропаганда, но какое-то растление души. Если бы мне говорили: мальчик, вокруг тебя неизвестный мир, бесконечно многообразный в своих формах! Твоя громадная страна — только часть этого мира. И плохо поступают те, кто не хочет пускать тебя в этот мир, воспитывая в тебе ложное чувство своей исключительности. Но... нет. Вражьи голоса воспитывали во мне подпольного человека, который будто бы должен сочувствовать другому подпольщику, нашедшему выход из своего подполья, но вот споткнувшемуся о сапог КГБ. Вот он сидит на чемоданах в своей квартире и страдает, несчастный! А тамошние подпольщики (то есть перескочившие через сапог КГБ) на весь мир вопят о его страданиях. И я зачем-то вслушивался в этот чудовищный жаргон, во все эти «ка-ге-бе», продираясь через отечественные заглушки. И все это называлось — «приобщение к свободному миру»...

Был в нашей школе мальчик, родители которого поработали геологами за границей, и он сам пожил там летом сколько-то времени. Это был князек со своим кругом холуев и приближенных. Он с ними расплачивался жвачками, иностранными монетками, объемными и переливающимися открытками с подмигивающими девицами. Холуем я не был, а для приближенного не располагал соответствующими возможностями. Но одну открытку я все же приобрел (кажется, выменял) — и поразительно, насколько я вырос в своих глазах и в мнении товарищей! Как мало нам было надо для того, чтобы «приобщиться». Впрочем, судьба открытки оказалась плачевной. Любознательный мальчик, я расковырял ее кухонным ножом, чтобы выяснить причину, во-первых, объемности девицы, во-вторых — ее подмигиваний. Так ни черта и не понял... Но с тех пор образ испорченной, взломанной за границы сопровождает меня всю жизнь. Первое, что я заметил, приземлившись во Франкфурте-на-Майне, была трещина на взлетном поле и грязь на желтых грузоподъемниках, сновавших перед зданием аэропорта. Первое, что я почувствовал в Америке, была небольшая встряска на выбоине по дороге в Вашингтон. «Вот так называемая «немецкая аккуратность» и так называемые «отличные американские дороги!» — сказал я себе. — Все брешут...»

И сразу же мне стало хорошо...

Я принадлежу еще к тому поколению, для которого первый выезд за границу неизбежно связан с чувством преодоления запрета. Это похоже на потерю невинности. Для культурной среды человек, ни разу не побывавший там, — девственный человек. И это, безусловно, накладывает отпечаток на его личность. Он чаще присматривается к себе: что с ним происходит? Что-то в нем не то... не так, как в окружающих... С годами засидевшийся в «невьезд-

ных» начинает напоминать засидевшуюся в девушках. На его физиономии появляются черточки напряженности. Вот опытные женщины треплются о своих приключениях. А она сидит, девушка, и ей нечего вставить в разговор. Вот опытные «выездные» обсуждают: как дешевле всего купить проездной на метро в Париже, пластиковые карточки на телефон в Нью-Йорке. Какие замечательные сортиры в Дании — даже лучше, чем в Германии! «Девушка» слушает все это будто бы с интересом, а «женщины» будто бы не замечают, что бедняжка страшно напряжена, ей страшно не по себе! Ей очень хочется выйти, но она не делает этого, потому что боится сочувственных взглядов в спину. Вот не польстился же никто на бедное сокровище! Хотя, казалось бы, все на месте, все при ней...

С другой стороны, почти у всякого «выездного» во внешности, в разговоре появляется что-то неуловимо развратное. В лучшем случае неуловимо! В семидесяти процентах из ста наш культурный человек и сам не замечает, как становится настоящим хамом. Вот Америка. Великая и трагическая страна с потрясающими историей, ландшафтом, культурой. И нескольких жизней не хватит, чтоб изездить ее вдоль и поперек, побывав во всех штатах, городах, на берегах всех океанов, великих озер, малых и больших рек, в горах, степях, пустынях... И вот какой-нибудь «культурный» (литератор, кандидат наук), один раз вечером поболтавшись по Бродвею и сожрав несколько каракатиц в китайском ресторане, при слове «Америка» уже кривит рожу. «А-а...» — машет он рукой, будто речь идет о посещении публичного дома. Ну что такого: раз сходил, второй — уже не тянет. Ты еще не сходил? Ну сходи, сходи! Я спросил одного филолога, двадцать раз побывавшего в Вашингтоне и Нью-Йорке на конференциях: видел ли он Старый Город на окраине американской столицы с его потрясающим смешением католической и протестантской культур? «Это далеко!» — ответил мне облетевший земной шар в три раза больше Гагарина. На самом деле это двадцать минут на метро. Я спросил: выбрался он хоть раз в окрестности Нью-Йорка, в леса, на берега древних индейских рек? Это же рукой подать, все равно что во Владимир. Не-а, не выбирался! «А-а...» — машет рукой «выездной» и вдруг становится заядлым славянофилом. Как он возмущен *этим американским ханжеством*, этим дурацким запретом на курение в помещении и распитие пива на улице! словно он летел через весь океан пивка попить. С какой гордостью он рассказывает, как непробудно квасил с приятелем-эмигрантом весь месяц и очутился только в самолете по дороге назад! «Пиво там дерьмовое! Выпивки до обеда не достать!» «Но сигареты, сигареты? — интересуется собеседник. — Наши-то, говорят, все ненастоящие!» «Да такие же там сигареты, только — ох и дорогие! Поедешь, возьми с собой несколько блоков, не то в пух и прах разорешься!» Весь разговор.

Культурные русские баре вроде Тургенева хотя и отправлялись впервые за границу за счет рабского труда матушкиных крестьян, все-таки сознавали, что тратят конкретные русские денюжки. Еще большая ответственность лежала на русских художниках, обучавшихся в Италии и Франции на казенный кошт. И даже помещики, скотски обращавшиеся с мужиками и прожигавшие их зерно в каком-нибудь Баден-Бадене, хоть перед Богом, но какую-то ответственность все-таки несли. Замечательна резолюция царя на прошении, кажется, М. Погодина позволить ему выехать за границу: «Не вижу необходимости». Это, конечно, деспотический перегиб. Но и какое мощное чувство дистанции! Какой великолепный пафос границы!

Современный культурный русский предпочитает ездить за границу на халяву. Разумеется — иностранную, потому что советской уже не обламывается. Я говорю не о всех и не о большинстве, но только о нравственном векторе времени — культе всевозможной халявы. В глубине ума каждый культурный русский понимает, сколько чепухи во всех этих симпозиумах и конференциях в курортных немецких и американских городах. Единственная их ценность состо-

ит в том, что единожды побывавший имеет шанс установить связи. Затем он автоматически становится все более и более «выездным». Все это очень напоминает вербовку агента в каком-нибудь советском фильме. С той только разницей, что будущего агента долго уламывают и в конце концов он оказывается полковником КГБ, выполняющим задание своей страны. Нашим же культурным русским приходится уламывать вербовщиков самим, ухаживая за ними в Москве и проч. Но все-таки, если нашего филолога по ошибке позвать, например, на семинар по гнойной хирургии куда-нибудь в Техас, он непременно поедет. На всякий случай!

И выступит с неплохим докладом...

«*Проходи, гражданин...*» Нет, он решительно надо мной смеялся! Это звучало примерно так: «Что, попробовал? Ничего особенного, а?» И я сделал равнодушное лицо.

Маленькая измена родине

В эстетике поздней советской власти было немало симпатичного. (Правда, и гадкого тоже: очереди, комсомольские сборища, талоны на мясо и масло, пустота и мерзость запустения не только церквей, но и городских парков, где не могли наладить элементарных каруселей для ребятишек. Настоящие метастазы советской эстетики я наблюдал, когда жил в Мытищах, почти на территории так называемого завода художественного литья. Каждое утро отправляясь с сыном в ясли и потом в детский садик, я видел, как из центральных ворот завода грузовиками вывозили... Ильичей. Централизованное производство этих монстров располагалось здесь. Потом их рассылали по всей стране. И каждый раз приходилось чем-то отвлекать Антона от этих душераздирающих картин. С тех пор меня тошнит от всякого «соцарта» и пр. Если кому-то нравится копаться в этом дерьме, сатана в помощь!)

Но симпатичной мне представляется вынужденная и выработанная десятилетиями не слишком сладкой жизни эстетика *опрятной бедности*.

Вот я, шести- или семилетний, выхожу из «хрущевки» на улице Лавочкина... Я направлен мамой по весьма важному делу! В моем кармане звенит мелочь и лежит мятый рубль. Мелочь была тщательно отсчитана мамой, включая семь копеек на фруктового мороженого. На рубль же приказано обратить особое внимание: если я его потеряю, это будет не дыра в семейном бюджете, а просто-таки дырища. Останавливаться, чтобы поболтать в приятелями, — ни за что! Ни Боже мой! Вот я вхожу в магазин, над дверью которого написаны волшебные слова: «Мясо. Колбасы». Еще нет того безумия брежневского заката, когда эти вывески за границами Москвы и Ленинграда лишились всякого содержания. Я беру ровно двести граммов «Любительской», которую продавщица мне тут же нарежет острым и длинным, как дамасский меч, ножом. Теперь соседняя дверь, над которой значится «Молоко». Здесь берется треугольный пакет, эдакий восхитительный «хеопс» в миниатюре. Еще дверь, над ней — «Хлеб». В авоську ложится сайка (именно — сайка!) белого хлеба. Наконец — законная награда. За дверью «Соки. Воды» я могу позволить себе маленький выбор: стакан сока либо «фруктово-выгодное» мороженое. Теперь — домой. Дома меня ожидают с нетерпением. Потому что это — наш роскошный завтрак выходного дня. И он невозможен в серые будни.

Апельсины... Покупать их, просто чтобы, извиняюсь, пожрать в свое удовольствие, никому в нашей семье не пришло бы в голову. Зато я твердо знал, что, когда заболею ангиной или гриппом, апельсины мне достанутся на законном основании. Это был целый ритуал, выработанный мною с мамой вместе, не сговариваясь. Чувствуя приближение болезни, я заранее предвкушал этот пир духа и плоти. Приходила врач, ставила диагноз, выписывала таблетки — все, как

надо. Мама шла в аптеку. И вот с лекарствами в доме появлялись они... Но еще надо было (важная часть ритуала!) их попросить:

— Ма, мне можно взять апельсинов?

— Не можно, Павлик. Тебе — нужно.

О-о! Святая простота превыше всякой мудрости! Подразумевалось: роскошь непозволительна и больному. Съесть апельсины (витамины!) — не удовольствие, но мой высокий нравственный долг, который я честно и исполнял. Впрочем, предлагал и родителям. Они отказывались. Ни к чему. Мне нужно, а им не нужно. И хотя я уже тогда понимал, что дело вовсе не в «нужно», а в чем-то совсем другом, я не чувствовал себя виноватым. Это был естественный аристократизм детства. Важный элемент сложной эстетики *опрятной бедности*.

Вообще-то бытовая эстетика рождается на полюсах, где резко обостряются все очертания. Возможна эстетика дворцов и трущоб (принц и нищий, Гетсби и Гекльберри), но сомнительна эстетика типового спального района. Однако советская власть внесла в это правило серьезное исключение. Сносимые сегодня «хрущобы», несомненно, обладали своей эстетикой, и очень жаль, что она почти не нашла своего отражения в искусстве. В «хрущобы» въезжали из бараков. Въезжали не избалованные выбором, только-только начинавшие забывать, что такое хлебная пайка и эвакуационный эшелон. Для этих людей бетонные пятиэтажки с крохотными, но все же отдельными квартирами были немислимым подарком судьбы! И они внесли в эти дома и их окрестности подлинное волнение души, которое испытывает всякий новосел, впервые переступающий порог своего жилища. Да так прочно, что и сегодня невольно вздыхаешь, прогуливаясь где-нибудь среди «хрущоб».

Несомненно, эти люди были фетишистами. Но именно фетишизм рождает бытовую эстетику. Вся разница только в том, что Гетсби привязан к своим бриллиантам, а Гек — к своей трубке из маисового початка. Для этих людей покупка машины была мечтой, недостижимым счастьем, о котором говорили в семье с трепетом, будто об Эльдорадо. Приобретение обыкновенной люстры — большой праздник. Новый костюм — вежа и этап. Можно сколько угодно смеяться над этим, но я твердо знаю, что всем лучшим в себе я обязан не книгам, но эстетике опрятной бедности, которую и сейчас нежно люблю...

Однажды черт попутал меня согласиться принять участие в «круглом столе» на московском отделении радио «Свобода». Нас позвали четверых: меня, какого-то тучного и бордатого психолога, ухитрившегося спать, слегка прихрапывая, в перерывах между тирадами, Константина Борового и Валерию Новодворскую. Тема была что-то вроде «конфликта поколений». Потом я назвал ее иначе: «Надо ли убивать стариков?» Дело в том, что Новодворская заявила: пока не вымрет подлое поколение пожилых людей, ничего хорошего в стране не будет! Боровой в мягкой, интеллигентной манере поправил свою боевую подругу. Мол, стариков, конечно, надо пожалеть. Но вот с «совком» в самом деле серьезные проблемы! Не хочет, скотина, работать, крутиться, чем-то торговать... Желает сидеть на месте и водку пить. Неважный народишко. Бесперспективный!

Диалог между Боровым и Новодворской, очевидно, был заранее продуманной главной частью «круглого стола». Нам с психологом отводилась роль подпевки. Надо признать, что Боровой и Новодворская — неслабый дуэт. Правильное решение — разделение ролей на *плохого* и *хорошего*. Боровой *хороший*, Новодворская *плохая*. И каждый исполняет свою роль.

Видимо, психолог знал об этом и потому мудро отсыпался. Я же не выдержал и обвинил Новодворскую в расизме. Надо было видеть, как она отреагировала! Никак! То есть вообще никак! Ни единой черточкой лица. Броня. Крепость. Крейсер «Аврора». Она меня просто не замечала. Но я ее понял. Она нормально отработывала имидж. Она пришла не спорить и чего-то доказывать, но в очередной раз объявить: «Есть в политике такая должность — Новодворская. Эту должность исполняю конкретно я!» То есть женщина в поте лица работала, а я к ней с разговорчиками приставал!

Словом, беседа протекала мирно. Старики могли спать спокойно. Однако тут-то я и ляпнул про опрятную бедность. По-моему, Новодворская меня просто не поняла. Но вот Боровой понял и неожиданно взбесился. Он кричал и чуть ли не топал ногами. Что? Какая еще такая опрятная бедность?! Бедность — это стыд и позор нации! Племя рабов, привязанных к оловянной миске с похлебкой! Совок и еще раз совок!

«Послушай-ка! — возражает гражданин. — Ведь это только романтическая категория! Ну... вот предложи всем русским по собственному «фольксвагену» и особняку в зеленой зоне Подмосковья. В обмен на одно твердое условие: *никогда не называть себя русскими*. Согласятся?» «Согласятся... — отвечает патриот (если, конечно, не фанатик). — Но однажды, помни мое слово, вымрут все в одночасье. Как мухи зимой... Прямо за рулями своих «фольксвагенов», в своих домиках и садах. И даже не поймут: что с ними происходит?»

На моем дачном участке растет береза. Сразу через дорогу, с которой граничит участок, стоит березовая роща. Весь кооператив окружен лесом, как стеной. На дачных участках растут одни садовые деревья. Березовые кусты, что время от времени пытаются разрастись самосевом, безжалостно уничтожаются. Мой участок лежит в низине, его долго не брали. Вот береза и вымахала. Она высится гордо и одиноко в нескольких метрах от могучего коллектива своих сестер, укоризненно шумящих в сторону безумной эмигрантки. Расти ей трудно. Корни уперлись в глину, ствол и ветви не защищены от палящих лучей солнца. Береза чахнет и погибает...

«Спили ее на хрен!» — говорит мой сосед. «Не могу! — отвечаю я. — Мы с ней одной крови». Он смотрит на меня как на сумасшедшего. Но я и в самом деле не могу спилить эту несчастную, перешагнувшую через дорогу березу. Что-то цепко держит меня за руку. Но и ухаживать за ней я не стану. *Ее жизнь — это ее проблемы*. Рано или поздно береза засохнет сама собой, и я быстренько распилю ее на дрова. Господи, как бы я хотел проделать то же самое... со своим гражданином мира! Но это невозможно. Душа — не дерево.

Вот он сидит во мне — мохнатое маленькое насекомое. Не столько страшное, сколько противное! Он тщедушный, недоразвитый. Похожий на большого паука, который не может толком соткать свою паутину, но уже напился живой крови и почувствовал себя пауком. Он дрожит в предвкушении свежей добычи и в то же время трусит: хватит ли его паутины для новой жирной мухи? И не опередит ли его другой паук? Он спрятался за листочком, но не потому, что ловкий охотник. Он просто боится, что другие пауки его засмеют!

И это мой гражданин мира! Все, что я смог взрастить в себе, я, воображавший себя в детстве отчаянным путешественником (как я зачитывался Хейердалом!), международным журналистом и чуть ли не шпионом! Мои сверстники резались в карты и футбол, крутили любовные романы и плясали под аббу и бони-эм. А я с едва пробившимися усиками посещал занятия в Доме политпросвещения в центре Волгограда, где налетом бывали лекторы-гастролеры из Москвы и куда от нечего делать сходились непьющие пенсионеры из окрестных дворов. С какой жадностью я вслушивался в речи московских краснобаев, говоривших о Картере и Дэн Сяопине так, словно это их близкие знакомые! Разбуди меня ночью, и я без запинки назвал бы имена не только всех европейских президентов и премьер-министров, но и министров сельского хозяйства и тяжелой промышленности. Сколько же мусора накопилось в моей голове!

И все тщетно! Через полтора десятка лет мои сверстники — из бывших картежников и футболистов — вовсю колесили по Европе и пригоняли из Германии подержанные, но все еще роскошные иностранные машины. Я же, сделавший, по их понятиям, головокружительную карьеру в Москве, преподающий в столичном вузе и печатающийся в «Литгазете», продолжал грезить о загранице как о чем-то недосыгаемом.

Уже вокруг кипела перестройка. Уже не стайки, но целые табуны литераторов и журналистов мчались сквозь прорубленное Горбачевым «окно» и вытаптывали Елисейские поля, швейцарские горы и американские прерии. Уже студенты-первокурсники Литературного института смущенно оправдывались передо мной за прогулы: «Я вот, знаете ли... по Франции, знаете ли... Авосто-пом, знаете ли... Посмотреть...»

Как-то на семинаре по современной литературе мы со студентами, как и положено, болтали о том о сем. Я рассуждал о коренном отличии русского менталитета от европейского, что отражается, в частности, на разном статусе литературы тут и там. Тихая студенточка спросила:

— А вы сами-то где побывали?

Я покраснел. Мне было стыдно, как если бы она заметила, что у меня не застегнута ширинка.

— Нигде... Ни разу... А что?

— Да я, собственно... ничего.

Моя мучительница улыбнулась.

Чем с большей страстью я мечтал о загранице, тем насмешливей судьба возвращала меня к реальности. Я уже догадывался, что никакой особой метафизики заграницы не существует, а есть только сумма известных препятствий, для преодоления которых нужны определенные действия. Заграница — не Сезам и не Страна чудес. Для того, чтобы выезжать, не нужно бормотать заклинаний. Желаетесь ездить за чужой счет, на какие-нибудь экзотические конференции — что ж, улыбайся кому надо, дружи с кем следует, бывай в кое-каких местах. Напечатай статью о стихах М. Его отец настолько богатый, что может оплатить не только проживание сына в Америке, но и дармовые поездки его друзей и приближенных. (Вспомни об открытках с мигающими девицами!)

Я ругал кого не надо, мрачнел с кем не следует и пропускал решительно все тусовки.

Я не был гордый, о нет! Я страстно хотел изменить родине! Известно, однако, что наиболее постоянны те мужья, что слишком часто мечтают об измене.

Ну хорошо: плюнь и возьми путевку! Но куда? Да хотя бы на Кипр, говорили мне. Недорого! Почему на Кипр? Почему не в Италию? Да ты съезди хотя бы на Кипр, говорили мне. А потом в Италию. Не дури! Не юродствуй!

Наконец я (с величайшим, как мне казалось, коварством!) подсунул свой реферат о Ницше и Серебряном веке забугорному слависту с русской фамилией и иностранным именем. Хитрость заключалась в том, что кафедра, на которой работал означенный славист, специализировалась на родственных темах. Чужеземец просиял джеймсбондовской улыбкой и за что-то долго меня благодарил. И я стал ждать звонка... «Mr. Bassinski? We request the pleasure of your company...» и пр. и пр.— точь-в-точь, как на приглашении в какое-то посольство, которое я видел на столе начальника. Звонок раздался через месяц. Лаборантка кафедры одного вуза сообщила, что господин такой-то второпях оставил на ее столе кучу бумаг, среди которых и мой реферат. И что ей с этим делать?

—!!!

Потом звонили из Союза писателей и говорили: тут намечается круизик по Средиземноморью. О-о! Состав участников в общем-то укомплектован («Интересно: кто ж это такие?» — ревниво соображал я). Но образовалось «окошко». Поэт С. такой рассеянный... Он просрочил свой загранпаспорт и теперь едва ли побегит его продлевать. Хрена ли ему Средиземноморье, он там сколько раз бывал! Я мчался в ОВИР, потом в какой-то жульнический кооператив и делал паспорт в рекордные сроки и за такие сумасшедшие деньги, которых хватило бы на Кипр. Но в последний момент паспорт С. продлевался как-то сам собой и без особых хлопот со стороны хозяина. Я же мучился не от того, что не увидел Грецию, Италию, Францию, но от своего малодушия и постыдной суетливости!

«Дурачок!» — уговаривал я себя. Вот сдалась тебе граница! Миллионы русских людей пожизненно обречены *ни разу* не побывать там. И от этого они становятся не только не хуже, но даже и намного лучше. Моя покойная прабабка пришла в ужас, когда узнала, что в Волгограде затевается молодежный русско-немецкий фестиваль. «Сколько-сколько? — переспрашивала она (немцев собиралось приехать больше тысячи).— Это... война?» В ее голове не укладывалось, как это можно: добровольно пустить столько *немцев* в Сталинград! Но она не была темным и ограниченным существом. За ум, честность и трудолюбие ее уважала вся деревня. Ее сын, мой дед, председатель огромного колхоза, обращался к ней на «*вы*».

И хоть бы кто-то из моих знакомых вернулся из-за границы с каким-то светлым опытом, ну хотя бы с чуточку расширенным мировосприятием. С настежь распахнутыми и детски изумленными глазами. Нет! Все эти разговорчики о том, как летели, куда поселили, сколько денежек обменяли... И чуть ли не жажда сочувствия в глазах. Мне всерьез рассказывали о том, что добродетельные россиянки в Венгрии не только приторговывали утюгами и прочей дрянью, чтобы закупить семье побольше импортного шмотья, но и с готовностью отдавались за валюту нашим гидам и переводчикам. Вернувшись домой, жена и мама с гордостью высыпала перед домашними ворох джинсов и футболок, честно заработанных в поездке...

А эти бесстыжие воспоминания о том, как несложно надуть иностранцев, не платя за то-то и то-то, приворовывая то-то и то-то, которые часто звучат даже в интеллигентской среде! И ведь ржут, слушая эти гадости в исполнении профессиональных смехачей! И никто не встанет, не даст по морде за оскорбление народа. Ну встали бы и ушли!

В детстве меня жутко занимала психология русских полицаев во время войны с немцами. О полицаях я узнал из советских фильмов и романов. «Вот как это? — думал я.— Живет в селе какой-нибудь *Степаныч* и вдруг становится полицаем! Он что, выродок, что ли?» Всякие классовые объяснения (мол, бывший кулак и проч.) меня не устраивали. И только в зрелости я лицом к лицу столкнулся с живым типом русского полицая. Позвонил один переводчик и предложил поехать от «Литгазеты» в Штутгарт на вручение почему-то католической премии почему-то Чингизу Айтматову. Штутгарт! Получив официальный вызов, я полетел в немецкое посольство. Там перед железным забором на бетонном пятачке в немыслимую жару стояло несколько очередей. Одна из *деловых*, другая из *культурных*, третья из русских немцев, четвертая из прочего народишка, который, по мнению подозрительных хозяев, рвался в их благословенную Германию вообще непонятно зачем. Не сразу сообразив, что я *культурный*, я встал в громадный хвост из этих, прочих.

Толпа гудела, волновалась. Прошел слух, что брать документы на визы будут до одиннадцати часов. А потом — привет! до завтра! Две тетки упали в обморок и были отнесены в сторону хладнокровными милиционерами. Кто-то с кем-то стал ругаться. Но в общем-то это была довольно пристойная очередь. Сразу было видно, что не за стиральным порошком и туалетной бумагой. И все же немцам в стеклянной будке не понравился шум. Тогда на высокий порожек вышли полицай с полицайкой (проще говоря — русские служащие посольства). Полицайка, грозно взглянув на нас, сказала:

— Прием прекращается на час. За это время научитесь себя прилично вести. Потом посмотрим.

Я старался найти в ее глазах какое-то сочувствие. Ведь это нешуточное дело — поездка за границу! Не важно, кто и с какой целью туда отправляется. Люди вкладывают немалые деньги, перепланируют свою жизнь и, возможно, не укладываются в какие-то сроки. Ну пусть бы она зашикала, зашипела! Дескать, тихо, козлы, не гневите хозяина!

В ее глазах была твердая убежденность в том, что с быдлом по-другому разговаривать нельзя. Быдло нужно загонять в *культурные* клетки. Ему же на пользу.

И тогда я понял, что это не класс, а порода. И еще я понял, почему их вешали тогда! Вот за это самое и вешали. За этот *культурный холодок*.

А покачайся на веревке, покорчись перед всем народом, попускай газы — пострадай!

Из соседней очереди (гораздо меньших размеров) меня окликнул знакомый. Мол, ты чего там стоишь, тетеря? Ты же *культурный*! Иди к нам! Когда я выходил из толпы, наказанной на час за непослушание, несколько человек бросили на меня примерно тот же взгляд, каким мы все вместе смотрели на полицая. «Иди, иди!» — подталкивал меня гражданин мира. «Пошел прочь, сатана!» «И что ты думаешь? — вальяжно рассуждал он, когда я пристраивался в хвост к *культурным*. — Да позови любого из них — с радостью кинется!»

Я посмотрел на них. Он прав!

В Германию меня тогда не пустили. Как раз в этот день немцы решительно постановили не принимать никаких факсов. Только оригинал вызова. «Почему?» — спросил я нашего полицая. «Потому...» — коротко ответил он.

Но наконец свершилось, что должно было рано или поздно свершиться. Раздался звонок...

— Фонд такой-то проводит такую-то конференцию в Вашингтоне. С такого-то по такое-то... Поэтом Е. предложена для участия ваша кандидатура. Не согласились бы вы? Ответ нужен немедленно...

На каком-то этапе жизни я почти смирился с мыслью, что предложения типа вышеозначенного законно поступают по каким-то иным адресам и спискам, в которых не состою и *не должен* состоять. Потому что *все* состоять не могут. Есть какая-то маленькая правда в том, что одни там бывают, а другие не бывают. И эта правда — тоже часть великолепной фигурности нашей российской жизни, все еще отчаянно противостоящей общемировому смешению. Да, так. Но...

Но Америка! Я-то как раз никогда не скрывал своей особой заочной любви к этой стране. Не только к ее культуре, ее литературе. Но и ее «боингам», ее автомобилям, ее голливудским фильмам, которые я всегда, не таясь, предпочитал фильмам, например, Бунюэля или Тарковского.

— ХОЧУ!!! — заорал гражданин.

Но я легонечко схватил его за горло и произнес каким-то чужим, почти незнакомым голосом:

— Надо подумать... Напряженный, знаете ли, месяц! Позволю вам, когда утрясу все дела...

«Чего-чего, ты сказал «напряженный»? — изумился гражданин, выпучив глаза и потирая травмированное горло. — Вот сволочь! Вот же пижон!» И он занюхнул о своей горькой доле стать тенью неизлечимого идиота.

Но я его не слушал. Я сочинял свой американский маршрут. Потому что я всегда был фаталистом. И если судьба произнесла слово «Америка» — значит, это неспроста. Потом были какие-то списки, которые сокращались и расширялись, в которые я попадал и не попадал... Но все это не имело значения. Америка неотвратимо приближалась ко мне.

В американском консульстве за толстыми стеклами вежливые «белые воротнички» проводили собеседование. Кто-то меня заранее предупредил, что смысл этого собеседования заключается в том, чтоб *придуриваться*. Не важно, зачем ты едешь. Ты под подозрением! Возможно, ты захочешь там остаться. И твоя задача доказать противное. Мол — ни-ни!

По совету знакомых я захватил с собой цветные семейные снимки, а также фото своего деревенского дома. И я видел, что подобные *свидетельства о бла-*

гополучии принесли с собой чуть ли не все. За время шестичасового ожидания, сперва в очереди в посольство, потом в зале для собеседования и, наконец, снова в очереди — уже за визой, я довольно послушался и посмотрелся. Например, какой-то дядя с внешностью простолюдина, зато в очках-хамелеонах, держался в очереди бойчей всех. Это был, образно говоря, *завсегдатий*. Он всем помогал заполнять анкеты, заводил короткие знакомства, подробно и снисходительно объяснял нам, простачкам, какие встречаются камни и подводные течения на пути к желанной визе. Он одновременно напоминал классического стукача-провокаatora (этот типаж хорошо знаком мне по Литинституту) и безнадежно больного, который ложится на свою десятую операцию и вот в больничном коридоре куда беседует с новичками, трясущимися при одной мысли о ноже. Для новичков это нечто вроде психотерапии. Если человека в десятый раз режут, значит, ничего особенного! Любопытно, что именно этот дядя визы своей так и не получил. Но ушел как бы и не сильно расстроенный.

«Наверняка провокатор!» — подумал я. И почему-то мне показалось, что о том же подумали все. Втирается в доверие, всех выспрашивает, потом докладывает обстановку. Непонятно только — кому: русским или американцам?

Рядом со мной возле соседнего окошка для собеседования стояла калека на костылях. Она жутко нервничала! Еще бы: богатая и социально обеспеченная Америка русских инвалидов не жалуется. Потом не отвяжешься, хлопот не оберешься! О чем она говорила с «белым воротничком», я не разобрал. Пока неожиданно не раздался истошный крик:

— Да я вернусь, вернусь! Вы не смотрите, что я одинокая! У меня такие замечательные соседи! Они добрые, внимательные! Они все меня очень, очень любят!

И последний калеки аргумент:

— Я дома оставляю своего песика! Я без него жить не могу! Вы это понимаете, понимаете?

«Воротничок» слушал ее вежливо, внимательно, не перебивая. Мне захотелось стукнуть калеку по башке, выбить из-под нее костыли, заорать матом, чтобы прекратили наконец это издевательство и над инвалидом, и над всей природой человеческой! Но самое достойное, что я мог бы сделать, — это забрать к чертям документы и никогда больше не появляться там, где происходят такие сцены. «Стой, где стоишь, ты понял!» — прошипел гражданин мира. И я остался. Я промолчал. Я наконец-то изменил своей родине...

Потом (мир тесен!) мы с калекой летели в одном самолете. Она хитровато щурилась и хватала с тележки стюардессы разные пакетики и бутылочки. Глядя на нее, нетрудно было догадаться, что бедному песику больше не видать хозяйки, как своих ушей. Она меня узнала. Дружески ослабилась и вдруг, приподнявшись, победно помахала своим костылем, и без того ужасно похожим на тощую букву V.

«Проходи, гражданин... Проходи!»



Борис ЛЕСНЯК

Мой Шаламов

Этот человек обладал редкой особенностью: один глаз его был близоруким, другой — дальноруким. Он способен был видеть мир вблизи и на расстоянии одновременно. И запоминать. Память у него была удивительная. Он помнил множество исторических событий, мелких бытовых фактов, лиц, фамилий, имен, жизненных историй, когда-либо услышанных.

В. Т. Шаламов родился в Вологде в 1907 г. Он никогда не говорил, но у меня сложилось представление, что он родился и вырос в семье священнослужителя или в семье очень религиозной. Он до тонкостей знал православие, его историю, обычаи, обряды и праздники. Он не был лишен предрассудков и суеверий. Верил в хиромантию, например, и сам гадал по руке. О своем суеверии он не раз говорил и в стихах, и в прозе. При этом был хорошо образован, начитан и до самозабвения любил и знал поэзию. Все это уживалось в нем без заметных конфликтов.

Мы познакомились ранней весной 1944 г., когда солнышко стало уже пригревать и ходячие больные, пододевшись, выходили на крылечки и завалинки своих отделений.

В центральной больнице Севлага, в семи километрах от поселка Ягодное, центра Северного горнопромышленного района, я работал фельдшером двух хирургических отделений, чистого и гнойного, был операционным братом двух операционных, ведал станцией переливания крови и урывками организовывал клиническую лабораторию, которой в больнице не было. Свои функции я выполнял ежедневно, круглосуточно и без выходных дней. Прошло сравнительно мало времени, как я вырвался из забоя и был непомерно счастлив, обретя работу, которой собирался посвятить свою жизнь, а кроме того, обретал надежду эту жизнь сохранить. Помещение под лабораторию было отведено во Втором терапевтическом отделении, где с диагнозом «алиментарная дистрофия» и «полиавитаминоз» находился Шаламов уже несколько месяцев.

Шла война. Золотые прииски Колымы были для страны «цехом номер один», и само золото называлось тогда «металлом номер один». Фронту нужны были солдаты, приискам — рабочая сила. Это было время, когда колымские лагеря уже не пополнялись столь щедро, как прежде, в довоенное время. Еще не началось пополнение лагерей с фронта пленными и репатрированными. По этой причине восстановление рабочей силы стали придавать большое значение.

Шаламов уже отоспался в больнице, отогрелся, появилось мясо на костях. Его крупная, долговязая фигура, где бы он ни появлялся, бросалась в глаза и дразнила начальство. Шаламов, зная свою эту особенность, усиленно искал пути как-то зацепиться, задержаться в больнице, отодвинуть возвращение к тачке, кайлу и лопате как можно дальше.

Как-то Шаламов остановил меня в коридоре отделения, что-то спросил, поинтересовался, откуда я, какие статья, срок, в чем обвинялся, люблю ли стихи. Я рассказал ему, что жил в Москве, учился в 3-м Московском медицинском институте, что в квартире заслуженного и известного тогда фотохудожника М. С. Наппельбаума собиралась поэтическая молодежь (младшая дочь Наппельбаума училась на первых курсах отделения поэзии Литинститута). Я бывал в этой компании, где читались свои и чужие стихи. Все эти ребята и девушки — или почти все — были арестованы, обвинены в участии в контрреволюционной студенческой организации. В моем обвинении значилось чтение стихов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

С Шаламовым мы сразу нашли общий язык, мне он понравился. Я без труда понял его тревоги и пообещал, чем сумею, помочь.

Главным врачом больницы была в то время молодая энергичная Нина Владимировна Савоева, выпускница 1-го Московского медицинского института 1940 г., человек с развитым чувством врачебного долга, сострадания и ответственности. При распределении она добровольно выбрала Колыму. В больнице на несколько сотен коек она знала каждого тяжелого больного в лицо, знала о нем все и лично следила за ходом лечения. Шаламов сразу попал в поле ее зрения и не выходил из него, пока не был поставлен на ноги. Ученица Бурденко, она была еще и хирургом. Мы ежедневно встречались с ней в операционных, на перевязках, на обходах. Ко мне она была расположена, делилась своими заботами, доверяла моим оценкам людей. Когда среди доходяг я находил людей хороших, умелых, работающих, она помогала им, если могла — трудоустраивала. С Шаламовым оказалось все много сложнее. Он люто ненавидел всякий физический труд. Не только подневольный, принудительный, лагерный — всякий. Это было его органическим свойством. Конторской работы в больнице не было. На какую бы хозяйственную работу его ни ставили, напарники на него жаловались. Он побывал в бригаде, которая занималась заготовкой дров, грибов, ягод для больницы, ловила рыбу, предназначенную тяжелобольным. Когда поспевал урожай, Шаламов был сторожем на прибольничном большом огороде, где в августе уже созревали картофель, морковь, репа, капуста. Жил он в шалаше, мог ничего не делать круглые сутки, был сытым и всегда имел табачок (рядом с огородом проходила центральная колымская трасса). Был он в больнице и культторгом: ходил по палатам и читал больным лагерную многотиражную газету. Вместе с ним мы выпускали стенную газету больницы. Он больше писал, я оформлял, рисовал карикатуры, собирал материал. Кое-что из тех материалов у меня сохранилось по сей день. Вот стихотворения Шаламова тех лет:

Курсы французского языка

Мои познания очень узки
По части кушаний французских.

Маг и волшебник дядя Саша
Твердит заклęcia над кашей:

Придав кусочек ветчины,
Он кашу произвел в «чинь».

В метаморфозе сей простой
Явилось блюдо «ризотто».

Обыкновенная селедка —
Поешь, так долго сохнет глотка.

Но капнул соуса Муса,
И после колдовского зелья

Ты сельдь не назовешь уж сельдью
Без добавленья: «провансаль».

Нам, напрягая все старанья
В познание школы ресторанный,

Придется, кажется, начать
Язык французский изучать.

Возвращение

Кажется, так: поправив «галстук»,
Вычистив бурки на «шинном» ходу,
Впрыснув для храбрости хлористый кальций
В вену (отнюдь не подкожно!), иду.

К автовокзалу тропой зимней,
К автопарку из двух единиц —
Наших заслуженных ландо и лимузина,
Предметов зависти всех больниц.

Мимо прачечного комбината,
 Два поворота знакомых, и вот —
 Вашему индустриальному взгляду —
 Фабрика-кухня и хлебозавод.

Делают аускультацию каше,
 Творя кулинарные чудеса,
 Обер-повар Матвеев Саша
 И первый тенор кухни Муса.

Вот поднимаются навстречу,
 Гордо вздымаясь в небеса,
 Многоваттные, многосвечные
 Хирургические корпуса.

Забыв про поговорку «тайм из мони»,
 Поплевывая в крашенный потолок,
 Томно улыбается нежный Монин —
 Стоматолог и одонтолог.

Морг ли? Часовня ли? Иль крематорий?
 Здесь в приоткрытый «прозекторский зал»
 Слышится шелест различных историй
 (Историй болезни!). А разве нельзя

Заполнить простую «Историю здоровья»,
 Может быть, там, за фанерной доской
 В нашем Институте переливания крови
 Чьей-нибудь донорской рукой?

<.....>

Время колымскую тянет резину.
 От вздохов и охов лишившись сна,
 Высох в щепку Андрей Максимыч
 (Луна — не картошка!). К тому же — весна.

Мечется «стрижка, брижка, завижка»:
 Фигаро, туды! Фигаро, сюды!
 Дон Микаэль с чемоданом под мышкой —
 Блуждающий Институт красоты.

Мимо дворцов пищевого блока,
 Мимо загадочных ОК и ОП
 Все еще «Гуманной» и «Одинокой»
 Двигаетесь Вы по знакомой тропе.

Кончено. Можно, вступив на крыльцо,
 Видеть лицо своего «мажордома»,
 Сонное (или Ни-сонное) вовсе лицо
 При выражении — «вот мы и дома».*

Тренируя память, Варлам записал в двух толстых самодельных тетрадах стихи русских поэтов XIX и начала XX века и подарил те тетради Нине Владимировне. Она хранит их.

Первая тетрадь открывается стихотворениями И. Бунина «Каин» и «Ра-Озирис». Далее следуют Д. Мережковский, К. Бальмонт, И. Северянин, В. Маяковский, С. Есенин, Н. Тихонов, А. Безыменский, С. Кирсанов, Э. Багрицкий, А. Антокольский, И. Сельвинский, В. Ходасевич — всего более тридцати стихотворений.

Во второй тетради — А. С. Пушкин «Я вас любил...»; Ф. Тютчев «Я встретил вас, и все былое...»; Б. Пастернак, М. Лермонтов, Е. Баратынский, Беранже, А. К. Толстой...

Меня, провинциального паренька, такая поэтическая эрудиция, удивительная память на стихи поражала и глубоко волновала. Мне жаль было этого даровитого человека, игроу недобрых сил выброшенного из жизни. Я им искренне восхищался. И делал

* Поэма «Возвращение», приведенная здесь в извлечениях, посвящена главврачу больницы на Беличьей Н. В. Савоевой и написана по случаю ее возвращения из инспекционной поездки по лагерным приискам для отбора тяжелых больных зимой 1944 г.

Люди, упомянутые в стихотворениях, — обслуживающий персонал больницы (дядя Саша — старший повар Александр Иванович Матвеев, Нисон Азарович — заключенный, дневальный главврача и др.).

«Гуманный», «Одинокий» — названия приисков.

все, что было в моих силах, чтобы оттянуть его возвращение на прииски, эти полигоны уничтожения. На Беличьей Шаламов пробыл до конца 1945 г. Два с лишним года передышки, отдыха, накопления сил — для того места и того времени это было немало.

В начале сентября 1945 г. наш главный врач Нина Владимировна была переведена в другое управление — Юго-Западное. Пришел новый главный врач — новый хозяин с новой метлой. Первого ноября я заканчивал свой восьмилетний срок и ждал освобождения. Врача А. М. Пантюхова, позже принимавшего участие в судьбе Шаламова, к этому времени в больнице уже не было. Я обнаружил в его мокроте палочки Коха. Рентген подтвердил активную форму туберкулеза. Он был сактирован и отправлен в Магадан для освобождения из лагеря по инвалидности с последующей отправкой на материк. Вторую половину жизни этот талантливый врач прожил с одним легким. У Шаламова в больнице не оставалось друзей, не оставалось поддержки.

Первого ноября с маленьким фанерным чемоданчиком в руке я уходил из больницы в Ягодное получать документ об освобождении — «двадцать пятую форму» и начинать новую, «вольную» жизнь. До половины дороги меня провожал Варлам. Он был грустен, озабочен, подавлен.

— После вас, Борис, — сказал он, — дни мои здесь сочтены.

Я его понимал. Это было похоже на правду... Мы пожелали друг другу удачи.

В Ягодном я задержался недолго. Получив документ, был направлен на работу в больницу Утинского золоторудного комбината. До 1953 г. я не имел никаких вестей о Шаламове.

Встречи в Москве

После приезда Шаламова из Барагона к нам в Магадан в 1953 г., когда он делал первую попытку вырваться с Колымы, мы с ним не виделись четыре года. Встретились в 1957 г. в Москве случайно, недалеко от памятника Пушкину. Я выходил с Тверского бульвара на улицу Горького, он с улицы Горького спускался на Тверской бульвар. Был конец мая или начало июня. Яркое солнце беззащитно слепило глаза. Навстречу мне шел легкой, пружинистой походкой рослый, по-летнему одетый мужчина. Возможно, я не задержал бы на нем взгляда и прошел мимо, если бы этот человек не раскинул широко руки и высоким, знакомым мне голосом не воскликнул: «Ба, вот это встреча!» Варлам Тихонович был свеж, весел, радостен и тут же рассказал, что вот только что ему удалось опубликовать в «Вечерней Москве» статью о московских таксистах. Он считал это большой для себя удачей и был очень доволен. Говорил о московских таксистах, о редакционных коридорах и тяжелых дверях. Это первое, что он о себе рассказал. Выяснилось, что живет и прописан в Москве, женат на писательнице Ольге Сергеевне Неклюдовой, с ней и ее сыном Сережей занимает комнату в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре. Познакомился с Ольгой Сергеевной Варлам Тихонович в Переделькино, где обретался какое-то время, приезжая со своего «сто первого километра», как я думаю, повидаться с Борисом Леонидовичем Пастернаком.

Рассказал, что его первая жена (если я не ошибаюсь, урожденная Гудзь, дочь старого большевика) от него отказалась и их общую дочь Лену воспитала в неприязни к отцу.

Лена, дочь В. Т., родилась в апреле. Помню об этом потому, что как-то в апреле 1945 г. на Беличьей он сказал мне очень тоскливо: «Сегодня у моей дочери день рождения». Я изыскал способ отметить это событие, и мы выпили с ним по мензурке медицинского спирта.

В то время жена ему часто писала. Время было трудное, военное. Анкета у жены, была, прямо скажем, дрянной, и жилось ей с ребенком весьма нерадостно, весьма не просто. В одном из писем она писала ему примерно следующее: «...Поступила на курсы бухгалтеров. Профессия эта не очень хлебная, но надежная: у нас ведь всегда и везде что-нибудь считают». Не знаю, была ли у нее профессия раньше и если была, то какая.

По словам В. Т., его возвращение с Колымы жену не обрадовало. Она его не приняла, считая прямым виновником своей загубленной жизни, и сумела внушить это дочери.

Я в то время в Москве был проездом с женой и дочкой. Большой северный отпуск позволял нам не очень экономить время. Мы задержались в Москве, чтобы помочь моей маме, вышедшей из лагеря инвалидом, в 1957 г. реабилитированной, в хлопотах о возвращении жилплощади. Мы остановились в гостинице «Северная» в Марьиной роще.

Варлам очень хотел познакомить нас с Ольгой Сергеевной и пригласил к себе. Ольга Сергеевна нам понравилась: милая, скромная женщина, которую, судя по все-

му, жизнь тоже не очень баловала. Нам показалось, что в их отношениях есть гармония, и мы радовались за Варлама. Несколько дней спустя Варлам и Ольга Сергеевна приехали к нам в гости. Я их познакомил с мамой...

С той встречи между нами установилась регулярная переписка. И каждый мой приезд в Москву мы с Варламом встречались.

Еще до 1960 г. Варлам и Ольга Сергеевна с Гоголевского бульвара переехали в дом № 10 по Хорошевскому шоссе, где в коммунальной квартире получили две комнаты: одну средних размеров, а вторую — совсем маленькую. Но у Сергея был теперь свой угол, к общей радости и удовлетворению.

В 1960 г. я заканчивал Всесоюзный заочный политехнический институт и более года жил в Москве, сдавая последние экзамены, курсовые и дипломный проекты. В этот период мы виделись с Варламом часто — и у него на Хорошевке, и у меня в Новогирееве. Я жил тогда у мамы, которая после долгих хлопот получила комнату в двухкомнатной квартире. Позже, после моей защиты и возвращения в Магадан, Варлам бывал и без меня у мамы и переписывался с ней, когда она уехала в Липецк к дочери, моей сестре.

В том же 1960 г. или начале 1961-го я как-то застал у Шаламова человека, который собирался уже уходить.

— Знаешь, кто это был? — сказал Варлам, закрывая за ним дверь. — Скульптор, Федот Сучков, хочет сделать скульптурный портрет Солженицына. Так вот, приехал просить меня о посредничестве, о рекомендации.

Знакомство с Солженицыным тогда В. Т. льстило в высшей степени. Он этого не скрывал. Незадолго перед тем он написал Александру Исаевичу и побывал у него в Рязани. Был принят приветливо и благосклонно. В. Т. показывал Солженицыну «Колымские рассказы». Эта встреча, это знакомство окрыляли В. Т., помогали его самоутверждению, укрепляли под ним почву. Авторитет Солженицына для В. Т. в то время был велик. Импонировали и гражданская позиция Солженицына, и писательское мастерство.

В 1966 г., будучи в Москве, я выбрал свободный час и позвонил В. Т.

— Вали, приезжай! — предложил он. — Только быстро.

— Вот, — сказал он, когда я приехал, — собирался сегодня в издательство «Советский писатель». Хочу там оставить. Пусть не печатают, черт с ними, но пусть у них побудет.

На столе лежало два машинописных комплекта «Колымских рассказов».

Многие из его колымских рассказов я знал уже, десятка два было им мне подарено. Я знал, когда и как некоторые из них писались. Но увидеть вместе все, отобранное им для издательства, мне хотелось.

— Ладно, — сказал он, — даю тебе на сутки второй экземпляр. У меня не осталось ничего, кроме черновиков. В твоём распоряжении день и ночь. Откладывать больше не могу. А это тебе в подарок, рассказ «Огонь и вода». — Он протянул мне две школьных тетрадки.

В. Т. жил еще на Хорошевском шоссе в тесной комнатке, в шумной квартире. А у нас к этому времени в Москве стояла пустой двухкомнатная квартира. Я спросил, почему бы ему там не поставить стол и стул, он мог бы спокойно работать. Эта идея ему пришла по душе.

Большая часть жильцов нашего кооперативного дома (ЖСК «Северянин») уже переехала в Москву с Колымы, в том числе и правление ЖСК. Все они очень ревностно, болезненно относились к тем, кто еще оставался на Севере. Общим собранием было принято решение, запрещающее сдавать, подселять или просто пускать в пустующие квартиры кого-либо в отсутствие хозяев. Все это мне растолковали в правлении, когда я пришел поставить в известность, что даю ключ от квартиры В. Т. Шаламову, моему товарищу, поэту и журналисту, живущему и прописанному в Москве и ждущему улучшения своих квартирных условий. Несмотря на протест правления, я оставил письменное заявление на имя председателя ЖСК. У меня сохранилось это заявление с аргументацией отказа и подписью председателя. Считаю отказ незаконным, я обратился к начальнику паспортного стола 12-го отделения милиции, майору Захарову. Захаров сказал, что вопрос, по которому я обращаюсь, решается общим собранием пайщиков ЖСК и лежит за пределами его компетенции.

На этот раз я не смог помочь Варламу даже в столь пустяковом деле. Было лето. Собрать общее собрание, да еще по одному вопросу, не удалось. Я вернулся в Магадан. А квартира стояла пустой еще шесть лет, пока мы не выплатили долги за ее приобретение.

В шестидесятые годы Варлам начал резко терять слух, нарушилась координация движений. Он лежал на обследовании в больнице имени Боткина. Был установ-

лен диагноз: болезнь Меньера и склеротические изменения вестибулярного аппарата. Были случаи, когда В. Т. терял равновесие и падал. Несколько раз в метро его поднимали и отправляли в вытрезвитель. Позже он заручился врачебной справкой, заверенной печатями, и она облегчила ему жизнь.

В. Т. слышал все хуже и хуже, и к середине семидесятых годов перестал подходить к телефону. Общение, беседа стоили ему большого нервного напряжения. Это сказывалось на его настроении, характере. Характер у него стал нелегким. В. Т. сделался замкнутым, подозрительным, недоверчивым и потому необщительным. Встречи, беседы, контакты, избежать которых было нельзя, требовали с его стороны огромных усилий и изматывали его, выводя надолго из равновесия.

В его последние одинокие годы жизни бытовые заботы, самообслуживание тяжелым грузом ложились на него, опустошая внутренне, отвлекая от рабочего стола.

У В. Т. был нарушен сон. Он уже не мог спать без снотворного. Его выбор остановился на нембутале — средстве самом дешевом, но отпускаясь строго по рецепту врача, с двумя печатями, треугольной и круглой. Действие рецепта ограничивалось десятью днями. Полагаю, что у него к этому препарату развилось привыкание, и он вынужден был увеличивать дозы. Доставка нембутала тоже отнимало у него время и силы. По его просьбе еще до нашего возвращения из Магадана в Москву мы посылали ему и сам нембутал, и рецепты без проставленной даты.

Бурная канцелярская деятельность той поры проникла во все поры жизни, не деля исключения и медицине. Врачам предписывалось иметь личные печати. Вместе с печатью лечебного учреждения врач обязан был ставить и свою личную печать. Формы рецептурных бланков часто менялись. Если раньше врач получал бланки с поставленной треугольной печатью поликлиники, то позже больной должен был сам идти от врача к окну больничных листов, чтобы поставить вторую печать. Врач часто забывал сказать об этом больному. Аптека не отпускала лекарства. Больной вынужден был снова идти или ехать в свою поликлинику. Этот стиль существует поныне.

Моя жена, хирург по специальности, в Магадане последние перед уходом на пенсию несколько лет работала в физкультурном диспансере, где лекарств не прописывают, и обеспечение В. Т. нембуталом для нас тоже становилось сложной проблемой. Варлам нервничал, писал раздраженные письма. Сохранилась эта невеселая переписка. Когда мы переехали в Москву, а в Москве жена уже не работала, проблема рецептов усложнилась еще более.

Уроки хорошего тона

В конце шестидесятых годов я бывал в Москве раза четыре. И, конечно, в каждый приезд свой хотел повидать Варлама. Как-то с автозавода имени Лихачева, куда я приезжал для обмена опытом, я проехал к В. Т. на Хорошевку. Он бурно приветствовал меня, но выразил сожаление, что не может уделить мне много времени, так как должен быть через час в издательстве. Мы обменивались главными своими новостями, пока он одевался и собирался. Вместе дошли до автобусной остановки и разъехались в разные стороны. Прощаясь, В. Т. сказал мне:

— Ты звони, когда сможешь приехать, чтобы наверняка застать меня дома. Звони, Борис, и мы договоримся.

Сев в автобус, я стал прокручивать в памяти свежие впечатления нашей встречи. Вдруг я вспомнил: в прошлый мой приезд в Москву первая наша встреча с В. Т. очень была похожа на сегодняшнюю. Я подумал о совпадении, но не задержал на этом надолго внимание.

Году в семьдесят втором или третьем (в то время В. Т. жил уже на Васильевской улице, и мы вернулись в Москву), будучи где-то очень близко от его дома, я решил заглянуть к нему, проведать. Дверь открыл В. Т. и сказал, разводя руками, что принять меня сейчас не может, так как у него посетитель, с которым предстоит ему долгий и трудный деловой разговор. Просил извинить его и настаивал:

— Ты приезжай, я всегда тебе рад. Но ты звони, пожалуйста, звони, Борис.

Я вышел на улицу немного растерянный и смущенный. Пытался представить себя на его месте, как я возвращаю его с порога своего дома. Мне это казалось тогда невозможным.

Вспомнился 1953 год, Магадан, конец зимы. Поздний вечер, стук в дверь — и на пороге Варлам, с которым мы не виделись и не общались с ноября 1945 г., более семи лет.

— Я из Оймьякона, — сказал Варлам. — Хочу хлопотать о выезде с Колымы. Хочу уладить кое-какие дела. Мне нужно пробыть в Магадане дней десять.

Мы жили тогда рядом с автовокзалом, на Пролетарской улице, в общежитии медицинских работников, где в длинный и темный коридор открывались двери двадцати четырех комнат. Наша комната служила нам и спальней, и детской, и кухней, и столовой. Мы жили в ней с женой и трехлетней дочкой, тогда болевшей, и нанимали для нее няню, западную украинку, отбывшую большой срок в лагерях за религиозные убеждения. По окончании срока ее оставили в Магадане на спецпоселении, как и других евангелистов. Лена Кибич жила у нас.

У меня и у жены неожиданное появление Варлама ни на секунду не вызвало ни сомнения, ни замешательства. Мы уплотнились еще больше и стали делить с ним кров и хлеб.

Сейчас я подумал, что мог бы Шаламов о своем приезде написать загодя или дать телеграмму. Мы бы что-то придумали более удобное для всех нас. Тогда такая мысль не пришла ни ему, ни нам в голову.

Варлам прожил у нас две недели. В выезде ему отказали. Он вернулся на свой таежный медпункт на границе с Якутией, где работал фельдшером после освобождения из лагеря.

Теперь, когда я об этом пишу, я очень его понимаю. Давно уже понимаю. Сейчас мне больше лет, чем было Варламу в шестидесятые годы. Мы оба с женой не очень здоровы. Тридцать два и тридцать пять лет на Колыме не прошли для нас даром. Нежданные гости теперь нас очень стесняют. Когда мы отворяем дверь на неожиданный стук и видим на пороге весьма дальних родственников, поднявшихся на седьмой этаж пешком, несмотря на исправный лифт, или давних знакомых, приехавших в Москву к концу месяца или квартала, у нас невольно напрашиваются слова: «Что же вы, милые, не написали о намерении приехать, не позвонили? Могли не заставить нас дома...» Даже приход соседей без предупреждения нас затрудняет, застаёт часто не в форме и злит порой. Это при всем расположении к людям.

И вот товарищ по лагерю, где каждый был виден как на ладони, человек, с которым ты делил хлеб и баланду, сворачивал одну на двоих сигарку... Предупреждать о приходе, согласовывать встречи не приходило в голову! Не приходило долго.

Теперь я часто вспоминаю Варлама и его уроки хорошего тона, а если точнее — простейших норм общежития. Понимаю его нетерпение, его правоту.

Прежде, в другой нашей жизни, иными были *точки отсчета*.

Особые приметы

Удивительно! Глаза, в которые я так часто и подолгу смотрел, не сохранили в памяти цвета. Зато запомнились присущие им выражения. Глаза были светлыми — светло-серыми или светло-карими. Они были посажены глубоко и смотрели из глубины внимательно и зорко. Лицо его было почти лишено растительности. Небольшой и очень мягкий нос он постоянно мял и сворачивал набок. Казалось, что нос лишен костей и хрящей. Небольшой и подвижный рот мог вытягиваться в длинную тонкую полоску. Когда Варлам Тихонович хотел сосредоточиться, он сгребал губы пальцами и держал их так. Когда предавался воспоминаниям, выбрасывал руку перед собой и внимательно разглядывал ладонь, при этом его пальцы круто изгибались к тыльной стороне. Если что-то доказывал, выбрасывал обе руки вперед, разжав кулаки, и как бы подносил к вашему лицу на раскрытых ладонях свои аргументы. При высоком росте кисть руки была небольшой и не носила даже малых следов физического труда и напряжения. Пожатие ее было вялым.

Он часто упирал язык в щеку, то в одну, то в другую, и водил изнутри языком по щеке.

У него была мягкая, добрая улыбка. Улыбались глаза и чуть заметно рот, его уголки. Когда он смеялся, а это случалось редко, из груди его вырывались странные, высокие, словно рыдающие звуки. Одним из любимых выражений было «Душа из них вон!». При этом он рубил воздух ребром ладони.

Говорил он трудно, подыскивая слова, пересыпая речь междометиями. В его бытовой речи многое оставалось от лагерного бытия. Возможно, это была бравада.

«Вот, купил новые колеса!» — говорил он, довольный, и по очереди выставлял ноги в новых ботинках.

«Вчера весь день кантовался. Отопью пару глотков крушины и по новой валюсь на кровать с этой книгой. Вчера дочитал. Отличная книга. Вот так надо писать! — Он протянул мне нетолстую книгу. — Не знаешь? Юрий Домбровский, «Хранитель древностей». Дарю тебе».

«Темнят, гады, чернуху раскидывают», — говорил он о ком-нибудь.

«Жрать будешь?» — спрашивал он меня. Если я не возражал, мы шли на общую

кухню. Он извлекал откуда-то коробку с остатками вафельного торта «Сюрприз», разрезал на куски, приговаривая: «Отличная жратва! Ты не смейся. Вкусная, сытная, питательная, и готовить не надо». И были в его манипуляциях с тортом широта, свобода, даже некая удаль. Я невольно вспоминал Беличью, там он ел по-другому. Когда мы раздобывали что-нибудь пожевать, он приступал к этому делу без улыбки, очень серьезно. Откусывал понемногу, неторопливо, жевал прочувствованно, внимательно разглядывал то, что ел, поднося близко к глазам. При этом во всем его облике — лице, теле — угадывались необыкновенная напряженность и настороженность. Особенно это чувствовалось в его неторопливых, рассчитанных движениях. Каждый раз мне казалось, сделай я что-нибудь резкое, неожиданное — и Варлам молниеносно отпрянет. Инстинктивно, подсознательно. Или так же мгновенно кинет оставшийся кусок в рот и захлопнет его. Меня это занимало. Возможно, я сам ел точно так же, но себя я не видел. Теперь жена часто упрекает меня, что я ем слишком быстро, увлеченно. Я этого не замечаю. Наверно, это так, наверно, это «оттуда»...

Письмо

В февральском номере «Литературной газеты» за 1972 г. в нижнем правом углу полосы в черной траурной рамочке напечатано письмо Варлама Шаламова. Чтобы о письме говорить, надо его прочитать. Это удивительный документ. Его следует воспроизвести, чтобы произведения такого рода не забывались.

«В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы».

Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветским журналом «Посев» или «Новым журналом», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность. <...>

Я честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении XX съезда Коммунистической партии в моей личной жизни и жизни всей страны.

Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков — по рассказу-два в номере, — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник. <...>

Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию, любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя.

И в прошлые годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается изданием, глубоко враждебным нашему строю, нашему народу.

Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений.

Все сказанное относится к любым другим белогвардейским изданиям за границей.

Зачем же им понадобился я в свои шестьдесят пять лет?

Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, «внутреннего эмигранта», господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся!

С уважением

Варлам Шаламов

Москва

15 февраля 1972 года».

Когда я наткнулся на это письмо и прочитал его, то понял, что над Варламом учинено еще одно насилие, грубое и жестокое. Не публичное отречение от «Колымских рассказов» поразило меня. Старого, больного, измученного человека нетрудно было вынудить к этому. Язык поразило меня! Язык этого письма рассказал мне обо всем, что случилось, он — неопровержимая улика. Таким языком Шаламов изъясняться не мог, не умел, не был способен. Не может говорить таким языком человек, которому принадлежат слова:

Пускай я осмеян
И предан костру,
Пусть прах мой развезя
На горном ветру,

Нет участи слаще,
Желанней конца,
Чем пепел, стучащий
В людские сердца.

Так звучат последние строки одного из лучших стихотворений Шаламова, носящего весьма личный характер, — «Авакум в Пустозерске». Вот что для Шаламова значили «Колымские рассказы», от которых его заставили публично отречься. И, как бы предвидя это роковое событие, в книге «Дорога и судьба» он написал следующее:

Меня застрелят на границе,
Границе совести моей,
И кровь моя зальет страницы,
Что так тревожила друзей.

Пусть незаметно, малодушно
Я к страшной зоне подойду,
Стрелки прицелятся послушно,
Пока я буду на виду.

Когда войду в такую зону
Непоэтической страны,
Они поступят по закону,
Закону нашей стороны.

И, чтоб короче были муки,
Чтоб умереть наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как руки лучшего стрелка.

Мне стало ясно: Шаламова заставили подписать это удивительное «произведение». Это в лучшем случае...

Как ни парадоксально, автор «Колымских рассказов», человек, которого с 1929-го по 1955 г. волочили по тюрьмам, лагерям, пересылкам сквозь болезни, голод и холод, никогда не слушал западных «голосов», не читал «самиздата». Я знаю это точно. Он не имел ни малейшего представления об эмигрантских журналах и вряд ли названия их слышал раньше, чем поднялся шум по поводу публикаций ими отдельных его рассказов...

Читая это письмо, можно подумать, что Шаламов был подписчиком «зловонных журналчиков» и добросовестно их изучал от корки до корки: «И в прошлые годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается...»

Самые страшные слова в этом послании, а для Шаламова они просто убийственные: «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью...»

Добровольно отречься от «Колымских рассказов» и их проблематики Шаламов не мог. Это было равносильно самоубийству для человека, писавшего:

Я вроде тех окаменелостей,
Что появляются случайно,
Чтобы доставить миру в целости
Геологическую тайну.

9 сентября 1972 г., простившись с Магаданом, мы с женой вернулись в Москву. Я отправился к В. Т., как только появилась возможность. Он первым заговорил о злополучном письме. Он ждал разговора о нем и, похоже, готовил себя к нему.

Он начал без каких-либо обиняков и подходов к вопросу, почти без приветствия, от порога.

— Ты не думай, что кто-то заставил меня подписать это письмо. Жизнь меня заставила сделать это. А как ты считаешь, я могу прожить на семьдесят рублей пенсии? После напечатания рассказов в «Посеве» двери всех московских редакций для меня оказались закрытыми. Стоило мне зайти в любую редакцию, как я слышал: «Ну что вам, Варлам Тихонович, наши рубли! Вы теперь человек богатый, валютой получаете...» Мне не верили, что, кроме бессонницы, я не получил ничего. Пустили, сволочи, рассказы в розлив и на вынос. Если бы напечатали книгой! Был бы другой разговор... А то по одному-два рассказа. И книги нет, и здесь все дороги закрыты.

— Ну, хорошо,— сказал я ему,— я понимаю тебя. Но что там написано и как там написано? Кто поверит, что писал это ты?

— Меня никто не заставлял, никто не насиловал! Как написал — так написал.

Красные и белые пятна пошли по его лицу. Он метался по комнате, открывал и закрывал форточку. Я постарался его успокоить, сказал, что верю ему. Сделал все, чтобы от этой темы уйти.

Трудно признаться, что над тобой совершено насилие, даже себе трудно в этом признаться. И трудно жить с этой мыслью.

От этого разговора у нас обоих — у него и у меня — остался тяжелый осадок.

В. Т. не сказал мне тогда, что в 1972 г. готовилась к выходу новая книга его стихов «Московские облака» в издательстве «Советский писатель». К печати она была подписана 29 мая 1972 г....

Шаламов действительно не вступал в какие-либо отношения с названными журналами, в этом нет никакого сомнения. Ко времени публикации рассказов в «Посеве» они давно уже ходили в стране по рукам. И нет ничего удивительного в том, что они попали и за рубеж. Мир стал тесен.

Муха

Когда Варлам Тихонович разошелся с Ольгой Сергеевной, но оставался еще под одной с нею крышей, он поменялся с Сережей местами: Сережа перешел к матери в комнату, а маленькую комнату занял В. Т. Под узким окном в фанерной коробке на тумбочке рядом с Варламом поселилась черная гладкая кошка с умными зелеными глазами. Он называл ее Мухой. Муха вела свободный, независимый образ жизни. Все естественные отправления совершала на улице, из дома выходила и возвращалась через открытую форточку. А котят рожала в коробке.

К Мухе В. Т. был очень привязан. В долгие зимние вечера, когда он сидел за рабочим столом, а Муха лежала у него на коленях, свободной рукой он мял ее мягкий, подвижный загривок и слушал мирное урчание кошки — хранительницы свободы и домашнего очага, который хотя и не крепость твоя, но и не камера, не барак, во всяком случае.

В 1966 г. летом Муха вдруг пропала. В. Т., не теряя надежды, искал ее по всей округе. На третий или четвертый день он нашел ее труп. Возле дома, где жил В. Т., вскрывали траншею, меняли трубы. В той траншее он и нашел Муху с разбитой головой. Это привело его в невменяемое состояние. Он неистовствовал, бросался на ремонтных рабочих, молодых, здоровых мужиков. Они смотрели на него с великим удивлением, как смотрит кошка на кидаящуюся на нее мышшь, пытались его успокоить. Целый квартал был поднят на ноги.

Мне кажется, я не преувеличу, если скажу, что это была одна из самых больших его привязанностей и тяжелых потерь.

Выщербленная лира,
Кошачья колыбель —
Это моя квартира,
Шиллеровская щель.

Здесь нашу честь и место
В мире людей и зверей
Оберегаем вместе
С черною кошкой моей.

Кошке — фанерный ящик,
Мне колченогий стол,
Ключья стихов шуршащих
Снегом покрыли пол.

Кошка по имени Муха
Точит карандаши.
Вся — напряженье слуха
В темной квартирной тиши.

Муху В. Т. похоронил и еще долго оставался в удрученном, подавленном состоянии.

Как-то я сфотографировал Варлама Тихоновича с Мухой на коленях. На снимке его лицо излучает покой и умиротворенность. Варлам называл этот снимок самым любимым из всех снимков послелагерной жизни. Между прочим, у этого снимка с Мухой были дубли. На одном из них у Мухи получились как бы двоянные глаза. В. Т. это страшно заинтриговало. Он никак не мог понять, каким образом такое могло получиться. А мне это непонимание казалось забавным — при его-то разносторонности и гигантской эрудиции. Я объяснял ему, что, снимая в слабоосвещенном помещении, вынужден был увеличить экспозицию, выдержку. Реагируя на двойной щелчок аппарата, кошка моргнула, и аппарат зафиксировал ее глаза в двух положениях. Варлам слушал с недоверием, и мне казалось, что ответом он не удовлетворен...

В. Т. я фотографировал много раз и по его просьбе, и по своему желанию. Когда готовилась к печати его книга стихов «Дорога и судьба» (я считаю этот сборник одним из лучших), он попросил снять его для издательства. Было холодно. Варлам был в пальто и в шапке-ушанке с болтающимися тесемками. Мужественный, демократичный облик на этом снимке. В. Т. его и отдал в издательство. К сожалению, благонамеренная ретушь сгладила суровые черты лица. Я сравниваю подлинник с портретом на суперобложке и вижу, как много потеряно.

Что же касается Мухи, Кошки, — она всегда была для Варлама символом свободы и домашнего очага, антипода «мертвого дома», где голодные, одичавшие люди поедали своих извечных друзей — собак и кошек.

О том, что на знамени Спартака была изображена голова кошки как символ свободолобия и независимости, впервые я узнал от Шаламова.

Кедровый стланик

Кедрач, или кедровый стланик, — кустистое растение с мощными древовидными ветвями, достигающими толщины в десять — пятнадцать сантиметров. Ветки его покрыты длинными темно-зелеными иглами. Летом ветви этого растения стоят почти вертикально, устремляя свою пышную хвою к не очень жаркому колымскому солнцу. Ветка стланика щедро усыпана мелкими шишками, наполненными тоже мелкими, но вкусными настоящими кедровыми орешками. Таков кедрач летом. С наступлением зимы он опускает свои ветви к земле и прижимается к ней. Северные снега покрывают его толстой шубой и сохраняют до весны от лютых колымских морозов. А с первыми весенними лучами он пробивает снежный покров. Всю зиму он стелется по земле. Вот почему кедрач называют стлаником.

Между небом весенним и небом осенним над колымской землей не столь уж большой промежуток. А поэтому, как и следует ожидать, не очень рослая, не очень броская, не очень пышная северная флора спешит, торопится зацвести, процвести, отплодоносить. Спешат деревья, спешат кустарники, спешат цветы и травы, спешат лишайники и мхи — все спешат уложиться в отведенные им природой сроки.

Великий жизнелюб, стланик плотно прижался к земле. Лег снег. Сизый дымок из трубы магаданского хлебозавода изменил направление — он потянулся к бухте. Кончилось лето.

Как встречают на Колыме Новый год? С елкой, конечно! Но ель на Колыме не растет. Колымская «елка» делается так: срубается лиственница нужного размера, наголо обрубаются ветки, ствол обсерливается, в отверстия вставляются ветки стланика. И чудо-елка ставится в крестовину. Пышная, зеленая, ароматная, заполняющая помещение терпким запахом теплой смолы, новогодняя елка — большая радость для детей и для взрослых.

Колымчане, вернувшиеся на «материк», к настоящей елке привыкнуть не могут, с нежностью вспоминают составную колымскую «елку».

У Шаламова о кедровом стланике написано много и в стихах, и в прозе. Рассказу об одном эпизоде, вызвавшем к жизни два произведения Варлама Шаламова, прозаическое и поэтическое, — рассказ и стихотворение.

В растительном мире Колымы два символических растения — это кедровый стланик и лиственница. Мне кажется, кедровый стланик символичен в большей степени.

К новому 1964 г. авиабандеролью я послал из Магадана в Москву Варламу Тихоновичу несколько свежесрезанных веток стланика. Он догадался поставить стланик в воду. Стланик жил в доме долго, наполняя жилище запахом смолы и тайги. В письме от 8 января 1964 г. В. Т. писал:

«Дорогой Борис, жестокий грипп не дает мне возможности поблагодарить тебя достойным образом за твой отличный подарок. Самое удивительное, что стланик оказался невиданным зверем для москвичей, саратовцев, вологжан. Нюхали, главное, говорили: «Пахнет елкой». А пахнет стланик не елкой, а хвоей в ее родовом значении, где есть сосна, и ель, и можжевельник».

Прозаическое произведение, навеянное этим новогодним подарком, — рассказ. Он посвящался Нине Владимировне и мне. Здесь уместно сказать, что Нина Владимировна Савоева, бывший главный врач больницы на Беличьей, в 1946 г., через год после моего освобождения, стала моей женой.

Когда Варлам Тихонович пересказывал продуманное им содержание будущего рассказа, я не согласился с некоторыми его положениями и деталями. Просил их убрать и не называть наших имен. Он внял моим пожеланиям. И родился рассказ, который мы знаем теперь под названием «Воскрешение лиственницы».

Стихотворение опубликовано в 1967 г. в книге стихов «Дорога и судьба». Звучит оно так:

Я не лекарственные травы
В столе храню,
Их трогаю не для забавы
Сто раз на дню.

Я сохраняю амулеты
В черте Москвы,
Народной магии предметы —
Клочки травы.

В свой дальний путь,
В свой путь не детский
Я взял в Москву —
Как тот царевич половецкий
Емшан-траву,—

Я ветку стланика с собою
Привез сюда,
Чтоб управлять своей судьбою
Из царства льда.

Так иногда незначительный повод вызывает в воображении мастера художественный образ, рождает идею, которая, обретая плоть, начинает долгую жизнь как произведение искусства.

Время

В 1961 г. в издательстве «Советский писатель» тиражом в две тысячи экземпляров вышла первая книга стихов Шаламова — «Огниво». Варлам прислал ее нам со следующей надписью: «Нине Владимировне и Борису с уважением, любовью и глубочайшей признательностью. Беличья — Ягодный — Левый берег — Магадан — Москва. 14 мая 1961 года. В. Шаламов».

Мы с женой от души радовались этой книжке, читали ее друзьям и знакомым. Мы гордились Варламом.

В 1964 г. вышла вторая книжка стихов, «Шелест листьев», тиражом в десять раз большим. Варлам прислал ее. Мне хотелось, чтобы вся лагерная Колыма знала, что человек, прошедший через ее жернова, не утратил способности к высокой мысли и глубокому чувству. Я знал, что ни одна газета не напечатает того, что я хотел бы и мог рассказать о Шаламове, но дать о нем знать мне очень хотелось. Я написал отзыв, называя обе книжки, и предложил «Магаданской правде». Его напечатали. Несколько экземпляров я послал Варламу в Москву. Он попросил прислать еще сколько возможно номеров этой газеты.

Небольшой отклик на «Шелест листьев» Веры Инбер в «Литературке» и мой в «Магаданской правде» — это было все, что появилось в печати.

В 1967 г. у В. Т. вышла третья книга стихов, «Дорога и судьба», как и предыдущие, в издательстве «Советский писатель». Каждые три года — книга стихов. Стабильность, регулярность, основательность. Зрелые, мудрые стихи — плоды мысли, чувства, неординарного жизненного опыта.

Уже после появления второй книги литераторы с именем, достойные уважения, предлагали ему свои рекомендации в Союз писателей. О предложении Л. И. Тимофеева, литературоведа, членкора АН СССР, мне рассказывал сам В. Т. В 1968 г. Борис Абрамович Слуцкий говорил мне, что тоже предлагал Шаламову свою рекомендацию. Но В. Т. вступать в СП тогда не хотел. Он объяснял это тем, что ставить свою подпись под декларацией этого Союза ему не с руки, брать на себя сомнительные, как ему казалось, обязательства он считает невозможным. Это была его позиция того времени. Несколько позже в СП он все же вступил.

Но время, выпенно говоря, бесстрастно, а действие его на нас неотвратимо и разрушительно. И возраст, и вся безумная, недоступная пониманию нормального человека, страшная тюремнолагерная одиссея Шаламова проявляла себя все заметнее и заметнее.

Как-то я заехал на Хорошевское, 10. Варлама Тихоновича не было дома, встретила меня Ольга Сергеевна приветливо, как всегда. Мне показалось, что она рада моему приходу. Я был человеком, который знал их отношения с В. Т. с самого начала. Я оказался тем, перед кем она смогла выплеснуть всю свою тоску, горечь и разочарование.

Глядя на цветы, которые она ставила в вазу, Ольга Сергеевна еще больше грустнела, опечалилась. Мы сели друг против друга. Она говорила, я слушал. Из ее рассказа я понял, что они с Варламом давно уже не муж и жена, хотя и продолжают жить под одной крышей. Характер его стал несносен. Он подозрителен, всегда раздражен, нетерпим ко всем и всему, что противоречит его представлениям и желаниям. Он терроризирует продавщиц магазинов ближайшей округи: перевешивает продукты, тщательно пересчитывает сдачу, пишет жалобы во все инстанции. Замкнут, озлоблен, груб.

Я ушел от нее с тяжелым сердцем. Это была наша последняя с ней встреча и беседа. Вскоре В. Т. получил комнату тоже в коммунальной квартире, этажом выше.

Варлам Тихонович был уверен, что все его соседи по новой квартире стукачи, специально к нему приставленные, что за каждым его шагом следят, что телефон прослушивается и, вполне вероятно, комната тоже. Когда он хотел поговорить со мной «без свидетелей», мы одевались, выходили на улицу, он брал меня под руку, и мы бродили по не очень шумным боткинским проездам и переулкам. Слышал в это время В. Т. совсем плохо, так что говорил преимущественно он. Брал меня он под руку еще и потому, что походка его была неустойчивой, а так он чувствовал себя увереннее. Опираясь на руку, он все время пальцами мял мою руку. Эти движения пальцами остались как привычка общения с кошкой Мухой, с которой он проводил большую часть своего одиночества.

В. Т. заметно менялся за последние годы (шестидесятые, семидесятые). Суждения его стали категоричными, возражения раздражали, тон стал менторским, вещательским, пророческим. Резко менялось его отношение к людям, недавним его кумирам. О Солженицыне, знакомство с которым так ему льстило еще недавно, он стал отзываться неприязненно. Он объяснял это тем, что позицию и поведение Солженицына считает авантюрными, что Александр Исаевич предлагал ему держаться активного единства и на этой почве произошел их полный разрыв.

Более демонстративно и более неожиданно для меня проявилось это новое в нем в отношении Бориса Леонидовича Пастернака. После освобождения из лагеря В. Т. работал фельдшером медпункта небольшого таежного поселка на границе с Якутией. Оттуда он послал Пастернаку письмо со своими стихами. Пастернак ответил быстро теплым письмом. Завязалась переписка. Ею В. Т. очень гордился, называл Пастернака поэтом милостью Божьей, самым значительным из современников и человеком высочайших достоинств. Письма его он бережно сохранял и как-то уже в Москве попросил меня переснять их. Я сказал, что могу сделать это безупречно только в Магадане, куда я вскоре возвращаюсь, что там у меня для этого есть все условия — и аппаратура, и освещение, и материал, а здесь, в Москве, с собой лишь примитивная камера, малоприспособленная для этой цели.

В. Т. не хотелось надолго расставаться с письмами, и он уговорил меня попытаться переснять их в Москве теми средствами, что есть. У себя в московской квартире, которая с 1964-го по 1972 г. стояла пустой, я устроился на подоконнике, приладил к объективу насадочную линзу и без экспонометра и мерной линейки письма отснял. Репродукция получилась недостаточно качественная. Съемка делалась с близкого расстояния, точно учесть смещение кадра (параллакс) я не мог, и правый край листа на некоторых письмах оказался чуть-чуть срезанным на одну-две буквы. Отпечатки я сделал уже в Магадане. Отправляя их, я еще раз предложил В. Т. прислать письма в Магадан ценной бандеролью или посылать их по одному, по возвращении предыдущего. Он не решился, а, возможно, нашел надежный способ снять с них копии в Москве. О письмах я его больше не спрашивал.

В одну из наших встреч, после смерти Бориса Леонидовича, он как-то между прочим бросил:

— Вообще-то говоря, Пастернак не был столь выдающимся поэтом, каким некоторые пытаются его представить...

Эти неожиданные слова меня обескуражили. Я почувствовал себя от них уютно. Сказал ему: «До сих пор я слышал от тебя отзывы о нем лишь восторженные, полные почитания». Наш разговор на этом что-то прервало. К этой теме мы уже не возвращались.

В книге стихов Варлама Шаламова «Дорога и судьба» (1967) стихотворение «От кухни и передней...» дано с посвящением Борису Пастернаку. В книге «Точка кипения» (1977) посвящение снято. Возможно, непреднамеренно.

У В. Т., по его словам, к 1960 г. из колымских, лагерных друзей остались в живых трое: Федор Ефимович Лоскутов, глазной врач, с которым он познакомился на фельдшерских курсах в больнице УСВИТЛ, а может, знал еще по приску «Партизан»; Андрей Максимович Пантюхов, врач-терапевт, в палате которого в 1943 г. ле-

жал В. Т. на Беличьей. Пантюхова он вывел в рассказах «Домино» и «Курсы». Третий — я, младший по возрасту.

Первым ушел из жизни Лоскутов, батальонный комиссар гражданской войны, человек высоких моральных качеств, достойный всяческого уважения. 25 ноября 1983 г. в Павлодаре скончался Андрей Максимович Пантюхов, поддерживавший переписку после лагеря и со мной, и с Варламом. Приезжая из Павлодара в Москву, он всегда искал встречи с нами обоими.

До больницы Севлага и Пантюхов, и я работали в лагерной больнице прииска Верхний Ат-Урях. Во время реорганизации этого прииска в феврале 1943 г. по наряду санотдела Севлага оба были переведены на Беличью. Наши дружеские отношения мы пронесли через всю жизнь.

Когда странности Варлама стали бросаться в глаза, мы с Пантюховым обменялись тревожными письмами. Наблюдения наши и оценки совпали.

Последний раз В. Т. был у нас дома в 1976 г. Он приехал к нам на троллейбусе (рельсовый транспорт, в том числе и метро, он не переносил из-за жесткой вибрации — результат давней и тяжелой болезни вестибулярного аппарата). С Ниной Владимировной он не виделся с 1957 г. Она рада была его приезду, приняла со всей открытостью своего характера и с радушием, на какое только была способна. Варлам был радостроган этой встречей.

Проблема нембутала, которая оставалась для В. Т. одной из насущных, а потому касалась и нас, вскоре привела к малоприятному и жесткому разговору, а потом и к переписке в той же тональности. В. Т. требовал от нас правильно и своевременно оформленных рецептов в соответствии с постоянно меняющимися инструкциями Минздрава. Настаивал на регулярной присылке рецептов. Одно из его писем было грубым и раздраженным. Он писал нам в Друскининкай, куда я возил жену на лечение. Я ответил ему тоже в повышенном тоне, уже который раз объясняя, что ни я, ни Нина Владимировна доступа к рецептам давно не имеем и что только при случае можем попросить нембутал для себя в районной поликлинике у участкового врача. Больше Варлам не писал.

По времени примерно в тот же период у нас с Варламом состоялся разговор, тоже оказавший влияние на наши последующие отношения. Жалуясь на ухудшающееся здоровье, понижение трудоспособности, он сказал, что очень дорожит остающимся временем, что хотел бы успеть сделать хотя бы малую часть того, что задумано. А силы тают. Он сказал, что нуждается в полном покое, почти в изоляции, хочет, чтобы его имя не привлекало к себе внимания. Поэтому предельно ограничивает круг своих знакомств и контактов. После этого разговора я решил инициативу в наших взаимоотношениях предоставить ему. В это время он уже не подходил к телефону. Приезжать к нему без приглашения я не мог. По нескольку раз в году я писал ему письма, в которых напоминал, что мы еще на ногах и, если он нуждается в какой-либо помощи, на нас может рассчитывать полностью. Ни на одно из этих писем мы не получили ответа.

В 1979 г. я перенес обширный крупноочаговый инфаркт и в последующие два-три года оставался под давлением этого заболевания.

Варлам молчал. Время от времени до нас доходили его новые публикации. Мы понимали, что возле него кто-то есть и сейчас он в нас не нуждается. Принцип Варлама «не поддерживать старых знакомств, ибо они не несут свежей информации», был нам известен. Тем не менее его судьба беспокоила нас. Сам я тогда не мог, поехала к нему на Васильевскую Нина Владимировна. Соседи по квартире сказали, что там он уже не живет, что Литфонд определил его в дом для престарелых, какой именно — они не знают, что последнее время он был не в состоянии себя содержать.

Жена дважды ходила в Литфонд, но и там никто не мог сказать о нем что-нибудь определенное. Мы искали его через Горсправку — безрезультатно. Сохранились ответы Горсправки. Все же нашли место его пребывания. Это был дом инвалидов № 9 на улице Вилиса Лациса, 3.

Посетить там В. Т. мы уже не успели. 19 января 1982 г. западное радио оповестило о его смерти. До нас это известие дошло лишь на следующий день. Я позвонил в дом инвалидов № 9. Человек, взявший трубку, был любезен, доброжелателен, отвечал на все вопросы и рассказал следующее.

Шаламов умер в доме инвалидов № 32 для невменяемых, куда был переведен накануне. Причиной же перевода послужило то, что, по словам дежурных, в месте общего пользования Шаламов якобы оставил открытым водопроводный кран. Раковина переполнилась, и вода затопила этаж. С директором этого заведения у Шаламова и раньше были острые столкновения. Случившееся директор расценил как умысел и силой перевел Шаламова в дом для невменяемых. Варлам Тихонович протестовал и сопротивлялся. Все это его потрясло и привело к смерти.

— Сегодня,— сказал тот человек,— в одиннадцать часов утра состоялась панихида в Вешнях, в церкви, а похоронили Шаламова на Ново-Кузьминском кладбище*.

Кто были люди, взявшие на себя заботу о покойном Шаламове, его похороны, я не знаю. Очевидно, новые друзья и знакомые.

Варлам Тихонович был жертвой произвола и насилия в течение всей своей жизни. И конец ее, по всем законам классической трагедии, завершился под тем же зловещим знаком.

Я вспомнил слова, очень верно кем-то сказанные: «Россия, бросающая камни в своих пророков, по вековой традиции убивающая своих поэтов».

Детали и частности

Зимой 1946 г. Шаламов попал на этап в Индигирское управление, может быть, самое гиблое, суровое место этого края. По дороге на Индигирку этап заночевал в Сусумане, в пересыльной зоне комендантского лагеря. Заключенный врач Андрей Максимович Пантюхов, с которым мы вместе приехали с Верхнего Ат-Уряха на Беличью, снял Шаламова с этапа, а вскоре отправил его на курсы фельдшеров, организованные при больнице СВИТЛА под Магаданом.

Между прочим, ни в «Колымских рассказах», во многом биографичных, ни в автобиографических записях разных лет Беличь в судьбе Шаламова не фигурирует или почти не фигурирует. А это два с лишком колымских лагерных года, где счет шел на дни, а иногда и часы.

Я обратил на это внимание совсем недавно, когда познакомился с «Автобиографией», «Воспоминаниями разных лет», рассказом «Поездка на Олу». Из «Колымских рассказов» я вспомнил «Домино», «В больницу», «Облаву», «Спецзаказ». Сопоставив, тщательно выверив факты, я пришел к некоторым выводам.

В течение всей послелагерной жизни Варлам строил свою биографию, тщательно отбирая для нее подходящие факты, даты и краски. Иногда он позволял смещение во времени и событиях, отбрасывал то, что не украшало автопортрет, или привносил в него что-то.

Два с лишним года, проведенные на Беличьей в тепле и покое (культорг больницы, читающий лагерную газету в палатах и выпускающий временами стенную газету), разрывали цепь непрерывных страданий и унижений. Вот почему в «Колымских рассказах» больница Севлага нигде ни разу не упоминается, разве что мельком в рассказе «Облава». Этот рассказ написан достаточно близко к жизненной правде, но краски сильно сгущены. В нем повествуется, как в промывочный сезон администрация лагеря забирала для приисков здоровых людей из числа хозобслуги, санитаров и выздоравливающих больных. В рассказе его герой — Крист (читай — Шаламов) самовольно уходит от облавы в лес и там пережидает отъезд начальства. Автор умалчивает о том, что в действительности еще до приезда начальства в лес Криста отправила главврач, обычно узнававшая об «облавах» заблаговременно. Так она сберегала людей, на которых держалась больница, основной ее костяк. Крист не относился к этой категории, тем не менее главврач и его спасала от облав более двух лет, пока сама оставалась в этой больнице. Она причисляла его к тонкому и хрупкому социальному слою интеллигенции, который формирует культуру и нравственность народа. Рослый, но слабый физически Шаламов вряд ли выдержал бы вторично забой.

В лагерной больнице на Беличьей тяжелым больным с плохим аппетитом предлагалось заказывать индивидуальные блюда («Что бы ты съел?»), это почти всегда помогало восстановить аппетит и способствовало выздоровлению.

Н. В. Савоева (крестьянская дочь) приняла эту больницу в 1942 г. очень запущенной, расхлябанной, неустроенной и немедленно приступила к строительству подсобного хозяйства. Уже на следующий год большая теплица добавляла к больничному скудному питанию свежие помидоры, зеленый лук, огурцы. А открытый грунт поставлял морковь, репу, капусту. Летом под присмотром кого-нибудь из фельдшеров или санитаров выздоравливающие собирали на зиму бруснику, грибы, черемшу. Два человека ловили в реке Дебине рыбу. Главный врач строго следила за хранением и распределением своего основного терапевтического «арсенала». Все тяжелые больные большой больницы находились под ее личным наблюдением. О каждом из них она знала все. Блюдами по заказу — «спецзаказом», а затем двойным больничным рационом были поставлены на ноги и В. Шаламов, и М. Миндлин, ныне прожи-

* В действительности Шаламов похоронен на Старо-Кунцевском.

вающий в Москве, тоже человек почти двухметрового роста, в плачевном состоянии поправший на Беличью, вспоминающий теперь со слезами благодарности и больниц, и Маму Черную. Так называла лагерная Колыма Нину Владимировну. И прозвище это было синонимом Беличьей.

Читая «Автобиографию» В. Шаламова, датированную 1964 г., я обратил внимание, как он характеризует свои рассказы в плане литературном. Вот как он об этом пишет:

«Рассказы мои — не рассказы в обычном смысле. Именно здесь, в Решетникове, в поселке Туркмен (1953—1956 гг. — Б. Л.) я сделал попытку реализовать те новые идеи в прозе, которые занимали меня всю жизнь, попытку выйти за пределы литературы».

Очень хотелось понять, какой смысл вкладывается в эти слова, что подразумевается под сказанным. Но этого Шаламов здесь не говорит, предоставляя читателю, критику, литературоведу разобраться самим.

Я — читатель. «Колымские рассказы» в определенном смысле и обо мне, о моей лагерной жизни. Наши судьбы с Шаламовым во многом схожи. Мы оба из Бутырской тюрьмы были брошены на колымское золото, где «балом правил сатана». Оба голодом, холодом и непосильным трудом были доведены до полного, предельного истощения и авитаминоза. Я проработал на прииске четыре года. Варлам — немногим более двух. Я был моложе и продержался дольше. Обоих от смерти, на пороге которой мы оба стояли, спасла медицина, вылечив и приняв в свое лоно. Литературно одаренный Шаламов после реабилитации посвятил себя стихам и прозе. Я, не удовлетворенный фельдшерской долей, лишенный возможности завершить врачебное образование, окончил политехнический заочный институт и до возрастной пенсии проработал инженером на машиностроительном заводе.

Мне известно, как писались многие из колымских рассказов Шаламова. Я посылал Варламу из Магадана в Москву справочную литературу, архивные документы, сведения об интересующих его людях. Сохранилась переписка. Некоторых персонажей его рассказов я знал лично и ближе, чем он. Многие описанные им события происходили на моих глазах или рядом со мной.

Думая над «Колымскими рассказами», восхищаясь их силой, их мощью, я удивлялся своеобразию толкования отдельных событий или явлений, а также характеристикам тех или иных персонажей, названных настоящими именами, умерших или еще живых. Удивлялся вольному толкованию их судеб и поступков. Одни и те же персонажи в разных рассказах изображаются по-разному («Флеминг» — в рассказах «Курсы» и «Букнист»; Сергей Лунин — в рассказах «Потомок декабриста», «Инженер Киселев», «Шоковая терапия»). Герой двух рассказов, где описано одно и то же событие, в одном случае именуется майором Пугачевым («Последний бой майора Пугачева»), в другом — полковником Яновским («Зеленый прокурор»); один и тот же персонаж назван в рассказе «Курсы» Яковом Давидовичем Уманским и Яковом Михайловичем Уманским — в рассказе «Вейсманист».

Теперь мне кажется, что я понимаю слова: «Сделал попытку выйти за пределы литературы». Я понял это как совмещение художественной прозы с документальностью мемуаров. Такая проза позволяет воспринимать ее как мемуары, обретая одновременно право на домысел и вымысел, на произвольное толкование судеб героев, сохраняя их настоящие имена. Показательными примерами такой прозы являются рассказы «Инжектор», «Калигула», «Экзамен», «Город на горе» да и «Воскрешение лиственницы», где пышный вымысел перемешан с клочками собственной биографии.

Разными глазами

Помню один разговор с Варламом на Беличьей. Он говорил мне о событии, свидетелями которого мы были оба. То, что он говорил, не было похоже на то, что я видел и слышал. Оценки его совершенно не совпадали с моими. Я был молод и самонадеян, собственным наблюдениям доверял полностью. Я ему возражал. Он же в ответ развивал стройную, связную концепцию. Но она не убеждала меня. Уже тогда я подумал: что это? Или он видит дальше и глубже меня, или мир им воспринимается иначе, нежели мною? Я относился с большим уважением к нему, его жизненному опыту, его знаниям, недюжинности. Но я и себе верил, и это сбивало меня с толку.

Позже я не единожды вспоминал этот разговор на Беличьей и приходил к мысли, что сработывал в Шаламове врожденный писатель, который и обобщал, и домысливал, и воображением дополнял то, чего не хватало для созданной им самим картины. Эта догадка моя подтвердилась во многом, когда впервые читал его «Колымские рассказы». Большая часть «Колымских рассказов» документальна, их персонажи не вымышлены —

сохранены имена. В рассказах они нередко приобретают иную плоть и иную окраску. Все это я относил к естественной разнице между правдой жизни и правдой художественной, о которой у меня было не очень четкое, книжное представление.

Сам Шаламов писал мне об этом в письме от 23 марта 1963 г.:

«Помнить нужно вот что: успех художественного произведения решает его новизна. Эта новизна многосторонняя: новизна материала или сюжета, идеи, характеров, психологических наблюдений, которые должны быть новы, тонки и точны, новизна описаний в пейзаже, в портрете; свежесть и своеобразие языка. Второе, что тебе надо очень хорошо понять: *правда действительности и художественная правда — вещи разные* (курсив мой. — Б. Л.). Истинно художественное произведение — всегда отбор, обобщение, вывод. В рассказе нужна выдумка, вымысел, «заострение сюжета». К основной схеме должны быть присоединены наблюдения разновременные, ибо рассказ — не описание случая. Третье: наша сила в нашем материале, в его достоверности. И любой прямой мемуар в полном согласии с датами и именами более «соответствует» нашим знаниям о предмете.

У произведения, имеющего вид документа, — сила особая».

Как правило, свои рассказы В. Т. писал легко, писал от руки почти начисто, с очень незначительными последующими правками. Так написаны, например, рассказы «Огонь и вода», «Галстук», «Ночью». Очевидно, они писались, будучи надежно выношенными.

Мне очень хочется рассказать немного не о писателе Шаламове, а о Шаламове-человеке, его характере в будничной, повседневной жизни. Характер у Варлама Тихоновича, как я понял из прозы Шаламова и других публикаций, конечно, отцовский — он был честолюбив, тщеславен, эгоистичен. Я затрудняюсь сказать, чего было больше. К этим чертам еще можно прибавить злопамятность, зависть к славе, мстительность.

Вот что пишет Шаламов об отце в «Четвертой Вологде»:

«Чрезмерной душевной тонкости был чужд отец»; «Скромность отец не считал достоинством»; «Скрывать свое умение, свое превосходство отец не имел привычки».

А вот как писал В. Т. о себе:

«Учитель пения поглядел на меня с интересом, и тщеславное сердце мое забилося ожиданием очередной победы»; «Мне все равно всюду было тесно, тесно было на сундуке, где я спал в детстве много лет, тесно в школе, в родном городе. Тесно было в Москве, тесно в университете. Тесно было в одиночке Бутырской тюрьмы. Мне все время казалось, что чего-то не сделал, не успел... Не сделал ничего для бессмертия, как двадцатилетний король Карлос у Шиллера»; «Я вернулся в школу к Куклиной».

— Вы будете гордостью России, Шаламов» («Четвертая Вологда»); «Ночью 1931 г. я стоял на берегу Вишеры и размышлял на важную, большую для меня тему: мне уже двадцать четыре года, а я еще ничего не сделал для бессмертия» (рассказ «В лагере нет виноватых»).

И о себе, и о своих близких Шаламов писал порой откровенно до жестокости:

«Хотя у нас была большая семья, но она не выполнила главного назначения многодетных семей — пенсионного обеспечения стариков. В нашей семье дети не заплатили долга родителям... Никаких денег ни Галя, ни Валерий никогда маме не посылали... Я посылал только тогда, и в очень скромных пределах, когда не сидел в тюрьме» («Четвертая Вологда»); «Ведь своего поведения я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался... Я не буду искать «полезных» знакомств, давать взятки» (рассказ «Сухим пайком»).

Не каждый, опустившийся на самое дно бытия, предавал, клеветал, давал взятки, доносил, крал или брал взятки. Много есть еще заповедей всеобщей и христианской морали. У Варлама не всегда слова соответствовали делу: он искал и находил «полезные» знакомства. В лагере — хотя бы Сергей Лунин, потомок декабриста, Андрей Пантюхов, Нина Владимировна, я. Делал подношения: в Москве после лагеря носил редакционным дамам букетики цветов в портфеле и улыбался смущенно, объясняя мне, что такова жизнь. На левом берегу в больнице СВИТЛа на хирурга Сергея Михайловича Лунина написал донос. На того самого Лунина, который ранее на Аркагале спас Шаламова от испепеляющего гнева и ненависти начальника участка. Сделал это Лунин с ущербом собственным интересам (см. рассказы «Инженер Киселев» и «Потомок декабриста»). Лунин сделал Варламу много доброго, разве что не снабжал его табаком и хлебом ежедневно. Он сам был на лагерной пайке, правда, не

включал в забое на морозе. А Варлам ответил ему черной неблагодарностью: написал донос и облил грязью его имя в своих рассказах, выведя Лунина еще и махровым антисемитом. Зная Лунина по институту Нина Владимировна против этого категорически возражает. Сергей Лунин учился с ней в Первом медицинском на курсе старше. Был старостой хирургического кружка института, которым руководил академик Бурденко. И сам Бурденко, и его ассистенты высоко ценили хирургический талант Лунина, брали его вторым ассистентом на самые сложные операции. Нина Владимировна была членом хирургического кружка. Будущие хирурги души не чаяли в Луinine и ходили о нем хлопотать, когда он внезапно «исчез».

Сам Шаламов в рассказе «Шоковая терапия» (а «шоковая терапия» проводилась только в больнице СВИТЛа) рассказывает о молодом хирурге, заведующем отделением, которого старый невропатолог называет Сережей. Рассказывает с большой симпатией и уважением, показывая его благородство. Очень похоже, что неприязнь Варлама к Луinine, а может быть, и более чем неприязнь появились на какой-то более поздней стадии пребывания Лунина в отделении и носили весьма личный характер — ревность, зависть, уязвленное самолюбие. Возможно, рассказ «Потомок декабриста» — это попытка оправдать и обосновать собственный неблагоприятный поступок, идущий вразрез с объявленным этическим кредо.

«Своим первоочередным долгом я считаю возвращение пощечин, а не подаяний. Такова моя натура, память, моя человеческая суть. Я все помню. Но хорошее я помню сто лет, а плохое — двести» (из «Воспоминаний разных лет»).

Шаламов был человеком страстным, погруженным в себя. Перед ним была Цель. Он шел к ней, не размениваясь на мелочи, жертвуя стоящими на пути, отбрасывая все, что не служило или мешало достижению этой цели. Он не был отягощен ни излишней сентиментальностью, ни деликатностью.

Он был живым человеком, очень сложным, противоречивым, меняющимся во времени, как все живое. Менялись его суждения, его принципы, менялись оценки, менялись и привязанности, если таковые были. Беспольных знакомств Варлам не поддерживал, в дружбу, рожденную в беде, не верил.

«Человек не любит вспоминать плохое... Это один из мудрых законов жизни — элемент приспособления, что ли, сглаживания «острых углов». Вот почему никакая дружба не заводится в очень тяжелых условиях, и очень тяжелые условия вспоминать никто не хочет» («Дорога в ад»).

Последние из приведенных высказываний Шаламова дополняют друг друга, разве что есть некоторая непоследовательность в суждении о памяти, памяти на плохое. «Очень тяжелые условия вспоминать никто не хочет» и «Я все помню. Но хорошее я помню сто лет, а плохое — двести». Но это уже свойство индивидуальное, так надо понимать.

Проявленное к нему сострадание, сочувствие, когда бескорыстно делятся с ним не лишним куском хлеба, а пайкой, он называет «подаванием».

«Но и сейчас я помню, как Лесняк приносил мне каждый день хоть кусок хлеба, хоть горстку табаку. Я никогда не делился, все съедал сам и выкуривал сам. Это было в полных правилах колымской арестантской этики».

Были в его послелагерной жизни периоды, когда он считал, что славу и бессмертие, к которым он с детства стремился, принесет ему проза, его «Колымские рассказы» в первую очередь. Порой он отдавал приоритет своей лире.

Варлам был очень чувствителен к славе и безрассудно ревнив. Когда им были уже написаны лучшие стихи и «Колымские рассказы» отпущены в мир, он пересмотрел свое мнение о Пастернаке, неприязненно отзывался о Солженицыне. Тепло и радушно принятый Надеждой Яковлевной Мандельштам, позже разрушил их добрые отношения, о чем свидетельствуют люди, бывшие в тот период рядом.

Ревнуя к славе Анну Ахматову, он так живописует встречу с ней: «В 1964 г. я встретился с Анной Ахматовой. Она только что вернулась из Италии после очередного перерыва таких *воляжей* (курсив здесь и далее мой.— Б. Л.). Взволнованная впечатлениями, премией, новым *шерстяным платьем*, Анна Ахматова готовилась к Лондону. Я как-то встретился с ней в перерыве между двумя волнами ее *заграничной славы*.

— Я хотела бы в Париж. Ах, как я хочу, хочу в Париж,— *сюсюкала* Анна Андреевна.

— Так кто вам мешает? Из Лондона слетайте на два дня.

— Как кто мешает? Да разве это можно? Я с Италией не отходила от посольства. Как бы чего не вышло.

И видно было, что Ахматова твердит эту чепуху не потому, что думает «следу-

ющий раз не пустят» — следующего раза в 80 лет не ждут, — а просто отвыкла думать иначе» («В лагере нет виноватых»).

Рассказано без симпатии и уважения. Я бы сказал, с неприязнью. Анна Андреевна Ахматова — поэт милостью Божьей, гордость России — избитая, исхлестанная, сломанная. Что жалит тебя, Варлам? На могилу Ахматовой в Ленинград, в Комарово все же поехал! Что-то толкало.

В рассказе «Курсы» В. Т. о себе говорит: «Острейшее самолюбие росло во мне. Чужой отличный ответ на любом занятии я воспринимал как личное оскорбление, как обиду».

«Я верю в одиночество как лучшее, оптимальное состояние человека» («Сейчас не 37-й»).

Варлам Тихонович закончил жизнь в одиночестве в доме признания, оттолкнув от себя друзей и близких. И все же в тех унижительных, диких, позорных для отечества условиях инвалидных домов, в которых оказался Шаламов, его нашли добрые, сердобольные люди, щедро наделенные чувством сострадания, и оказали ему сильную помощь. В последние месяцы его жизни они несли возле него дежурство. И, когда он ушел из жизни, взяли на себя безмерно тяжелый труд, связанный у нас с ритуалом последнего долга.

Склоняю голову перед бескорыстным добром и милосердием, на которые Россия испокон веку была щедра.

Хочу напомнить и уточнить:

Варлам Тихонович Шаламов за весь свой колымский срок пробыл на прииске в золотом забое два года на Партизане и полтора — два месяца на Джелгале. Зимой 1938—1939 гг. в связи с «заговором юристов» из магаданской тюрьмы («Дом Васькова») попал на магаданскую транзитку и оставался там до весны по случаю тифозного карантина. Весной его этапировали на Черное озеро в угольную разведку. Там он работал кипятыльщиком, в титане кипятил для шурфовщиков воду. Потом угольная Аркагала (тоже не прииск). После суда в Ягодном в 1943 г. попал на витаминную фабрику, обдирав хвою со стланика. Оттуда в середине 1943 г. был направлен в больницу Севлага на Беличью с диагнозом «дизентерия» и «полиавитаминоз». Там его вылечили, поставили на ноги и оставили в больнице культторгом. На этом поприще он находился до конца 1945 г. А в начале 1946 г. был снят с этапа врачом Пантюховым и направлен на лагерные фельдшерские курсы под Магаданом. Окончив курсы, В. Т. остался работать в больнице СВИТЛа по полученной специальности. До освобождения из лагеря в 1951 г. больше на «общие» работы не попадал.

И тем не менее Варлам Шаламов, как никто другой, сумел рассказать миру обо всех ужасах лагеря, дав исчерпывающий анализ не только лагерного бытия тех лет, но и широчайший обобщенный анализ *времени*. Его «Колымские рассказы» — грозный документ эпохи.

Движущая сила в создании этих рассказов — всепоглощающий гнев, рожденные лагерем злорадия и чувство мести за растоптанные мечты, надежды и амбиции. Острая наблюдательность, феноменальная память и писательская одаренность были приведены в действие ими.

В письме от 5 августа 1964 г. он писал мне: «Я пишу стихи с детства, а в юности собирался стать Шекспиром или по крайней мере Лермонтовым и был уверен, что имею для этого силы. Дальний Север — точнее, лагерь, ибо Север только в лагерьном своем обличьи являлся мне — уничтожил эти мои намерения. *Север изуродовал, обеднил, сузил, обезобразил мое искусство и оставил в душе только великий гнев* (курсив здесь и далее мой. — **Б. Л.**), которому я и служу остатками своих слабейших сил. В этом и только в этом значении Дальнего Севера в моем творчестве. Колымский лагерь (как и всякий лагерь) — *школа отрицательная с первого до последнего часа*. Человеку, чтобы быть человеком, не надо вовсе знать и даже просто видеть лагерную Колыму. Никаких тайн искусства Север мне не открыл».

Неизвестно, достиг бы Шаламов как писатель тех вершин, что достиг, если бы его миновала горькая чаша лагерной одиссеи со столь яркой, грозной, вопиющей, непривычной уху и глазу фактурой.

Варлам Шаламов — это «Колымские рассказы» прежде всего. Именно они будут вписаны справедливо в народную память надолго.



«Бывают странные сближения...»

Валерий ПИСИГИН

Две дороги

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми роковые
Прогоны жизни платим мы.

Е. Баратынский

ДОРОГА ПЕРВАЯ. ФРАНЦИЯ

Говорят, будто бы на днях выйдет указ о том, что уничтожается право русским подданным пребывать в чужих краях. Жаль во всех отношениях, если слух сей оправдается.

Пушкин. Дневник.

Эта была моя десятая поездка в страну, которую я полюбил после первого своего приезда весной 1989 года. С того времени мне удалось побывать во многих уголках Франции, а в последние годы благодаря моим друзьям-французам я несколько раз самостоятельно путешествовал по этой стране на машине. Поверьте, нет ничего лучшего.

Люблю провинциальные дороги, с деревнями и небольшими городами, где можно остановиться, прогуляться, посмотреть по сторонам, а то и устроиться на ночлег в каком-нибудь деревенском отеле. Потом едешь дальше. Какая цель? Никакой! Просто люблю дорогу, в данном случае — французскую.

В поездках я специально ничего не записывал и даже не старался запомнить, никогда к ним особенно не готовился и маршрутов не разрабатывал. Я мог оказаться в самых разных концах страны, и мои друзья удивлялись, когда я звонил им из Тура, на другой день из Авиньона, на третий — от подножия Монблана. Европейцы — они поражаются столь хаотичному преодолению мною огромных расстояний, не догадываясь, что для русского это привычное дело. Воспитанные в сознании, что СССР — самая большая страна в мире, где с первых уроков по географии успешно втолковываю, сколько Франций, Англий и Германий помещается на территории Тюменской области, мы не знаем и никогда не узнаем истинную цену расстояниям. Поэтому, глядя на карту какой-нибудь европейской страны, я как будто смотрю на дедушкин огород, пересесть который может помешать только лень.

Обязан также сообщить о своем абсолютном незнании языка. И не только французского. Конечно, кое-какие словечки я все же понимаю, и этого достаточно, чтобы не пропасть и не умереть с голоду в чужой стране, но недостаточно, чтобы разговаривать, слушать радио или читать газеты. И хотя за многие годы можно обучить какому-нибудь языку даже слона, я такому обучению не поддаюсь. В школе учительница иностранного языка (им, на грех, оказался английский) так постаралась, что благодаря ей и ее коллегам я по сей день с ужасом вспоминаю и учителей, и саму школу. И, хотя жизнь не единожды заставляла вернуться к изучению хоть какого-то языка, из этой затеи так ничего и не вышло. В итоге не знаю никакого, а

иной филолог добавит к незнанию мною иностранных еще и русский язык, учительница которого сделала все, чтобы я и к «Родной речи» относился, как к чужой.

Поэтому, путешествуя по Франции, я обходился без языка и ограничивался лишь «видеорядом». Признаваясь в диком и совершенно недопустимом для нашего времени невежестве, я все же нахожу в таком незнании некую выгоду. Не понимая чужой речи, я вынужден внимательнее присматриваться к движениям, жестам и мимике людей, вглядываться в выражения лиц, вслушиваться в интонации, наконец, меня просто привлекают сами звуки неведомого языка, когда не приходится вникать в содержание сказанного или спетого... Так мы наслаждаемся звуками животного и пернатого мира, пением птиц и жужжанием насекомых, не подозревая, что за трелями соловья или щебетанием синиц может скрываться вовсе не такой уж приятный смысл. Там наверняка и ругань, и выяснение отношений, и брюзжание по пустякам, и нудные семейные разборательства... Вот мы сидим вечером в парке, обнимаемся с любимой, и наше ухо ласкает ненавязчивое соловьиное пение. А вникнули бы в содержание (читай, знали бы язык), не оказалось ли бы, что это всего лишь подлый донос на соседа по ветке? Что бы осталось от наших объятий, от нашей любви?

Так что незнание языка наряду с безусловным недостатком имеет свои условные преимущества. Кроме того, незнание развивает воображение. Услышал реплику в свой адрес — предполагаешь сразу несколько смыслов и тут же выбираешь, который из них тебе по душе. А по душе нам все только хорошее, положительное...

Что касается нынешнего маршрута, то он не был таким уж масштабным и продолжительным. Мне надо было побывать в Бретани, в одном из небольших городков на побережье, затем я должен был направиться в глубь Франции, в Амбуаз, и обязательно посетить Музей почты, после этого я хотел заехать в какую-нибудь французскую деревню и вернуться в Париж. Так что маршрут мой на этот раз не случаен и я не могу похвастать тем, что еду «куда глаза глядят».

14 октября. Среда

В четыре утра я выехал из Парижа и направился в Биник (Binik) — небольшой городок в Бретани на побережье залива Сент-Мало (Golf de St. Malo). Примечательны эти места морскими приливами и отливами. Биник — не единственный город, где происходит это явление, но я предпочел именно его, потому что уже однажды здесь побывал и он мне был немного знаком.

Необходимости выезжать в такую рань не было, но обычно перед своими поездками я никак не могу уснуть, и, чтобы не мучиться от безделья и бессонницы, я стараюсь никого не разбудить, собираю вещи, тихо выхожу из дому, сажусь в машину и уезжаю прочь... Есть какая-то прелесть в таких предутренних отъездах: лежишь в кровати, вдруг встал и умчался неизвестно куда!

Минутя хитросплетения парижских и околопарижских автодорог, о которых стоило бы рассказать отдельно, внимательно вглядываясь в каждый указатель, чтобы не промахнуться в направлении, я был вынесен потоком автомашин, не прекращающимся даже ночью, в сторону Руана (Rouen). И не случайно. Я хотел увидеть руанский Нотр-Дам и сам город, который во многом сохранил свои исторические черты.

Вскоре я увидел этот собор, проезжая по мосту через Сену. Было пасмурно, моросил дождь, и, быть может, от этого собор со своим высоченным шпилем впечатлял особенно. Глядя на него, я вспомнил другой знаменитый собор — Кёльнский. Когда мы вечером подъезжали к Кёльну, освещение уже было включено, а подсветка собора еще нет, отчего посередине сияющего и сверкающего города образовалось гигантское темное пятно с бесчисленными иглами из башен и шпилей. Зрелище жуткое. Кажется, перед тобой чудовищной величины дикобраз.

Проехав в старую часть Руана и с трудом припарковав машину, я направился к собору. На площади перед Нотр-Дам рабочие в синих комбинезонах, несмотря на дождь, благоустраивают территорию. В самом соборе полумрак, тишина. Посетителей немного. Молча, не спеша прохаживаются, некоторые сидят на стульях, о чем-то размышляя. За полчаса не заметил кого-либо из служащих или наблюдающих за порядком. Прихожане предоставлены себе и Ему.

Недолго побродив по старинным, примыкающим к собору улицам и изрядно промокнув, я вернулся к машине. Переполненный мыслями о соборе и о том, как бы выглядел он, находясь на возвышенности, например, как собор в Оссере (Auxerre), я покинул Руан, совершенно забыв о том, что именно здесь в 1431 году 30 мая на площади Старого рынка сожгли Жанну д'Арк.

«О, Руан, Руан! Как бы тебе за меня не пострадать!» — будто бы воскликнула Жанна, взойдя на эшафот.

Теперь на этом месте воздвигнут высокий мемориальный крест, который я, к сожалению, так и не увидел.

Тем временем дорога уводила меня на запад, мимо нормандского города Кан (Caen) — родины яблочной водки кальвадос, к побережью, на которое ранним утром 6 июня 1944 года началась высадка союзнических войск и где шли ожесточенные бои.

Сейчас здесь тихо и спокойно. Места обжитые, каждая пядь земли, за которую некогда сражались, использована. (Вот действительные следы великой победы!) Все побережье в отелях, роскошных коттеджах и ухоженных домах, поэтому привычного и доступного берега попросту нет. Встречаются мемориальные памятники и оставленная бронетехника, в эти памятники превращенная. Видел развевающиеся флаги Франции, Англии и объединенной Европы. Полосатого американского не заметил.

Все же, пробравшись к морю, я какое-то время прогуливался вдоль берега, представляя картины высадки десанта. Зайдя в кафе, расположенное в одном из отелей, я услышал знакомую песню, но в необычном исполнении. Поразил низкий женский голос и непоказная грусть, которую способен донести лишь редкий талант. Это была запись Марлен Дитрих. Она пела по-французски. Я попросил бармена переписать мне песню «*Ou vont les Fleurs*».

Кто скажет, куда уходят цветы
уходящих времен?
Кто скажет, где цветы
ушедших времен?
Те, что в старые и добрые времена
срывали девушки там —
Где однажды мы будем вместе,
Где однажды мы будем вместе...

Далее мой маршрут проходил неподалеку от Мон Сен-Мишель (Le Mont Saint-Michel), справедливо названной одним из чудес Европы. Не раз видел рисунки и фотографии Мон Сен-Мишель в фотоальбомах и туристических справочниках и всегда поражался какой-то неестественности этой скалы. Может, поэтому я до сих пор не стремился туда попасть. Теперь же, проезжая мимо — почему бы не поглядеть на такое чудо.

Кто увидит Мон Сен-Мишель, конечно же, разделит мой восторг. Сколь величественно это зрелище, сколь волшебное и невообразимо прекрасно даже на фоне других чудес, коими богата Франция! Над морем и пустынным плоским берегом высятся самая настоящая скала, а на ней — грандиозные циклопические постройки с башнями, крепостными валами и высоченными, неприступными стенами. Венчает скалу монастырь с колоссальным собором, башня которого торжествует над всеми сооружениями и над самим островом. Здесь творение рук человеческих сливается с творением природы, образуя единую и гармоничную конструкцию. Приближаешься и невольно задаешь себе вопрос: «Как такое возможно?»

Особенность всему этому зрелищу придают морские приливы и отливы. Говорят, они здесь едва ли не самые большие в мире. Море уходит от континента на десятки километров, обнажая остров и образуя вокруг него безбрежную пустыню. Но затем, набравшись сил и вдохнув свежести, возвращается. Причем это возвращение столь стремительно, что его сравнивают со скоростью галопа лошади. Тогда Мон Сен-Мишель окружена бушующей стихией и оттого кажется еще более неприступной, величественной и фантастичной.

Когда я наконец добрался до острова и взошел за ограду крепости, то обнаружил там нечто вроде средневекового города, устроенного по принципу уходящей вверх спирали. По ходу этой спирали расположились многочисленные кафе, рестораны, магазинчики и отели, в которых ежедневно едят, пьют, спят и покупают сувениры туристы со всего света. Поднимаюсь на одну из башен, с которой мне бы открылось ушедшее море. Вернется оно лишь завтра...

Удивительное ощущение от ушедшего за горизонт моря: где-то оно бушует, шумит, свирепствует, здесь же — тишина, которую нарушают бесчисленные стаи птиц, в основном чаек, спешащих насытиться оставленными морскими лакомствами, да еще журчат переливающиеся из одного места в другое ручейки, образовавшиеся из опоздавшей и не успевшей уйти вместе с морем волны. Теперь этим озерцам предстоит дожидаться возвращения моря, чтобы вновь слиться с ним. Необычно. Полное ощущение моря — его запах, неслышное звучание, но самого моря нет. Невольно всматриваешься в туманный и неочерченный горизонт: не возвращается ли? Прислушиваешься: не нарастает ли шум? Эта оставленность и обнаженность сами собой располагают к мысли о вечном и брэнном. Да еще колоссальные каменные строения высются за твоей спиной...

Я спустился к машине и, отъехав от острова, остановился, чтобы со стороны посмотреть на Мон Сен-Мишель.

Действительно, красота! Но так и хочется добавить — неземная. Я также не могу назвать эту красоту божественной. Невероятный, чудовищный масштаб всей этой зримой конструкции заставляет склонить голову перед трудом рук человеческих, но сердце отказывается признать в ней творение Божие. Почему-то вспомнилось Пушкиногорье с Михайловским и Тригорским, едва заметная Савкина Горка да окрестные деревеньки — те самые места, которых, кажется, руки человеческие и не касались вовсе, оставая все, как это водится в России, на произвол Божий. Там красота — земная, божественная.

Глядя на Мон Сен-Мишель, ждешь, что вот-вот на тебя надвинутся гигантские монстры, исполинские чудовища — герои комиксов и телевизионных мультсериалов (не здесь ли родились они в человеческом воображении?). А вокруг Савкиной Горки пасутся мирные коровы, иногда выйдет погулять коза или приковыляют утки к Сороти, да больше, пожалуй, и нет никого. Какие уж там монстры? Здесь, у подножия Сен-Мишель, на фоне затянутого тучами вечернего неба у меня расширяются зрачки от восторга и восхищения, а там, на Псковщине, помню, мои глаза сжимались от боли и подступающих слез.

И припомнилась еще одна горка, чуть поболее Савкиной, да еще одно озеро, чуть больше, чем вместе взятые Кучане и Маленец. Там тоже был маленький, обозримый мир, теплый и уютный, который можно было обойти пешком. И, усевшись на одном из склонов той горки рядом с такими же, как сам, можно было, не напрягая слух, слышать Того, Кто впервые произнес: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное...»

Промокнув до нитки и устав, я решил переночевать в гостинице неподалеку от Мон Сен-Мишель. Когда же утром я, проехав километров десять, почему-то оглянулся, то увидел зрелище скорее комичное, нежели грандиозное. Маленькая, нелепая горка среди безводной морской пустыни выглядела недоразумением. Не припомню, где еще природа так посмеялась бы над творением рук человека...

15 октября. Четверг

«Центр мира сам по себе неподвижен; но место, в котором он находится, всегда в движении по различным направлениям. У центра мира постоянно меняется место, и из изменений этих одно имеет более медленное движение, чем другое, поскольку одно меняется каждые шесть часов, а другое совершается в течение многих тысяч лет. Но движение шестичасовое возникает от прилива и отлива моря, а другое происходит от размыва гор движением вод, порождаемых дождями и непрестанным течением рек...»

Я нахожусь в городке Биник, на побережье залива Сен-Мало, и вчитываюсь в строки Леонардо да Винчи о приливах и отливах.

Сюда от Мон Сен-Мишель не более двух часов езды, так что еще до полудня я был уже на месте. У причала для небольших яхт и лодок взбираюсь на дамбу, предохраняющую причал от приливов, и оттуда смотрю на море. Глубина здесь гораздо большая, чем у Мон Сен-Мишель, и потому море не уходит так далеко. Зато приливы и отливы происходят каждые шесть часов. Вы можете, набравшись терпения, наблюдать за тем, как море сначала поплещется у ваших ног, а затем медленно уйдет на несколько километров. Простоите на месте еще шесть часов — оно послушно вернется.

Сейчас море прибывает, и можно по отдельным камням или по следам птиц, оставленным на влажном песке, проследить, как оно приближается. Постепенно вода заполняет бухту, и лежащие на брюхе яхты сначала поочередно поднимаются, а потом начинают раскачиваться на волнах...

Что имел в виду Леонардо, когда писал о «центре мира»? И где этот центр сейчас?

Может, во мне? А весь остальной мир создан только для того, чтобы меня окрывать? И пока я беззаботно слежу за приливом, все вокруг не есть ли извлеченные на какое-то время декорации? Вот бежит вдоль берега человек, в кроссовках, спортивных трусах, без майки. Сейчас он пробежит мимо и скроется навсегда. Его упакут в специальный контейнер, на замену вытащат еще кого-то и, указывая на меня, скажут: «Видишь, некто сидит. Так вот, он — центр мира. Сейчас пройдешь мимо него с собакой на поводке — и скорее обратно! Да не показывай виду, что кем-то послан». Так же и с остальными. Рядом никого, а вдоль причала, где расположены кафе и рестораны, народу много. И все стараются, чтобы я не дай Бог не догадался, что

они есть тот ограниченный моим видением мир, который приготовлен специально для меня. И дома, и машины, и лодки, и море, с едва проступающим солнцем и берегами, тоже приготовлены мне. Уеду — и все свернут, аккуратно сложат, упакуют, по ходу кое-что подрастеряют (не может же во всем быть порядок), море и берега скатают, словно ковер, и все это в собранном виде будет ждать, когда я вернусь. А не вернусь, так и пролежат эти декорации без дела и пользы. И, пока я в дороге, передо мною расставляют новые картины, готовят все новых и новых людей, иным из которых позволяют пройти мимо, а избранным дозволено будет вступить со мною в контакт. Но им строго-настрога запрещено признаваться мне в том, что я и есть центр мира. Оттого и не говорит мне об этом никто. А заяви я сам — начнут опровергать, отрицать... Но как им, подневольным, еще поступать? Продемонстрировать мне Биник, маленький бретанский городок, — простое дело для Постановщика. А вот Париж с Эйфелевой башней, метро, Нотр-Дамом, Елисейскими полями и Триумфальной аркой — дело посложнее.

Видите, какие средства привлекаются, какая титаническая работа ведется во вселенском масштабе, и все лишь для того, чтобы ублажить мой взор, приласкать слух, успокоить сердце. А я, будучи центром мира и могущий этим миром наслаждаться, вечно недоволен, постоянно чем-то расстроен и огорчен. Как быть со мною? Перенести этот центр в другое, более благодарное место? Но это невозможно: переназначить центр мира нельзя. И сам я не в силах его передать никому. Даже если захочу. Думаете, со смертью моей этот центр перейдет к кому-то другому? И будет кто-то другой окружен миром, как окружен им я? Как бы не так! Вместе со мною перестанет существовать и центр мира. Так что остается терпеть и мучиться всем вокруг, включая уставшего от моих капризов Постановщика. Мучиться и беречь...

Леонардо, Леонардо! Какие мысли будишь!

...У меня с Леонардо да Винчи и с Амбуазом, городом, в котором титан Возрождения прожил последние годы, отношения особые.

Впервые я побывал в Амбуазе в конце 1990 года. Вспоминаю дом, подаренный художнику королем Франциском I. Здесь они не раз встречались, обсуждая важные политические и иные проблемы. Сюда же Леонардо да Винчи привез «Джоконду», с которой не расставался. Ничем особенным этот дом меня не привлек. Живописью я никогда особенно не увлекался, но, как и все, знал, что Леонардо да Винчи столь велик, что сама возможность побывать в его доме — событие. Помню, я долго стоял у смертного ложа Леонардо — огромной старинной кровати. (Организаторы явно ошиблись в маршруте экскурсии, который начинается со спальни. Уместнее здесь его заканчивать.) Остальное, включая копии летательных аппаратов, прообразов танков, вертолетов, космических кораблей, изобретенных Леонардо, меня оставило равнодушным. Единственное, где я задержался, — небольшая домашняя церковь (la Chapelle), в которой пробыл не меньше получаса, разглядывая интерьер и слушая лютневую музыку, также сочиненную универсальным гением. Здесь в уединении Леонардо провел многие часы.

Меня привлекли три таблички с высказываниями Леонардо да Винчи, которые мне тут же перевели. Одно из них поразило особенно. И, хотя суть его я вскоре напроць забыл, не забыл ощущения важности и полной уверенности в том, что рано или поздно мне придется к этому высказыванию вернуться. Так и случилось.

Спустя несколько лет я был охвачен одной навязчивой идеей. Хотел написать книгу ни много ни мало о жизни Иисуса Христа. Мне представлялось это вполне под силу. В то время я уже был автором книжки, которую сам, конечно же, считал выдающейся. Главы этой книги были напечатаны самыми уважаемыми толстыми журналами. Перелистывая ее страницы, я восхищался написанным! Всерьез полагая, что для меня непосильных задач в литературе нет, я вместе с тем со страхом признавался, что скорее всего уже больше ничего не напишу, а книга эта — случай, который еще ни о чем не говорит. Была лишь найдена и быстро реализована удачная форма, такое иллюзионистское действие, которое ни к публицистике, ни тем более к литературе никакого отношения не имеет. Таким образом, мои литературные, интеллектуальные и прочие претензии нужно было чем-то подтвердить (или похоронить!).

Это было время, когда для меня благодаря поездкам в Израиль открылась Библия. Точнее сказать — приоткрылась, и я начал кое-что понимать. Трижды был прав тот, кто назвал природу Палестины пятым Евангелием (кажется, Ренан). Я увидел своими глазами библейский мир, маленький, умещающийся на ладони, а значит, понятный и близкий: вот Изреельская долина и Армагеддон; вот Фавор, горы Галилейские и Назарет; за ними едва видимая Магдала и озеро Генисаретское; с другой стороны — Иордан, пустыня и Мертвое море; вот копи царя Соломона; наконец, Иерусалим, Гефсимания, Голгофа... Здесь, именно здесь, Бог впервые разговаривал с че-

ловеком, здесь ходили и проповедовали пророки древнего Израиля; здесь хранился Ковчег завета, строились Первый и Второй храмы; вот ступени, по которым в Иерусалим восходили тысячи и тысячи паломников и которых не раз касались ноги Сына Человеческого...

Это было время, когда я зачитывался Ренаном, Штраусом, Фарраром, Шюре... Носил в кармане небольшую книжечку Франсуа Мориака, цитировал англичанина Дода, вникал в статьи Бульмана... Помню, как постранично, чтобы растянуть радость, читал семитомную «Историю религии» Александра Меня и его «Сына Человеческого». А как со слезами читал и перечитывал «Иисуса Неизвестного» Мережковского, которого журнал «Октябрь» героически печатал на протяжении нескольких лет! Сколько споров вокруг этих книг, даже между их авторами, но я ни с кем не спорил, все они были и остаются мне близки и дороги. Я не знаю плохих книг о Христе. Конечно же, зачитывался Евангелием, написанным, как кажется, детьми.

Словом, мне открывалась ясная картина земной жизни Христа. Казалось, вижу Его, понимаю, чувствую; знаю Его походку, пластику, выражение глаз, слышу голос. Я мог объяснить то или иное Его действие, слово, желание, понимал то, чего никак не могли понять Его ближайšie ученики, и это порой злило меня. Я гневался на отцов Церкви, которые неправильно толковали Его. Меня раздражали церковные иерархи всех христианских вероисповеданий, которые, как мне казалось, ничего общего с Христом не имеют. О, как разделял я утверждение Блеза Паскаля: «Иисус одинок в этом мире!» Заходя в церковь и глядя на молящихся людей, думал: вы молитесь, а не знаете того, что знаю я.

А я знал цвет озера Генисаретского, видел черные камни среди высокой желтой травы на горе Блаженств, кажется, чувствовал запах оливо в Гефсимании, слышал журчание вод Иордана, мое воображение представляло, как Он взбирается на Фавор, как преобразается, я видел удивленные глаза Петра, Иакова и Иоанна, которые ничего-то не понимают; я сто, тысячу раз представлял то счастливое утро, когда в темную и убогую лачугу, где прятались несчастные и разочарованные ученики Его, постучала и вошла Мария Магдалина, чтобы сказать им о Воскресении, и я видел за спиной Магдалины божественный Свет этого Воскресения, ощущал ту, самую первую, самую неподдельную и искреннюю Радость...

Словом, я был готов к написанию книги, в которой, как мне казалось, смог бы изложить, «как все было на самом деле». Я делал наброски, а некоторые сюжеты даже рассказывал своим друзьям, которые увлеченно слушали и говорили: «Не бойся, пиши!»

Я настолько серьезно отнесся к своей идее, что (отдайте должное!) посчитал этот порыв величайшим искушением и соблазном. Тогда я решил выждать год. И если по его прошествии мой пыл не угаснет — можно браться за работу.

Прошел год, и я не остыл. Напротив, все это время по-прежнему жил с мыслью о будущей книге. Я готовился писать, и, кажется, все вокруг было «за».

И тут я вспомнил о Леонардо да Винчи и о забытом его высказывании. Даже не помня, о чем там шла речь, я только знал, что в словах Леонардо есть нечто очень важное, через что нельзя переступить и без чего книга моя не могла бы начаться. Я был уверен, что это будет решающее благословение безоговорочного авторитета. «Быть может, и начну с этой цитаты, или возьму ее в эпиграф», — предполагал я.

Итак, надо было ехать во Францию, в Амбуаз, в дом Леонардо да Винчи, переписывать забытое высказывание.

В сентябре 1996 года я отправился в свое первое самостоятельное путешествие по Франции с обязательным посещением Амбуаза. Помню, в Париже купил компакт-диск Гии Канчели — «Vom Winde beweint», с потрясающей Ким Кашкасян. Слушая музыку, глядел на фотографию альтистки, на ее глаза и думал: «Она может Это играть, почему я не могу об Этом писать?»

По мере завершения поездки и приближения к Амбуазу я все больше жаждал вновь прочесть то, что писал Леонардо. Мчась с востока Франции по скоростной трассе, я попал в Тур, от которого до Амбуаза не более получаса езды. Однако, выезжая из Тура, вновь угодил на трассу, которая за несколько минут увела меня в сторону от тех мест, куда я так торопился: до закрытия музея оставался час с небольшим. С этой равнодушной к моим замыслам трассы свернуть можно было только у Блуа, чтобы по местной дороге вернуться в Амбуаз. Я так и сделал, злой от бессилия, сбиваясь с дороги через каждые сто метров, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Кроме того, я нервничал, потому что не знал, в какой части города находится дом-музей (меня в прошлый раз водили за руку). Проносясь вдоль Луары с ее многочисленными замками и прочими красотами, я ничего не замечал и лишь удивлялся, сколь противится все моему прибытию в Амбуаз. К чему бы это?

Наконец, я буквально ворвался в город и на первом же повороте свернул влево. Далее прямо, прямо, прямо... и очутился перед домом Леонардо. До закрытия пятнадцать минут. Покупаю билет, пробегаю по галерее, на секунду задерживаюсь в спальне, бегу дальше, спускаюсь на первый этаж — и вот я в Chapelle... Пристроившись на скамье, я первым делом переписал надпись — ту, что в углу на правой от входа стене. Я боялся, что какое-нибудь стихийное бедствие помешает мне ее вновь обрести. Только после этого успокоился и под лютневую музыку, которая звучит здесь постоянно, стал приходить в себя. К этому времени в Chapelle было пусто. Я пробыл там еще какое-то время, не заметив, что музей уже закрыт и посетителей, кроме меня, нет. Я даже подумал, не запрут ли меня снаружи и не придется ли тогда спать на кровати Леонардо? Но охранник обнаружил меня и вежливо выпроводил.

Итак, цитата Леонардо у меня в кармане, но прочесть ее я смогу только завтра, когда возвращусь в Париж. Вам же, читатель, ждать недосуг. Вот она:

«Je laisse sans y toucher les
saintes Critures parce,
que elles sont la supreme verite».

Когда мои друзья, ничего не подозревавшие о бушующих во мне страстях, спокойно перевели этот небольшой текст («Я оставляю без прикосновения Священное Писание, потому что оно есть высшая Истина»), они не догадывались, что означали для меня слова Леонардо: ни о какой моей книге об Иисусе речи быть не может! Это был приговор. Есть Евангелие, и в нем сказано все. Навсегда.

Леонардо своим авторитетом запретил писать книгу, и тем, конечно же, меня спас. Но не только запретил. Он еще и подсказал: что бы и о чем бы ты ни писал — во всем неминуемо должен присутствовать Он. Так или иначе, но Христос и его образ должны быть выражены через мир, через характеры и образы людей, этот мир населяющих, через страдания и беды, которыми пресыщено человечество. Но не прикасайся к священным текстам, к Евангелию! Пусть оно освещает и освящает твой путь, словно фонарь во мраке, и носи этот фонарь осторожно перед собою, береги пламя, но никогда не прикасайся к нему!

Взгляните на картины Леонардо да Винчи. Их немного, но двумя, к счастью, украшен наш Эрмитаж. Кажется, Леонардо не касается библейских сюжетов, смиренно сторонится их, робко умолкает перед Словом. «Я оставляю без прикосновения...» Но любовь к Христу у Леонардо такова, что, кажется, сами его картины — часть Священного Писания, а может, и само Писание.

Вот какая история связывает меня с Леонардо, и стехпоря у него в неоплатном долгу. Не было ни одного посещения Франции, чтобы я не побывал в Амбуазе, в его доме и в небольшой капелле Сент-Убер (St. Hubert), с поклоном священному праху.

И теперь я опять еду в Амбуаз, но сейчас еще одно обстоятельство влечет меня туда. Как и несколько лет назад, мчусь с трепетом и волнением. Теперь еще и с некоторым страхом.

Но я еще не покинул Бретань. Передо мной город Витре (Vitre). Уж очень заинтриговал Виктор Гюго, упоминавший его в романе «Собор Парижской богоматери»:

«...Когда после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы, пронзающей в перпендикулярном направлении толщу колоколен, вы внезапно вырываетесь на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами разворачивается со всех сторон великолепная панорама. Зрелище sui generis (Единственное в своем роде /лат./), о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь готический город во всей своей целостности, завершенности и сохранности,— а таковые еще кое-где имеются, как, например, Нюрнберг в Баварии, Витториа в Испании,— или хотя бы миниатюрные образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витре в Бретани или Нордгаузена в Пруссии».

Весь вечер и до глубокой ночи я бродил под моросящим дождем по средневековому городу, останавливаясь у каждого дома, заходил в замкнутые дворики, пробирался сквозь узкие улочки, всматривался в окна, за которыми люди жили еще и пять, и шесть веков назад и живут сейчас. Нигде в мире не видел я таких уютных кафе. Долго выбирал, в которое зайти, да почему-то так никуда и не зашел.

Над дверью одного из домов табличка: «1371». Еще не было Ивана Грозного, и князь московский Димитрий еще не был Донским...

16 октября. Пятница

Утром я вновь прогуливался по Витре, благо не было дождя. Хотелось бы посмотреть на этот древний город при утренних лучах солнца, но затянутое тучами небо не обещало такого удовольствия. Дождаться солнечной погоды я не мог: торопила дорога. Выехав на скоростную трассу, я вскоре был у Лавалья (Laval), после чего, не заезжая в город, свернул на узкую местную дорогу и поехал в сторону Тура (Tours).

Признаюсь, что в пути, даже по такой живописной стране, как Франция, мысли не всегда заняты высоким и вечным. Случается, и нередко, что думать приходится о чем-то насущном, даже пустячном. Например, о еде.

Во Франции, как и во всей Западной Европе, с едой проблем нет. Вдоль больших и малых дорог расположено множество кафе, ресторанов, баров, где тебя всегда ждут и готовы накормить за небольшую плату. Но иной раз хочется поесть не так, как принято и как проще, а как-то особенно, неожиданно и памятно, скажем, на капоте своей машины.

Простор, солнце (да пусть и без солнца), а ты разложил колбаску, сыр, помидоры, огурчики, если есть — холодные котлеты, ко всему этому водочка (беда тому, кто за рулем) — что может быть лучше такого пикника? Перекусили, перекурили и поехали дальше. Хоть на край света.

Подобного хочется и во Франции. Тем более что там для такого удовольствия есть все. Ну, может, за исключением котлет. И я иногда такую безобидную роскошь себе позволяю. Так случилось и по дороге в Амбуаз.

Где-то за сотню километров до Тура я ужасно проголодался. Зашел в первый же попавшийся на пути супермаркет, который обязательно бывает даже в небольшом городке, и стал выбирать еду. Проблема выбора исчезла, как только я подошел к мясному отделу, где в большущем гриле на длинных вертелах жарились куры. Видели бы вы их цвет, чувствовали бы запах, знали бы цену! А как их продают! С какими выражениями лиц покупают! Уже это достойно многостраничного описания, но у нас нет времени. Отмечу лишь, что мне припомнились времена массовых скоплений советских людей вокруг ледяных плит синего цвета, в которых можно было опознать спрессованные и замороженные отечественные птицепродукты. Такими же плитами продавали и замороженную рыбу. Помню, эти плиты разбивались о ступени гастронома здоровенными грузчиками, что было небезопасно, так как ледяные осколки иной раз попадали в бдительные глаза стоящих в очереди.

Некоторое время простояв у прилавка, глядя поочередно на кур и на покупатель, я решил примкнуть к последним. Проворно, со словами «Мерси, мерсье», продавец вбросил мою покупку в специальный пакет-термос, в котором курица не остывает довольно долго. Так они покупают жареных кур, и в этот пакет наливают еще и соус. Люди спешат домой и там всей семьей с аппетитом поедают эту курицу, запивая ее красным вином. Мне вина нельзя, поэтому я купил три помидора и багет — белый батон около метра в длину. Теперь я был озабочен проблемой поскорее все это съесть.

Подгоняемый лежащей на заднем сиденье курицей и источаемым ею запахом, я помчался со страшной скоростью, больше глядя не перед собой, а по сторонам, выбирая достойное место для трапезы. Однако вскоре выяснилось, что на такой скорости выбрать место невозможно. Паркинги (оборудованные придорожные места для стоянки) были либо заняты, либо расположены крайне неудобно. Пришлось сбавить скорость, чтобы заметить какой-нибудь въезд в лес, в поле, куда угодно... Но, как только я сбавил скорость, за мною тут же выстроилась вереница машин, не рисковавших меня обогнать: в Европе ездят по правилам и почему зря не рискуют. Теперь меня подгоняла колонна идущих следом за мной машин, которую возглавляла зеленого цвета «Renov» с сидящей за рулем дамой. Я был вынужден прибавить скорость...

Сколько чудных мест промелькнуло, где можно было бы съесть мою бедную, томящуюся на заднем сиденье курицу! Между тем неотвратимо приближался Тур, большой город, где уже на капоте поесть не пристроишься. А за Туром — прямой путь в Амбуаз, вдоль Луары, мимо обжитых мест, с замками, виллами, роскошными коттеджами, вид которых мало располагает к такого рода трапезе. Да и вообще я сомневался, что в таком состоянии доберусь до тех прелестных мест.

Сочетание голода и злости принудило меня принять радикальное решение: остановиться у первого же поворота. И вот вижу слева дорогу, идущую в глубь леса. Я съехал к обочине, пропустил поток машин во главе с дамой и вернулся к заветному месту. Там я обнаружил шлагбаум и перед ним какую-то надпись с единственным понятным мне словом «Privace». Ну и что? Главное, не заходить за шлагбаум.

Я достал курицу, помидоры, багет, разложил их на капоте... Как водится, первым делом отломил зажаренную ногу и стал ее поедать, беззаботно глядя по сторонам и поминая американцев, которые у кур почему-то любят совсем иные части.

Но тут я увидел перед собою, метрах в двадцати, за шлагбаумом, что-то очень напоминающее небольшой локатор, направленный, как мне показалось, точно в мою сторону. Но, быть может, это не локатор? Я сделал несколько шагов в сторону, потом вернулся, и меня охватил ужас: тарелка локатора поворачивалась вслед за мною! Это значит, что кто-то наблюдал, как я жадно поедаю куриную ногу и полуметровую булку под моросящим дождем в лесу, у въезда на какой-нибудь секретный военный объект, а в кармане красный паспорт, на котором все еще написано — «Союз Советских Социалистических Республик». Не шпион ли?

Я представил оперативный наряд в камуфляжной форме, поднятый по тревоге, разбирающий автоматы из ружья и садящийся в джипы. Все они в приподнятом настроении в предвкушении задержания диверсанта, откормленные, бритые наголо и вот-вот придут к месту моего скромного обеда. Что я скажу в свое оправдание?

Быстро затолкав в себя половину курицы (остаток спрятал «на потом»), я помчался прочь от этого места и, миновав Тур, вскоре благополучно въехал в Амбуаз.

Теперь самое время рассказать о тех обстоятельствах, которые вновь влекут меня сюда, и о причине особого трепета, который я испытываю, въезжая в знакомый город.

Прогуливаясь по улочкам Амбуаза, я не раз проходил мимо Музея почты (Musée de la Poste), расположенного в старинном особняке с большим внутренним двором и клумбами, которые могли бы составить честь иному музею цветов. Но история почты меня не особенно волновала и желания посещать музей не возникало. Сам Амбуаз для меня был музеем. Теперь же я направлялся именно в Музей почты с единственным желанием поскорее найти там экспонат, к истории почты никакого отношения не имеющий, но прямо относящийся к истории России: где-то там, среди прочих экспонатов — пистолеты, из которых Дантес смертельно ранил Пушкина.

Как это часто бывает, музей оказался закрыт. К счастью, лишь на обеденный перерыв и откроется через сорок минут.

Чтобы не тратить время попусту, я направился в кондитерский «Салон Биго» (Pâtisserie Bigot). Этот магазин-кафе существует с 1913 года и находится в историческом центре Амбуаза, на площади имени Мишеля Дебре. Знаменитый министр в правительстве генерала де Голля господин Дебре часто говорил своим гостям, что без «Салона Биго» невозможно представить Амбуаз.

Но я зашел сюда вовсе не для того, чтобы есть сладкое, а повидать хозяйку мадам Рене Биго и ее дочь Кристиан, с которыми познакомился в свой прошлый приезд. Я привез им в подарок московский шоколад «Красный Октябрь» и коробку конфет Бабаевской кондитерской фабрики.

Что тут началось! Мадам Рене Биго с радостью в глазах, какая бывает только у наших любимых бабушек, когда мы их навещаем, обнимает, целует, тотчас распоряжается кормить и поить, одновременно рассматривая московский шоколад через большущее увеличительное стекло. Она демонстрирует этот шоколад каждому, кто заходит в салон, в том числе и мэру Амбуаза — сыну Мишеля Дебре, который в обеденное время здесь обычно пьет кофе.

Я уже упомянул, что кондитерская существует с 1913 года, и почти вековая ее история заслуживает того, чтобы на ней остановиться.

Семейные корни Биго уходят в глубокую древность. Что касается новой истории, то известно, что в прошлом веке в эти края прибыл для устройства своей жизни мучной торговец Риоланд. У него было десять детей, в том числе красивая дочь Джулия. Поклонников и ухажеров у Джулии было предостаточно, но больше других ей нравился булочник Рене, умевший выпекать такие пирожные, перед которыми Джулия устоять не смогла. Словом, она стала его женой и помощницей. Мадам Рене, их дочь, вспоминает, что отец был святым человеком, первоклассным пекарем, вдохновенным кондитером и имел лишь один недостаток — слишком много работал! Старожилы Амбуаза до сих пор с благодарностью вспоминают Рене.

Лишь в 1962 году он оставил пекарню, в которой разогревал печь каждую ночь в течение полувека. Спустя три месяца он умер, передав дело дочери. Его внучке — Кристиан — тогда было 14 лет, но она уже знала, что кондитерская становится женским предприятием и рано или поздно ей придется принять эстафету из рук матери — мадам Рене. Так и случилось. С 1982 года и по нынешнее время Кристиан является главой этого семейного предприятия и готовит себе на смену дочь Паолу. Клиенты, глядя на маленькую девочку, уже знают, что это будущая хозяйка.

А мадам Джулия, живая история Амбуаза, в 1996 году отметила свое столетие, и это было общегородским событием. Вокруг нее в день юбилея собрались родственники, видные политики, деятели науки и искусства.

К сожалению, Джулии уже нет в живых, а роль «живой истории» теперь принадлежит мадам Рене.

В «Салоне Биго» всегда звучит музыка времен эпохи Возрождения, на стенах висят пожелтевшие семейные фотографии и строго сохраняются традиции, заведенные еще в начале века. Сюда, помимо туристов, часто приходят разные знаменитости. Например, вместе с Мишелем Дебре здесь любил выпить чашечку кофе генерал де Голль, которого мадам Рене вспоминает со слезами восторга. Посещали кафе и другие политические деятели Франции, а также артисты, певцы, кинозвезды, оставившие уважительные и восторженные записи в альбоме. Несколько раз появлялся здесь Мик Джаггер, лидер «Rolling Stones», лакомился сам и увозил много конфет с собою, видимо, для других участников великой рок-группы.

Изделия кондитерской официально отмечены высокими наградами и грамотами, а семья Биго была даже приглашена в Елисейский дворец для получения национальной премии.

Вот какая история, вот какая семья радуется мне и угощает, а я не могу сидеть спокойно, потому что уже закончился обеденный перерыв в Музее почты.

...Поблагодарив мадам Рене и Кристиан, я умчался, пообещав, что зайду вечером перед закрытием кафе.

Спустя три минуты я вбежал в музей. Купил красочный билет, как мог расспросил насчет пистолетов и бросился на второй этаж. Там несколько комнат. Ставни на окнах плотно закрыты, поэтому в помещении темно. Пытаюсь нащупать выключатель. Тщетно. Простояв минуту, спускаюсь вниз. Спрашиваю: что со светом? Администратор с извинениями включает его. Вновь мчусь наверх. В одну комнату, в другую... Вот они! Под стеклом в красивом деревянном футляре.

Пистолеты не выставлены как-то специально, на отдельном стенде, а находятся в одном из отсеков двух небольших столов, стоящих посередине комнаты. Кроме пистолетов, в коробке, обшитой изнутри темно-зеленой тканью, находятся специальные принадлежности: отвертка, молоток, шомпол, масленка и еще какие-то приспособления, без которых пистолеты не смогли бы выстрелить. Словом, я вижу перед собой изысканный, аккуратный и приятный для глаза антикварный прибор, совершенно безобидный и безопасный, который не прочь иметь у себя всякий ценитель старины.

Рядом с коробкой пояснительные таблички:

«ПИСТОЛЕТЫ ДУЭЛИ ПУШКИНА.

Пара пистолетов с аксессуарами
немецкого производства Карла Ульриха.
Дрезден».

«ПИСТОЛЕТЫ И АМБУАЗ.

Пушкин и его секундант Данзас дрались на дуэли с Дантесом, секундантом которого был виконт д'Аршиак, 27 января 1837 года. Эрнест де Барант одолжил пистолеты своему другу д'Аршиаку, и они стали фатальными для поэта. После смерти Эрнеста де Баранта в 1859 году пистолеты перешли к его брату Просперу. Позже — в семью его сестры, которая была замужем за офицером Луи де Шательероном.

В 1950 году на аукционе Друо потомки выставили эти ценные пистолеты на продажу, и их купил Пьер Поль, после чего они стали частью его коллекции, выставленной в Музее с 1971 года».

Третья надпись сопровождает фотокопию древней миниатюры:

«ПИСТОЛЕТЫ И РУКОПИСЬ

В 1989 году пистолеты были одолжены Музеем Пушкина. В обмен Музею Амбуаза сроком на 6 месяцев был предоставлен манускрипт конца XV века.

«Хроника Амбуаза» хранится в настоящее время в библиотеке Санкт-Петербурга, так как драгоценный документ был приобретен в 1805 году одним русским аристократом.

Эта миниатюра позволяет нам ознакомиться с одним из первых иконографических изображений замка Амбуаза. На первом плане даритель преподносит свою рукопись Карлу VIII».

Справа от коробки с пистолетами книжка А. С. Пушкина «Станционный смотритель», изданная по-французски — «Le maitre de poste». Ниже — старинная цветная иллюстрация: ямщик погоняет русскую тройку по зимнему тракту — «Traineau de voyage». Рядом небольшой проспект музея «Дом станционного смотрителя» в деревне Выра Ленинградской области. Вот и вся экспозиция, посвященная истории пистолетов. Кроме нее, на стенах комнаты висят картины, изображающие лошадей, кибитки, извозчиков. На стендах выставлены головные уборы и одежда служителей почты, фонари, кнуты и что-то еще, мало меня интересующее.

Я стоял и долго рассматривал пистолеты. Затем отходил, смотрел издали, возвращался, обходил кругом, присаживался на скамью, вновь подходил и приглядывался...

«<...> — Дуэлисты и Секунданты по условию 27 Генваря въ 4 часа вечера прибыли на место назначенія лежащее по Выборгскому тракту закомендантскою дачею въ рощу. Между Секундантами положено было стрелять на пистолетах въ расстояніи 20-ти шаговъ, такъ, чтобы каждый имелъ право подойти къ барьеру на пять шаговъ и стрелять посопернике неожидая очереди.— После сего Секунданты зарядивъ попаре пистолетовъ, отдали по одному изъ нихъ противникамъ, которые послеланному знаку тотчасъ начали сходиться: первый выстрелилъ Геккеренъ и ранилъ Пушкина так, что сей упалъ, но несмотря на сіе, Пушкинъ переменяв пистолетъ, который засорился снегомъ, другимъ, въ свою очередь тоже произвелъ выстрелъ и ранилъ Геккерена, но неопасно. На семь поединокъ кончился и какъ соперники, такъ и посредники ихъ возвратились по домамъ, где Пушкин какъ выше значить, отъраны умеръ <...>» («Дуэль Пушкина съ Дантесомъ-Геккереномъ. Подлинное военно-судебное дело 1837 г.». Орфография соблюдена.— Авт.)

Пока я мысленно переносился на Черную речку в январь 1837 года, в музее объявились первые (и последние) за время моего пребывания посетители. Это была семья: мама, папа и сын примерно шестнадцати лет. Разговаривая по-английски, они скрупулезно, не спеша осматривали соседний зал, склонялись над какими-то документами и экспонатами, присматривались к седлам и кнутам, без конца фотографировали, а сын еще что-то записывал. Но вот они вошли в зал с пистолетами. Я присел на скамью, чтобы не мешать, и ждал их реакции. Однако, осмотрев и засняв все, исключая пистолеты, посетители неспешно удалились. Что им эти пистолеты?

Вот они, безмолвно лежат в коробке, один против другого и оба передо мной...

«Ну! Который из вас?» — спрашиваю. Молчат. И никто не знает. Ни в Музее почты, ни в Амбуазе, ни в целом мире, и, окажись здесь Дантес с его секундантом, думаю, и они бы не определили, который именно. Потому и пишу: «Пистолеты, из которых...»

А ведь один из этих пистолетов чист, и из него, быть может, не стреляли вовсе, и рука Дантеса даже не касалась его роскошной деревянной ручки. В то время как из другого был убит самый великий русский — наша радость, гордость, надежда, наша любовь, и если задаться вопросом, отыщется ли на всем белом свете более черный, роковой и кровавый символ, самая-самая антиреликвия для нас, русских, то страшнее этого небольшого предмета не найти.

Так они и лежат здесь, вдвоем, под стеклом, то ли молча разделяя свою «славу», то ли, напротив, договорились хранить в тайне свой страшный и вечный позор.

Но при чем здесь пистолеты? Они — всего лишь безмолвное и послушное орудие в руках человека. Можно ли винить плоть, которой избивали Христа римские воины, или проклинать гвозди, которыми Он был пригвожден к кресту? Все в человеке.

Так-то оно так, но ведь пистолеты эти придумал тоже человек. Для того чтобы убивать себе подобных...

Недавно всемирно известного изобретателя Калашникова наградили орденом Св. Андрея Первозванного, апостола, первым принесшего в наши славянские земли Благоую весть о Сыне Человеческом.

...Яко апостолав первозванный и верховнаго сущий брат Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

В теленовостях отмечалось, что всего в мире выпущено 70 миллионов таких автоматов. Поинтересуйтесь, сколько выстрелов в секунду дает автоматная очередь? А сколько таких очередей способен сделать один автомат? Поможете — узнаете потенциал.

...Что же делать сейчас с пистолетами? Разбить стекло, схватить коробку и бежать куда глаза глядят, затем перевезти их к нам, в Россию, закопать в районе Черной речки? Или лучше отнести на Мойку, в кабинет Пушкина, или привезти в Пушкинские Горы да утопить в Сороти? А может, просто спрятать где-нибудь и иногда показывать? Где их место?

Нет уж! Пусть остаются здесь, в Амбуазе, в самом центре Франции, где никто истинную «цену» этим страшным предметам толком не знает, и пусть они никогда не попадут к нам в Россию. Нам иметь у себя эти пистолеты нельзя. У нас они вновь станут стрелять...

Когда я вернулся в Москву, то решил поинтересоваться дуэлями и набрал на прекрасно изданную книгу, посвященную истории дуэлей. Кроме прочего, в книге приводятся различные документы. Есть среди них письмо поручика Лермонтова на имя командира лейб-гвардии гусарского полка генерал-майора Плаутина. В этом письме, которое является скорее объяснительной запиской, Лермонтов сознается в дуэли с сыном французского посланника — Барантом:

«<...> 18-го числа в воскресенье, в 12 часов утра, съехались мы за Черною речкой на Парголовской дороге, его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видал, так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия, он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда мы взяли пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону <...>»

Знал ли создатель «Смерти поэта», что за ствол нацелен на него? Догадывался ли, какая пуля просвистела у самого виска?

Забегая вперед, хочу сказать, что история с пистолетами имела продолжение. Возвратившись в Париж, я стал просматривать красочные проспекты «Салона Бигго» и, к своему удивлению, обнаружил среди прочих кулинарных шедевров «Грюфели «Пушкин» (Truffes Pouchkine). Как же я не заметил этого в Амбуазе? Конечно же, это связано с пистолетами. Но как?

И вот, расспрашивая осведомленных людей, я выяснил: оказывается, лет десять назад, в преддверии визита Михаила Горбачева во Францию, президенту Франсуа Миттерану захотелось приятно удивить реформатора и подарить ему что-нибудь особенное. Поначалу Миттеран хотел привезти из Бретани корзину артишоков, самочлочно приготовить их чете Горбачевых и научить, как их правильно есть, не оставляя на лепестках отпечатки зубов, что для французов крайне важно. Однако советники президента отговорили его от этой затеи, мотивируя, что такой подарок неэффектен и ничего после себя не оставляет, кроме горы мусора, если речь идет об артишоках. Тогда Миттерану посоветовали подарить президенту СССР шляпу Наполеона — знаменитый на весь мир *visogpe*. Конечно, не ту, что в Доме инвалидов, это уж слишком, но другую. Это голова у Наполеона одна, а уборов головных много. Уже было принято решение, и тут кто-то из советников сказал президенту, что, во-первых, Бонапарт был императором, в то время как Горбачев, напротив, реформирует «империю зла» в демократическое общество, и подобный подарок будет неправильно понят, а во-вторых, Михаил Сергеевич сам чем-то похож на Наполеона, а в *visogpe* даже очень, и все бы ничего, но... в России был такой писатель — Гоголь, так вот, один из его героев, Павел Иванович Чичиков, в свою очередь, тоже очень похож на Бонапарта. Даже без *visogpe*... Понимаете?

Образованный Франсуа Миттеран понял, что и шляпу Наполеона подарить Горбачеву нельзя.

Наконец, к президенту Республики, минуя кордоны и заграждения, советников и референтов, пробилась какие-то недруги амбуазцев, считающие, что для небольшого города наличие сразу трех реликвий — Леонардо да Винчи, кондитерской Бигго и дуэльных пистолетов Дантеса — слишком много. Это якобы подрывает приток туристов в другие города. И Миттерану нашптали, будто бы в Амбуазе, в малоприметном музейчике, находятся некие пистолеты, которые для Франции особого интереса не представляют, а вот для Горбачева и его супруги будут весьма кстати, потому что эти пистолеты когда-то участвовали в дуэли нашего Дантеса с ихним Пушкиным, которого русские чтут и читают. И кроме того, приврали советчики, Горбачев любит, когда ему дарят такие вот пистолеты.

— А как общественность? — спросил президент.

— Общественность будет только рада. Она любит Горбачева, — ответили советчики.

И Миттеран согласился.

Не знаю, как именно, но вскоре коробка с пистолетами стояла перед президентом Францией, и он представлял, как будет дарить их Горбачеву, и думал, какие слова при этом произнесет. И надо сказать, что как человек исключительно тонкий и деликатный Миттеран испытывал некоторую неловкость от такого подарка: вот если бы Пушкин ими кого-то из наших застрелил, тогда другое дело.

Тем временем в Амбуазе хватились реликвии. Уборщица, протирая пыль, неожиданно для себя обнаружила пустоту в том месте, где еще накануне лежала коробка с пистолетами. Посмотрела по углам, заглянула в соседние комнаты, протерла глаза — нет пистолетов...

Такое началось!

Поднялась вся прогрессивная общественность древнего Амбуаза. Видели бы вы жителей города в те дни! Пошли письма, петиции, протесты. На помощь амбуазцам пришла французская интеллектуальная элита, которую в России принято называть интеллигенцией. Во всех больших и малых средствах массовой информации было заявлено, что за спиной свободолюбивого народа Франции темные силы, следы которых ведут в Елисейский дворец, игнорируя Конституцию, национальные интересы и многовековые традиции, хотят передать в чужие руки бесценную реликвию. Борьбу за возвращение этой реликвии на свое законное место возглавил мэр Амбуаза — господин Дебре.

Скандал возник чудовищный. Все газеты не раз писали об этом, и даже сейчас, спустя десять лет, иной француз, напрягши память, вспомнит: «Да, что-то такое было».

Над Миттераном стали сгущаться тучи. Ночами он не спал и думал, как выйти из положения. Все советники куда-то пропали... Наконец президент уснул (лучше бы и не спал!), и ему приснился Максимилиен Робеспьер, да не просто, а облокотившийся на край гильотины. Неподкупный грозно произнес: «Положи на место».

Утром коробка с пистолетами была доставлена в Амбуаз и без шума передана в Музей почты. Казалось бы, все. Но не тут-то было! Как водится в открытых обществах, о возвращении пистолетов тут же прознала общественность Амбуаза и устроила грандиозный праздник. Водворение реликвии на свое законное место было обставлено широко и с помпой, как это умеют делать французы. Над древним замком гремели пушки, звучали марши, а вершиной праздника стала многочисленная процессия во главе с мэром Амбуаза — сыном знаменитого Мишеля Дебре. Он с гордостью нес перед собой на красной подушке коробку с пистолетами. И все прославляли мэра, а еще больше — Франсуа Миттерана, выдающегося политического деятеля Франции, который в трудную минуту смог выстоять и вернуть амбуазцам их реликвию. И вот в честь такого события Джулия, Рене, Кристиан и их коллеги по шоколадному делу придумали новый сорт конфет, назвав их «Трюфели «Пушкин».

Рецепт — строго охраняемая тайна. Но мне благодаря обширным связям и уникальным коммуникационным способностям стало известно, что к шоколаду добавляется немного апельсина, а ко всему этому, чтобы уже совсем стало хорошо, — наша русская водка. (Я бы предпочел апельсину соленый огурец, но во Франции с таковыми просто беда.) Поэтому всякому, кто когда-нибудь окажется в области Турен, на берегах живописной Луары, в древнем Амбуазе, последнем пристанище великого Леонардо да Винчи, я советую непременно побывать в «Patisserie Vigot» и попробовать «Truffes Pouchkine».

Вот какую историю рассказали мне в Париже, и не думаю, что так уж сильно приврали. А что касается Михаила Сергеевича, которого, конечно же, без подарка не оставили, то обещаю расспросить у него обо всем при первой же встрече, которая когда-нибудь состоится.

17 октября. Суббота

Что же происходит с погодой? Дождь, ветер, холод... До каких пор? В мои планы дождь никак не входил. А планы такие: побывать в какой-нибудь французской деревне и, насколько это возможно, описать ее. Конечно же, такое описание получится поверхностным, скользким, мимолетным, но и это, полагал я, будет небезынтересным. По крайней мере мне.

Я выбрал довольно большую деревню, находящуюся неподалеку от Орлеана. Называется она Нэвилль-о-Буа (Neuville-aux-Bois). По дороге из Орлеана в Париж надо свернуть направо после указателя «Artenay» и далее, следуя указателям, проехать еще километров пятнадцать.

Оказавшись в деревне в обычный субботний день, я, недолго думая, решил исследовать ее центральную площадь.

Эта площадь немногим меньше, чем футбольное поле, только вместо трибун ее окружают небольшие двухэтажные дома, первые этажи которых заняты, как у нас принято называть, «сферой обслуживания».

Я начал обход площади, внимательно осматривая каждое заведение. Первым, куда зашел, оказалась мясная лавка.

Здесь на прилавках аккуратно разложены всевозможные мясные продукты, готовые к тому, чтобы их жарили, варили, парили, мариновали... Рулеты, паштеты, знаменитая гусиная тушенка, копченые, полукопченые и вареные колбасы; жареные куры, подготовленная к духовке свинина, говядина, баранина, крольчатина; вижу и ещё какие-то неизвестные мне мясные продукты, которые не отважусь назвать.

Но если в этой деревне кто-то не любит разделанное мясо, то для тех над прилавками висят ошипанные тушки тех же гусей, уток, здорового петуха, кур, кроликов, огромные коровьи языки. А если кому-то не подходит и это, то рядом — прилавков с тушками совсем свежими. Здесь те же кролики, утки, гуся и петухи с курами, еще даже не ошипанные. Кроме них, во всей красе — яркие фазаны и какие-то небольшие птички. Отдельно лежат огромные куски туши дикого кабана. Если все это выставлено, значит, покупается. Обслуживают двое аккуратных, добросовестных и деловых мужчин...

Рядом с мясной лавкой находится отделение банка. У входа — вмонтированный в стену банкомат: пользуясь пластиковой карточкой, деревенский гражданин может в любое время получить нужную сумму из своих сбережений.

Около банкомата находится прозрачная будка с телефоном. Отсюда можно позвонить в любую точку мира. И это тоже давно уже не чудо. Проезжая по самой отдаленной дороге, оказавшись в самой глухой части Франции, повсюду встретишь такие телефоны. Значит, не такая уж далекая эта дорога и не столь глухая часть страны.

Далее, на этой же стороне площади, — лавка, которую у нас называют «кулинарией» или «полуфабрикатами». С витрин на вас смотрят всевозможные салаты; жареная рыба нескольких видов: с рисом, картошкой, в красном соусе; рядом рыба в белом соусе с кабачками; далее расположились рулеты, небольшие колбаски, копчености нескольких сортов; тут же красное и белое вино шести или семи видов; несколько сортов сыра, яйца, молоко; чуть в стороне — овощные салаты, которых я насчитал шесть. Продавец — одна женщина.

Примыкает к полуфабрикатам еще одна лавочка, судя по всему — кондитерская. Но, кроме шоколада, конфет и печенья, здесь тоже выставлены тушки гусей и уток, их печень, расфасованная в разной величины консервные баночки; соленые и маринованные грибы в стеклянных баночках; всевозможные соусы и специи; мед шести видов; далее что-то вроде фасоли с гусиной тушенкой; зеленый горошек, опять паштеты... На специальной витрине — чай в больших банках, которого я насчитал двадцать четыре вида, и кофе «Jeanne d'Ark» (близость к Орлеану). На отдельных полках — пряности и пяти видов соль; затем вновь конфеты, варенье нескольких видов и в разных баночках; отдельно стоят полки с супом «Pousson» из омара, причем суп этот разлит в бутылки вроде тех, в которых у нас раньше продавали молоко и кефир. Эти супы надо не есть, а скорее пить, чего я не понимаю и без нашего супа страдаю даже во Франции. Обслуживает также одна милая женщина.

Еще один магазин на этой стороне площади — канцтовары. В нем есть абсолютно все, что только необходимо для технического обслуживания научной, писательской, художественной и творческой интеллектуальной работы. А чтобы все это можно было еще и размножить, прямо при входе в магазин стоит здоровенный ксерокс.

Я перешел маленькую улочку, ведущую в глубь деревни, и, минув ее, направился дальше по периметру площади. Первый магазин на этой стороне — винный. Что бы испытал житель нашей деревни, или областного центра, или даже столицы, попав сюда!

Одного шампанского я насчитал двенадцать наименований. Но меня поправили, объяснив, что не все, что бухает пробками, — шампанское. Оно бывает только из Шампани, и потому его здесь всего шесть видов. Зато красное вино буквально из всех регионов Франции. Досчитав до девяноста сортов (не бутылоч!), я остановился. А еще есть вино розовое — восемь видов, белое — шестнадцать; а еще стоят огромные бочки и ждут, ждут, кто бы пришел, открыл краник, подставил ведро или канистру... Но никто не приходит... Лишь я слоняюсь с блокнотом да продавщица скучает посреди всего этого изобилия.

А ведь тут, кроме вина, еще продаются коньяки, виски, пастилы, без которого не могут обходиться французы, а еще — разные принадлежности для открывания бутылок и их закрывания, всевозможные кувшины, рюмки, бокалы, графины...

Рядом с винным магазином — ювелирный. В ювелирных делах я мало смыслю, золото не люблю и в подобные магазины обычно не захожу. Но и без того сквозь стекло витрин вижу цепочки, кольца, браслеты, бусы, серьги, кулоны, часы... Кругом зеркала, светильники, все сияет и блестит, как в солидных парижских бутиках.

Мне интересней одежда. Правда, здесь магазин одежды никакими особенными изысками не выделяется. Пальто, костюмы, плащи, куртки, галстуки, рубашки, брюки, юбки, кофты, свитера, головные уборы, носки, колготки, нижнее белье, халаты, тапочки, полотенца и так далее. Мужской отдел и рядом — женский. В этом магазине я застал первых покупателей.

С магазином одежды соседствует мастерская по ремонту бытовой электронной и электрической техники. Что ремонтируют селяне? Холодильники, стиральные машины, телевизоры, видеомагнитофоны, швейные машинки, видео- и аудиотехнику, а еще — утюги, кухонные комбайны, микроволновые печи, посудомоечные машины и прочее, что ломается даже здесь.

За мастерской располагается фотоателье. Здесь фотографируют, проявляют и печатают фотографии, и здесь же продается вся необходимая для этой цели аппаратура. Кроме того, для населения устроен прокат видеофильмов.

Рядом с фотоателье находится магазин «Оптика». Очков — сотни видов, для всякого глаза, с оправой на любой вкус. Возле оптики — еще одно отделение банка с банкоматом. Видимо, одного на деревню недостаточно. А быть может, это и есть та самая конкуренция.

За отделением банка — рыбная лавка. Конечно, это не Бретань и не Нормандия, поэтому ассортимент здесь куда скромнее. Всего несколько видов рыбы, креветки разной величины, устрицы, еще какие-то ракушки с улитками, в коих мало разбираюсь и вкус которых даже с белым вином не понимаю. Разумеется, все эти морепродукты свежие.

В соседнем помещении поместилась местная «Союзпечать». Но не киоск, а довольно большой магазин, где, кроме газет и журналов, продают книги, канцтовары и игрушки для детей.

Ежедневных газет — семнадцать. В том числе из Бельгии, Германии, Англии, Нидерландов, США, Турции (целых три), Ирана, Алжира и Испании. Доставляется периодика ежедневно, и перебоев почти не случается. Журналы подсчету не поддаются. Этот магазин обслуживается шестью продавцами. Здесь и посетителей много.

На этой же стороне площади — отель с обязательными кафе и баром на первом этаже. Сейчас отель на ремонте. В баре несколько человек стоят за стойкой, а в дальнем углу за двумя столиками сидит шумная молодежь. Кроме них, двое играют в настольный футбол и один занят игровым автоматом. Телевизор никто не смотрит, хотя по нему демонстрируют футбольный матч. По кафе ходит старая черная собака. Судя по всему, она здесь живет. Хвост у собаки совсем облысел и оттого больше похож на крысиный, чем на собачий.

Рядом с отелем еще один ресторан. Пока он пустой и заполнится деревенскими жителями только вечером. Мест свободных не будет.

В соседнем доме — хозяйственный магазин. Чего тут только нет! Все, что необходимо для работы на огородах и дачах, — электропилы, дрели, небольшие станки, бормашинки, агрегаты для стрижки газонов и масса всего прочего, в том числе мелкого, без чего не обойтись в хозяйстве.

Дойдя до конца площади, я перешел еще одну улочку и оказался на противоположной стороне от того места, с которого начал осмотр. Здесь расположена аптека, но я не стал в нее заходить, потому что описание аптеки как раз требует знания языка. Внешне же сегодняшние наши аптеки все больше походят на западные. И лекарства в основном импортные, и оборудование тоже, а про цены и говорить нечего.

Рядом с аптекой еще один ресторан, относящийся к трехзвездочной гостинице, сравнительно дорогой для деревни. Одноместный номер в сутки — 340 франков, то есть больше шестидесяти долларов США. Обычно в небольших городках или деревнях стоимость проживания колеблется от 180 до 230 франков за сутки.

Прохожу мимо отеля и вижу парикмахерскую, которая оказалась закрытой.

Мой осмотр площади завершается на последней ее стороне. Что здесь? Цветочный магазин.

Кто был в странах Западной Европы, знает, что такое цветочные магазины. Тем, кто любит цветы, здесь есть за чем понаблюдать и чему научиться: как подобрать букеты, дополняют их зеленью, упаковывают прозрачной пленкой, а затем искусно украшают цветными ленточками. Даже если вы купите всего один цветок — вам его упакуют так, что он будет выглядеть весьма достойно.

За цветочным магазином следует бюро по продаже и покупке недвижимости. В витрине выставлены объявления о продаже квартир и домов, а также их фотографии.

Самый дорогой дом — 1 720 000 франков, а средняя цена — 600—700 тысяч франков. Плохих домов здесь не строят, а места в округе замечательные. Четырехкомнатная квартира в Орлеане продается за 700 тысяч франков. В день, когда я осматривал площадь, стоимость американского доллара была 5,2 франка. Прикиньте.

А вот и магазин детской одежды, в котором есть все, что только надо ребенку от рождения до шестнадцати лет. Детей во французских деревнях одевают точно так же, как и в больших городах. Разницы нет никакой, и, глядя на ватагу мальчишек, вы ни за что не определите — парижане это или жители маленькой деревни. Ну а цены на детские товары не меньше, чем на взрослые.

Вообще цен я не касаюсь, потому что ничего это не объяснит. Надо учитывать очень многое, чтобы определить — дорого или дешево стоит тот или иной товар. Все относительно. И, называя цену, тут же надо назвать и доход покупателя, и соотношение цен между различными товарами, и многое другое. Та же кровать или курица стоят дешево, а бензин — дорого. Свитер — дешево, а страховка на вождение автомобиля очень дорогая и притом обязательная.

Рядом с магазином детской одежды — кафе, судя по всему, самое популярное в деревне. Здесь полно народу и довольно шумно. Возраст самый разный. Очевидно, именно здесь жители деревни любят общаться. Кто-то играет в настольную игру, а вот веселая компания ест, пьет и что-то обсуждает. Суббота, выходной день, и бывает, что завсегдатаи в таком кафе сидят с утра до позднего вечера, совсем не скучая.

Примыкает к кафе еще один ресторан, где только готовятся к приему посетителей. Открывается ресторан после семи вечера. Вижу, как официанты раскладывают приборы, протирают бокалы...

Сразу за рестораном — магазин женского нижнего белья, в котором я немного смысло, но могу предположить, что женщины в наших вышневолоцких и весьегонских палестинах такого не носят, а может, и не видели никогда. (Впрочем, мы ведь нашего народа не знаем!)

Дальше — еще одна парикмахерская. Не работает одна, открыта другая. Обслуживание здесь самое современное. Обслуживают шесть мастеров. Трое клиентов ждут своей очереди. Зал один. Для женщин и мужчин.

Возле парикмахерской опять полуфабрикаты с уже известным набором продуктов, за ними — еще один цветочный магазин (неужто одного мало?); далее магазин женской одежды — чувствуете, что я уже устал подробно все описывать? За магазином — табачная лавка и здесь же бар, в котором полно народу; за табачной лавкой — косметический кабинет, куда деревенские барышни могут в любое время зайти, привести себя в порядок, а выйдя, заглянуть в кондитерскую, где продаются пирожные, торты, кексы, булочки. В этой же кондитерской выпекается и продается хлеб.

На площади есть и мастерская по ремонту обуви, в которой пахнет точно так же, как в наших обувных мастерских. Рядом с мастерской еще одно фотоателье, и, наконец, замыкает площадь магазин продуктов, что-то вроде небольшого супермаркета.

Такова деревенская площадь. В центре же ее находится автостоянка, чтобы деревенские жители не знали проблем со своими машинами. Я не поленился и посчитал количество автомобилей на этой стоянке и вокруг площади. Их на пять часов вечера было семьдесят восемь. Да еще один мотороллер у цветочного магазина. Разумеется, за время обхода площади многие жители приезжали и уезжали.

Конечно же, деревня не ограничивается площадью. В Нэвилль-о-Буа есть поликлиника, школы: общеобразовательная и музыкальная, несколько спортзалов, площадки для игры в баскетбол, футбольные поля и корты для тенниса, бассейн и, наконец, большой супермаркет на въезде в деревню, где продается все то же, что и на центральной площади, только в чуть больших количествах.

В стороне от «сферы услуг» находятся административные учреждения, жандармерия, церковь. Все устроено так, чтобы торговля и досуг не пересекались с делами казенными или божьими.

Что еще? Наверное, стоило бы поговорить с местными жителями, порасспрашивать о житье-бытье, об их проблемах, заботах, хлопотах, что им хотелось бы получить, а от чего избавиться, чего ждут от будущего... Но, глядя на мирных, спокойных, улыбчивых жителей, о чем может их спросить человек, живущий в России? Какие еще вопросы нужны и что после всего увиденного здесь не ясно? Может, спросить, почему в магазинах здешних не видно гречки? Без гречневой каши какая жизнь?..

Вечером я возвратился в Париж.

В Париж можно попасть разными способами. На самолете, пароходе, поездом, автобусом, на велосипеде, наконец, на машине, но я не представляю, можно ли в Париж прийти пешком. И никто не представляет. Об этом, уверен, даже не думают, и тропинок пешеходных в Париж давно уже нет.

Из тихой французской деревни по неосвещенной и безлюдной проселочной дороге я выехал на дорогу побольше и пошире, затем на еще большую и, влившись в бешеный поток других машин, устремился к Парижу. По мере приближения к городу автомобильный поток все увеличивался, в него вливались все новые и новые ручейки и реки машин, образуя сплошную раскаленную лаву из красных габаритных огней, причем скорость этой лавы не уменьшалась. Вероятно, так мириады красных шариков по кровеносным сосудам устремляются к нашему сердцу. Ближе к Парижу к этой лаве присоединяются еще и сверхскоростные поезда TGV, и сверхсовременные RER (Reseau Express Regional) — синтез метро и пригородных электричек, и, кажется, даже самолеты, которые, заходя на посадку, пролетают низко-низко над всем этим сумасшедшим потоком. Как важно здесь не ошибиться, не перепутать направление, не отвлечься куда-нибудь в сторону, не прозевать нужный указатель! И вот ты уже видишь сверкающий огнями Париж, узнаешь его безусловные символы, и прежде всего светящуюся золотом Эйфелеву башню... (Здесь нужен пафос, и потому самое время на всю громкость включить «Non, Je Ne Regrette Rien» Эдит Пиаф!) Наконец, достигнув своей высшей точки, набрав скорость и массу, весь этот целеустремленный поток ударяется об окружающую дорогу (Peripherique), гасит скорость, растекается по его гибкому желобу в противоположные стороны и затем уже по частям просачивается в вечерний город. Ты в Париже. Другой ритм и иные скорости. Здесь пафос неуместен, и потому лучше слушать «Les Feuilles Mortes» в любом исполнении, а то и самому запеть...

18 октября. Воскресенье.

Почти десять лет прошло с того дня, точнее, вечера, когда я впервые увидел Париж. Как и все провинциалы, был поражен и даже сражен им с первых же секунд, полностью разделяя восторги, которые откровеннее других выразил в своих письмах князь П. А. Вяземский: «Неужели я в самом деле в... в... в... в... Сила крестная с нами! Выговорить не могу. Так дух и спирает. Чертенята в глазах пляшут, в глазах рябит, в ушах звучит, в голову стучит!»

Представляете, каково было мне! Ведь в те времена, когда там был пушкинский друг, звучать и стучать особенно было нечему: ни метро, ни полицейских сирен, ни полыхающих огнями экскурсионных катеров, ни прочего, чем украсил французскую столицу XX век, не было.

С тех пор я был в Париже не меньше десяти раз, исходил его вдоль и поперек, днем и ночью, в разное время года и во всякую погоду (в основном дождливую), написал не одну страницу самых разных текстов, но о Париже — ни строчки, даже желания такого у меня не возникало. Дело здесь не в отсутствии дерзости или в моей лени: того и другого предостаточно. Что-то иное удерживало. И вот, стараясь разобраться в причине такого небрежения к величайшему из городов, я припоминаю, что вызвано оно было следующим. Бывая в российской провинции, я всегда обращал на себя внимание женщин. Если, скажем, это Торжок или Вышний Волочек, то на меня поглядывают все встречные женщины разных возрастов и сословий. В селениях поменьше — они, бывало, еще и хихикают. В относительно крупных центрах, таких, как Новгород Великий, Смоленск, Томск или Тверь, я устаиваюсь внимания если не всех женщин, то некоторой их части, главным образом молодой и красивой. В нашей северной столице, куда я зачастил, на меня в последнее время также стали обращать внимание женщины, чем благословили на новые приезды в Санкт-Петербург. В Москве я пешком почти не хожу, а если случается, то на меня москвички внимания не обращают. Впрочем, в Москве, кажется, вообще никто ни на кого не смотрит, зато толкаются локтями.

Так вот в Париже, сколько бы я там ни был и сколько бы ни бродил по его бульварам и улицам, на меня парижанки (если это не Rue St. Denis) не смотрят вообще. Ни молодые, ни пожилые, ни прочие, как будто меня нет вовсе и это не я, а кто-то другой проходит мимо них... Такое, с трудом выносимое, обстоятельство привело к тому, что высокомерный Париж, несмотря на свою славу, на долгое время оказался в опале и вот уже почти десять лет, как лишен всякой возможности и надежды быть мною воспетым, как это случилось, например, с более благодарными и чувствительными ко мне Торжком, Вышним Волочком, Новгородом Великим и Выдропужском, коим я посвятил в своих книгах не одну главу.

Может, это грешно, но величие и прочие достоинства того или иного города я определяю не по его архитектуре, не по числу музеев и количеству вернисажей, не по его героической истории, не даже по наличию в нем футбольного суперклуба, а по степени внимания к себе местных женщин. И здесь Париж — в аутсайдерах.

Когда я как-то разоткровенничался со своим старшим другом, крупным специалистом в области театрального искусства, а значит, большим ценителем женщин, и сознался ему в своем нездоровом подходе к оценке городов и весей, он неожиданно признался, что втайне, в глубине души, руководствуется тем же, и даже добавил, что иных критериев у нормальных людей быть не может. Так что и в этом я, оказывается, не оригинален.

Не надо также считать, что чем больше город, тем меньше внимания обращают там на всех и всякого. Сан-Паулу больше Парижа, но, когда я прохаживался по этому мегаполису, на меня довольно откровенно заглядывались бразильянки, улыбались, кокетничали, а на одной из улиц вообще едва не разорвали на части. Причем это были девушки необыкновенной красоты. Правда, потом мне объяснили, что это вовсе не девушки, а трансвеститы — гордость местной медицины. Ну, так хоть что-то, в то время как в Париже вообще ничего.

Еще одна причина, по которой мое перо не касалось столицы Франции: о Париже довольно написано и без меня. Кто только здесь не отметился! Вы не найдете ни одного значительного человека, который, будучи в Париже или рядом с ним, не оставил бы после себя хоть несколько строк. Библиография Парижа, если таковая существует, занимает не один том, начиная с Юлия Цезаря, который где-то здесь жил и, как сообщают историки, любил этот город.

Бесчисленные исторические романы, поэмы, очерки, рассказы, стихи, песни, притчи, анекдоты — всякий жанр, который только существует в искусстве, отдал дань Парижу. И как написано! Один Виктор Гюго чего стоит. Прочтешь страницу-другую и поймешь, что перо такого художника должно бы предостеречь многих самонадеянных людей от соблазнов писать вообще и о Париже в частности. Но разум не всегда властен над эмоциями, особенно над теми, которые порождает этот город. И потому о Париже пишут вновь и вновь.

А сколько писем написано из Парижа о Париже! Это сейчас можно сфотографировать Консьержери (Conciergerie), Дом инвалидов (Hotel des Invalides) или Сакре-Кёр (Sacré-Coeur) и отослать любимой (знак внимания!), а раньше вырвавшийся из родных пределов человек старался в письме отметить каждую деталь, пересказать впечатления, чувства, восторги. Оттого письма из Парижа — жанр особый.

<...> Голова моя закружилась — мы вышли из галереи и сели отдыхать в каштановой аллее, в Jardin du Palais Royal (в саду Пале-Рояля). Тут царствовали тишина и сумрак. Аркады изливали свет свой на зеленые ветви, но он терялся в их тенях. Из другой аллеи неслись тихие, сладостные звуки нежной музыки; прохладный ветерок шевелил листочки на деревьях. — Нимфы радости подходили к нам одна за другою, бросали в нас цветами, вздыхали, смеялись, звали в свои гроты, обещали тьму удовольствий и скрывались, как призраки лунной ночи <...> (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника).

Получали такое письмо в далекой России, читали-перечитывали, показывали родственникам, друзьям, соседям, и каждый представлял прочитанное по-своему, давая волю воображению и завидуя путешественнику. А сколько писем опубликовано!

Так вот, зная, что о Париже писано кем угодно, я до сих пор считал неуместным присоединиться к этому многозвучному хору. Но с годами понял, что мое неприказание к столице Франции есть величайшая гордыня и высокомерие; что, отказываясь писать о Париже, в то время как все о нем пишут, я совершаю нечто такое, чего мне ни за что не простят потомки, обнаружив в ряду писавших о Париже отсутствие моего скромного имени. Словом, я понял, что не писать об этом городе не имею права.

С этим радостным открытием меня (и Париж!) можно было бы поздравить, если бы тут же не возник вопрос: о чем и как писать?

Ведь если писали о Париже все, то очевидно, что эти «все» написали обо всем. Думаю, что и о том, о чем пишу сейчас я, тоже кто-то уже написал, и не раз.

Написано о парижанках и парижанах, об их внешности, привычках, пристрастиях, расписаны их характеры, достоинства и недостатки, о том, что едят, что пьют и когда именно; не одна сотня, если не тысяча книг о том, во что и как одеваются парижане; какие делают прически, как пудрятя, как и чем красят ресницы; подробнейшим образом описано, о чем разговаривают жители столицы, как разговаривают, и даже крикам Парижа посвящены отдельные исследования:

- Все ко мне за спелой вишней!
- Вот кудель, кому кудель!
- Хлеб румяный, мягкий, пышный!
- Дыни, дыни! Лучший хмель!
- Колодцы чистить! Чистить колодцы!
- Деревянная утварь, грабли, светцы!
- Покупаю обувь, сколько найдется!

Это лишь часть стихотворения, которое написал, а точнее, сложил из криков неизвестный автор в XVII веке. Взял бумагу, карандаш, вышел на рынок, простоял там несколько часов, записал обычный ор, а потом положил на рифму. Делов-то!

Каждый квартал, каждая улица и каждый дом удостоились своей летописи, а в самих домах описаны стены, двери, подъезды, лестницы, чердаки... Я листал толстую книгу, посвященную крышам Парижа. И с самих крыш, с высоты птичьего полета, Париж тоже скрупулезно описан. А мосты Парижа! Сколько мостов — столько книг, и всем им вместе тоже посвящены тома, и особенно жизни под этими мостами: страшной, грубой, жестокой... Вот идет навстречу хозяин с собакой на поводке. Думаете, о здешних собаках нет книг? Есть, и не одна. И даже от их имени тоже что-то написано, а Оноре де Бальзак рассказывал о Париже от имени престарелого льва. Написано также о кошках, птицах, прочих животных, населяющих Париж. И о насекомых тоже. О парижских блохах, клопах и тараканах — множество любопытных строк. В основном их упоминали в своих письмах постояльцы дешевых парижских отелей. Многое сказано и о том, что и описать, кажется, невозможно. Например, о парижских запахах. И не только о приятных. Великие парфюмеры чувствительны не только к духам. А самих парфюмеров как расписали!

Зайдя в книжный магазин, можно без труда обнаружить самые разные справочные и исторические издания о Париже, начиная с фундаментального двухтомного труда Jacques Hillaret «Dictionnaire Historique Des Rues De Paris», из которого можно узнать любую подробность из жизни Парижа, включая и то, куда заходил Вольтер 14 октября 1764 года перед тем, как отужинать с друзьями, и заканчивая упрощенными красочными книжками для тех, кто хочет выяснить: где здесь некий Лувр, и как перейти Сену, и вообще что за река такая? Есть огромные книги-альбомы, посвященные парижским площадям, театрам, соборам, воротам, окнам; я видел книги о парижских садах, фонтанах; а чего только не написано о парижских памятниках! Как-то я с большим интересом просматривал толстую книгу, рассказывающую о катастрофах Парижа: боже, чего только не пережил этот город! И горел, и тонул, и взрывался... Там есть печальная фотография Эйфелевой башни, стоящей по колени в воде... Мы говорили, что Париж подробно описан с высоты птичьего полета, но не меньше написано о Париже подземном. Идем по улицам, любимся увиденным, а там, под нами, кипит жизнь. И не метро я имею в виду, хотя и о парижском метро много чего написано, а о другой жизни — катакомбной. Десятки и сотни километров подземелий, тянущихся неизвестно откуда неизвестно куда. Там разыгрывались настоящие драмы и трагедии, и в этих катакомбах, между прочим, лежат целыми и невредимыми останки более шести миллионов парижан. Больше, чем живых на поверхности! Где-то они аккуратно сложены: череп к черепу, косточка к косточке, а где-то просто валяются. Почему здесь? Почему не на кладбищах? Читайте об этом — в книгах все описано. Кстати, и о кладбищах Парижа имеются фундаментальные исследования, настоящие энциклопедии парижского некрополя.

Добавьте к написанному тысячи живописных полотен, акварелей, гравюр, рисунков, набросков, присовокупите шедевры кинематографа, добавьте мастерство выдающихся фотографов — получите необозримую и многоцветную панораму впечатлений, восприятий, открытий, восторгов и разочарований многих пытливых сердец, панораму, которой могут позавидовать все прочие города на земле.

Словом, о Париже сказано все. Ничего нового написать невозможно, и всякий дерзнувший приговорен на повтор, банальность и скуку, которую ни читать, ни слушать никто не станет. И даже замечательная по оптимизму фраза Станислава Ежи Леца — «Обо всем уже сказано, к счастью, не обо всем еще подумано» — здесь гаснет, потому что о Париже, кажется, и подумано достаточно.

И все же, существует ли в Париже нечто такое, о чем еще не написано? И если да, то что?

Это то, чего здесь еще не произошло. Но дело в том, что в Париже больше ничего не произойдет. Жизнь, конечно, продолжится, но событий в этой жизни не будет. Останутся лишь новости, которые постараются превращать в события. Этот славный самообман будет все труднее скрывать, и тогда величайшей вехой станет чемпионат мира по футболу, который французам, читай — парижанам, нельзя не выиграть, потому что Кубок мира в их руках — единственное, чего им до сих пор не доставалось. Можно ли было желать этого Парижу, зная, что для него уже ничего несостоявшегося не останется?

Воскресное солнечное утро. Я в прозрачном кафе «Сара Бернар» («Le Sarah-Bernardt»), расположенном на первом этаже, или лучше сказать — у подножия театра «De la Ville». Мне нравится это кафе из-за множества фотографий великой актрисы. Посетителей сейчас мало. Те, что есть, пьют кофе, едва слышно разговаривают или вовсе молчат. Город только-только оживает. С одной стороны вижу огороженный решеткой сквер с башней Сан-Жак (Saint Jacques), очень похожей на недогоревшую парафиновую свечу; с другой — площадь Шаттле (Pl. du Chatelet) со знаменитым одноименным театром: отсюда же начинается Севастопольский бульвар (Boulevard de Sebastopol)... Тихо, красиво, спокойно. А пару столетий тому назад на этом месте такое творилось! Воодушевленные толпы парижан со знаменами, ружьями, кольями и барабанами под нескончаемую канонаду пушек и Марсельезу пронесли мимо этого спокойного кафе, увлекая за собою зевак и бездельников (вроде меня) в сторону улицы Сент-Оноре (Saint Honore), которая начинается поблизости. Там, как правило, толпу уже ждала телега (и не одна) с погруженными на нее врагами революции, и вся эта возбужденная масса дружно двигалась к Площади Согласия (Pl. de la Concorde).

Пройдусь и я в ту сторону.

Вот едва заметная пешеходная улочка, на которой в утренние часы и людей-то нет. А когда-то здесь стучали подковами и колесами так, что впору было затыкать уши. (Вот отчего у князя Вяземского стучало в голове!) Однажды проезжал здесь, ничего дурного не помышляя, король Генрих IV, в карете, окруженный заботливой охраной. Вдруг выскочил со стороны Сен-Дени некто Равальяк и зарезал бедного Генриха у всех на глазах среди бела дня. А сейчас идешь по улочке Ферронерии (de la Ferronnerie) и ни о чем таком не думаешь.

Направляюсь в сторону Лувра и захожу в старинный собор, находящийся на площади перед дворцом. Увы, собор этот зажат со всех сторон зданиями, так что его внешнее великолепие теряется. Зато внутри!.. Поет женщина — меццо-сопрано, ей аккомпанирует орган и подпевают прихожане. Всем розданы листочки с текстами молитвы, но видно, что и без того парижане слова знают:

Я обращаю свой взор к небесам:
Откуда придет ко мне помощь?
Помощь мне придет с Господом,
Сотворившим солнце и землю...

Вглядываюсь в лица. Они спокойны, светлы, немного блаженны. Не хочется уходить. Тем не менее выхожу из собора, оборачиваюсь и смотрю на его башню, внутри которой, очевидно, прячется колокол. Как его услышать? Ведь именно колокол Saint Germain l'Auxerrois в ночь с 23 на 24 августа 1572 года накануне дня св. Варфоломея возвестил начало массовой резни католиками гугенотов.

По внутреннему двору Лувра прохожу на площадь перед Тюильри, иду мимо стеклянных пирамид и длинной очереди в музей, поворачиваю направо и через арку выхожу на небольшую площадь перед Пале-Роялем. Здесь на солнышке небольшая толпа туристов. Перед нею два актера. Один в одежде богатого господина времен Людовика XIII (а может, это и сам король), другой — в белых одеждах ангела, с большими крыльями на спине. Артисты неподвижны и оттого кажутся скульптурой. Реагируют лишь на подаяния. Такие номера в Париже довольно популярны. Кого только не изображают актеры, и, быть может, на ангела я не обратил бы внимания, но с ним случилось вот что: актер, видимо, подустал и замерз. Он прыгнул с пьедестала, отошел в сторону и стал себя растирать, приседать, подпрыгивать, как это делают спортсмены перед стартом. Потом закурил, складывая губы трубочкой и наслаждаясь натяжками. Его крылья при этом болтались, словно ангел пытался взлететь. Многие прохожие останавливались и с изумлением наблюдали эту забавную картину. Не думал, что крылья делают человека столь смешным и нелепым.

Не то что шпага! А ведь именно здесь, на этом месте, где сейчас топчется, потирая бока, смешной ангел, 12 июля 1789 года молодой адвокат Камилл Демулен, встав перед возбужденной толпой, выхватил шпагу и призвал народ к восстанию.

Ну а мой путь лежал по мирной и спокойной улице Сент-Оноре, в сторону Площади Согласия. Я представил, как со мною рядом, скрипя огромными колесами, движется телега, подгоняемая одобрительными возгласами, пением революционных маршей и веселым задором, который всегда сопровождает предвкушение экзекуций.

Кого только я не видел в этой телеге!

Вот она доехала до того дома, где жил Робеспьер. Это здесь 5 апреля 1793 года Дантон орал во всю глотку: «Следующим будешь ты!», а рядом молча стоял Камилл Демулен... Затем процессия свернула налево, чтобы по улочке Сент-Флорентин (Rue

Saint Florentin) выехать на Площадь Согласия, где уже с нетерпением ждали несогласных или согласных не полностью и где гильотина должна была устранить эти недопустимые для революции слабости.

У решетки сада Тюильри (Jardin des Tuileries), на том месте, где возвышалась гильотина, продают сэндвичи, хот-доги и блины, которые без конца покупают и тут же всухомятку жуют многочисленные туристы, сопровождая все это непрерывным пощелкиванием фотоаппаратов. Слышен детский плач. Отчего? Оказывается, мальчику не тем намазали блин: надо было шоколадом, а не вареньем... Иные времена, иные страсти.

Пройдя через сад Тюильри, я оказался на улице Риволи (Rue de Rivoli) и зашел в первое же попавшееся кафе, не чувствуя от усталости ног. Вот что значит долго сидеть за рулем и совсем не ходить пешком.

Париж без событий. А может ли живущий в России человек обходиться без событий, без ежедневных потрясений, изломов, перекосов, перегибов и прочего, что, по нашему мнению, составляет «исторический процесс»? Может ли человек, обитающий в стране, где ежедневно, а то и по несколько раз на день, решается судьба страны и, значит, его собственная, жить без соучастия в «великих свершениях» или хотя бы без ожиданий этих «свершений»? Очевидно, нет.

И вот — Париж. Мне он напоминает немолодого, но крепкого ветерана, повидавшего на своем веку и пережившего все возможное, добившегося и славы, и почета, и уважения. Теперь можно успокоиться и просто жить без суеты, радуясь достигнутому, не жалея о прошлом, без страха за будущее. Вот он, красивый и улыбающийся, по-современному одет, с бородой и усами, еще не совсем седой, молча и неспешно набивает роскошную трубку самым изысканным табаком, затем со смаком прикуривает, перед ним только что купленные газеты (он скорее проглядывает их, нежели читает) и большой бокал доброго красного вина. Сколько же им этого вина выпито!

Хорошо иметь такого дядю, а лучше — отца. И дорогого стоит возможность хоть изредка сидеть на его коленях, обнимать, тереться щекой о щетину, расспрашивать о том о сем, а то и просто молча смотреть на него. Хоть изредка!

...И все же: возможно ли отыскать самое существенное из того, чем был обделен великий город? Какое из не произошедших в Париже событий можно назвать главным?

Не уверен, можно ли это определить, но я откажусь: здесь, в Париже, не был Александр Сергеевич Пушкин.

«...Так как в следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся...» (Из письма Пушкина Бенкендорфу от 21 апреля 1828 г.)

Пушкин никогда не был за границей, или, как тогда говорили, «на чужбине». Но как же он мечтал туда попасть! Завидовал своим друзьям, которые могли беспрепятственно следовать, куда пожелаю, и, конечно же, тем из них, кому посчастливилось побывать в Париже. «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь», — писал он П. А. Вяземскому из Михайловского в мае 1826 года. Не имея возможности отправиться в Париж, Пушкин мечтал «отправить» туда хотя бы своего героя. В том же письме он пишет: «В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой; где же мой поэт? ...он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница...»

Верхи русского общества впитывали западное влияние, поглощали плоды просвещения, главным образом французского. Книги Вольтера были буквально в каждом доме. Это была не мода, но нечто большее. По-французски говорили на балах, на официальных приемах, писали злобные эпиграммы и объяснялись в любви. Поэт Батюшков во время войны 1812 года с иронией признавался: «Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: point de paix» (никакого мира). Сейчас трудно предположить, на каком языке думало высшее российское общество. Во время восстания на Сенатской площади император Николай I отдавал приказы и принимал рапорты по-французски, а граф Милорадович, смертельно раненный декабристом Каховским, умирая, произнес: «La comédie est jouée» (Комедия доиграна).

Конечно же, царил французский дух и в доме Пушкиных. Отец и дядя будущего поэта знали в совершенстве французский язык и французскую литературу. Маленький Саша постоянно слышал французскую речь в доме, потому что по-французски шутили, острили, изъяснялись и просто разговаривали. По обычаю того времени, к мальчику были приставлены воспитатели-французы — сначала граф Монфоре, потом учитель фран-

цузского языка Русло. Утверждают, что если бы не бабушка и няня, то Пушкин бы вообще русского языка в детстве не слышал. Позже его брат свидетельствовал, что Саша «проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирает книгу одну за другой. Пушкин был одарен памятью невероятной и на одиннадцатом году знал наизусть всю французскую литературу». Среди книг отца были греческие и римские классики, переведенные на французский, энциклопедисты, философы и поэты XVIII века, Плутарх, Гомер, Вольтер, Руссо, Ювенал, Гораций, Парни, Верже, Мольер, Расин, Корнель. Кроме того, в этом же отцовском шкафу хранились книги эротического содержания, которые прочитывались пытливым ребенком особенно внимательно.

Отец Пушкина, Сергей Львович, ставил дома пьесы, в основном французские, и Мольера знал наизусть. Глядя на взрослых, дети сами устраивали домашний театр и тоже играли пьесы, конечно, французские. Таким образом, еще до своего отъезда в Лицей Пушкин в совершенстве знал французский. Он вообще учился неважно и лишь за русскую поэзию и французский язык имел высшую оценку. В Лицее у него даже была кличка — Француз. Товарищи по учебе пели: «А наш Француз свой хвалит вкус и матершину порет!»

Директор Лицея Е. А. Энгельгардт так характеризовал будущего великого поэта: «Его высшая и конечная цель блестеть и особенно поэзией, но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения и его ум, не имея ни проникательности, ни глубины, совершенно поверхностный — французский ум...»

Первые литературные опыты Пушкиным были написаны по-французски. По-французски он написал и свой первый автопортрет: «*J'ai le teint frais, les cheveux blancs et la tete bouclée*» («У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова»).

Своих литературных кумиров — Байрона, Андре Шенье, Шатобриана — Пушкин читал на французском. Да и Шекспира, прежде чем по-английски, читал по-французски.

Библиотека в Михайловском состояла в основном из книг на французском языке, а изданы они были в Париже. Книги выписывал из лавки Флорана, тоже француз. Исследователи отмечают, что по-французски Пушкин писал грамотнее, чем по-русски, в правописании которого часто делал ошибки.

Письма женщинам Пушкин, как правило, писал по-французски. Равно как и письма начальству и даже самому царю. А вообще исследователи подсчитали, что перу Александра Сергеевича принадлежит более двухсот произведений (главным образом писем, но также и стихотворений, и черновиков статей), написанных на французском языке. Более того, подсчитаны даже франкоязычные «вкрапления» в русские тексты — их у Пушкина, оказывается, более двухсот тысяч!..

Известно, что из Михайловского Пушкин собирался бежать за границу. У него и его приятеля А. Вульфа был даже составлен для этого план. По возвращении из ссылки он не оставляет свою затею и после того, как царь отказывает ему в просьбе участвовать в войне, просит Бенкендорфа ходатайствовать перед царем о разрешении выехать в Париж. Просьба Пушкина, судя по всему, даже не была передана императору. Спустя две недели Пушкин был среди провожающих французского художника Даву и всерьез намеревался спрятаться в трюме корабля и таким образом добраться до Франции.

События во Франции, когда там совершилась июльская революция, привели к тому, что монархически настроенные люди оказались вынуждены эмигрировать. Среди таковых был и Дантес — будущий убийца поэта. И пистолеты принадлежали французам и теперь хранятся во французском музее... Словом, Франция в биографии Пушкина не проходная тема, и я упомянул лишь то, что знаю. А сколько такого, чего мне неведомо! Сколько в парижских архивах, в домах эмигрантов из России хранится документов, свидетельств, преданий! А что значил Пушкин для русских эмигрантов? Вот уж для кого он был действительно всем! Саша Черный даже оживил поэта в рассказе «Пушкин в Париже»... Словом, Пушкин и Франция — отдельная книга, и скорее всего не одна.

Общезвестно, что Пушкин мог, как никто другой, вживаться в быт, нравы и даже природу не увиденных им стран. Можно только догадываться, что бы он сотворил, побывав в Париже. Какие бы тайны парижские смог открыть, какие бы образы разглядеть! Ведь Пушкин и Париж очень похожи. Чем? Своей обаятельной греховностью...

Но не суждено. Ни Пушкину увидеть Париж, ни Парижу быть им воспетым. Вот главное событие, которого не произошло, вот страница, которая так и осталась нераскрытой...

...Здесь, в кафе на улице Риволи, я твердо решил, что, как только вернусь в Россию, поеду в Пушкинские Горы. А теперь, в оставшееся до вечера время, мне надо успеть в одно из моих самых любимых мест — на кладбище Пер-Лашез (Cimetiere du Pere Lachaise). Там, рядом с великими гробами, хорошо думается.

Об этом, самом знаменитом парижском кладбище написано много и в разные времена. Тут продаются своеобразные путеводители, чтобы посетители могли прийти и легко найти нужную могилу и поклониться праху какого-нибудь великого усопшего. Но я не советую пользоваться этими путеводителями. Гораздо интереснее без них, просто не спеша ходить и осматривать памятники. Тот, кого ищете, сам вас найдет, и от неожиданной встречи вам будет много радостей.

Кажется, совсем недавно я был здесь. Не один. С нею. Я выбрал ей пять алых роз, чтобы она положила их тому, кто встретится и кто ей особенно дорог. Первым был Бальзак, у могилы которого погибали последние защитники Парижской коммуны; потом она положила свою розу на памятник Шопену, и эта одинокая роза не потерялась среди других цветов, коими во всякое время усыпано надгробие; потом была неожиданная встреча с Мольером, которого она почитает особенно... «Мы любим иногда, не ведая о том, а часто бред пустой любовью зовем». Четвертую розу она принесла к надгробию Эдит Пиаф, которая вопреки Мольеру, кажется, любовью бредила; наконец, пятую возложила к мемориальному памятнику жертвам Освенцима — меня это особенно тронуло. Она жалела, что мы не нашли могил Айседоры Дункан и Сары Бернар и не положили цветов им, но мы сможем сделать это в следующий раз. В следующий... Будет ли он?

Сейчас я здесь один...

Один прохожу мимо памятников, у которых мы останавливались и молча стояли вдвоем... Вот Мольер, встреча с которым так взволновала ее. Знает ли она, что однажды сказал Мольер? «Высшее доказательство любви — это подчинение воле того, кого любишь».

Вспоминаю, как мы с нею прошли мимо одного черного надгробия. Там было много живых цветов и стояли неподвижно две женщины. Мы не остановились.

«...Если меня очаровывало новое лицо, если я мечтал с какой-нибудь другой девушкой осматривать готические соборы, дворцы и сады Италии, я только с грустью говорил себе, что наша любовь, любовь к определенному человеку, быть может, есть нечто не вполне реальное: ведь если отрадные или тягостные думы и обладают способностью на некоторое время связать наше чувство с той или иной женщиной и даже внушить нам, что именно эта женщина неизбежно должна была влюбить нас в себя, то когда мы, сознательно или неумышленно, высвобождаемся из-под власти этих ассоциаций, любовь, как будто она, наоборот, стихийна и исходит только от нас, воскресаает и устремляется к другой женщине...»

Отчего так легко откровенен Марсель Пруст? Не оттого ли, что рад своему освобождению?

А как осматривать все эти соборы, сады и дворцы, если все «не ушло»? Как любоваться парижскими улицами, площадями и бульварами, если они все еще принадлежат ей? Как бродить по Латинскому кварталу, как смотреть с мостов на Сену и как войти в Люксембургский сад, если на все это мы смотрели вдвоем и одного меня здесь, кажется, не ждут? Смогу ли еще хоть раз сидеть в кафе на площади Виктора Гюго, где ей так нравилось и где прямо на нашем столике я поймал осмелевшего воровья? Как гулять одному по вечернему и ночному Парижу, как смотреть на окружающую шумную жизнь, на эти целующиеся парочки, которые прогуливаются или сидят в кафе? Как поднять глаза в сторону светящейся Эйфелевой башни, которая ей почему-то так понравилась? Наконец, смогу ли теперь слушать голос Эдит Пиаф, и как быть, если вдруг зазвучит «Les Feuilles Mortes»?

Самое дорогое, что только есть для меня в Париже, было отдано ей и теперь, без нее, существовать для меня не может. Как мне вернуть Париж, который я так безоглядно отдал ей, и как мне вернуть ее, которой я так безмятежно отдал всего себя?

В кафе, неподалеку от кладбища Пер-Лашез, я заказал два бокала красного вина — ей и себе. На телеэкране кадры военной хроники... Но что за песня их сопровождает? Что за голос знакомый слышу?

Кто скажет, куда уходят цветы
уходящих времен?
Кто скажет, где цветы
ушедших времен?
Те, что в старые и добрые времена
срывали девушки там —
Где однажды мы будем вместе,
Где однажды мы будем вместе...

ДОРОГА ВТОРАЯ. ПУШКИНОГОРЬЕ

Фигурно или буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!

Пушкин. Домик в Коломне

Le sort aura beau faire, il faudra
bien qu'à la fin nous nous reunissions
sous les sorbiers de la Сороть.
(Назло судьбе мы в конце концов все
же соберемся под рябинами Сороти.)

Из письма Пушкина П. А. Осиповой

Лишь когда мне минуло сорок, я впервые побывал в Пушкиногорье, на могиле Александра Сергеевича. Много слышал об этих местах, читал книги, рассматривал фотографии, рисунки. Несколько раз заслужил упреки: «Как, ты еще там не был?» Оправдываясь, отвечал, что пока не готов. И это было правдой: не хотел оказаться там лишь праздным туристом.

Наконец, на исходе минувшего лета я решился на знакомство со знаменитым пушкинским уголком.

Ехал из Санкт-Петербурга, через Псков, в котором когда-то проходил армейскую службу. Здесь, в черёхинских казармах, я вырослел — ползал с автоматом по мокрому снегу и грязи, мерз, как суслик, при укладке парашютов, терпел «лишения и тяготы», а также впитывал дух глубокой старины псковской земли.

Вспоминаю вечерние прыжки с парашютом, прямо на сверкающий огнями город. Где-то там — желанная свобода: гуляют девушки, их обхаживают молодые люди, отовсюду раздается музыка, им весело, радостно, а ты... Когда мы возвращались в воинскую часть и нас провозили через Псков, я закрывал глаза, чтобы всей этой жизни не видеть... И вот я здесь спустя двадцать лет.

Первым делом помчался в Черёху. Увы, дальше ворот меня не пропустили, не смотря на уговоры и просьбы хотя бы одним глазом взглянуть на места своей службы. Единственное, что я успел увидеть, — несколько десантников в голубых беретах. И, знаете, это были... женщины! Они уже не только нас рожают, кормят, учат и лечат, но и готовятся защищать. Что бы сказал, увидев это, покойный Василий Филиппович Маргелов, легендарный командующий воздушно-десантными войсками?

Рядом с воинской частью, в поселке, где проживают семьи офицеров, отыскал своего полковника, под началом которого служил и которого даже называл «папулей». Эрнест Арменович по-прежнему бодр и, кажется, совсем не изменился за двадцать лет. Зато изменилось все вокруг него. Полк, некогда гордость ВДВ, представляет собою жалкое подобие той могучей силы, которой хвастались высшие военные чины и политики: вооружение времен второй мировой войны, подготовки нет, прыжков с парашютом тоже, нет и учений, и даже кормить солдат нечем...

«Кто виноват? — спрашивает отставной офицер. — Сионисты, ЦРУ, демократы, коммунисты?»

Но кто же знает, товарищ полковник? Кто знает?

Когда-то полк содержал свое подсобное хозяйство. Таких свиней выращивали, каких сейчас и не сыщешь. Под стать аппетиту розовощеких воинов, иные из которых могли разломать кирпич о собственный лоб. А какие могучие были в хозяйстве хряки, которыми гордился пожилой подполковник Меркулов, заместитель командира по тылу. Сейчас, рассказывают, и сухпайков даже нет, а солдат кормят прямо с машины, которая ежедневно приезжает невесть откуда. Да так кормят, что уже и не спросишь с них, почему плохо бегают, не метко стреляют, слабо дерутся...

Где же ты, мой знаменитый черёхинский полк? Где твои удалые офицеры — искусные вояки, умелые командиры и галантные кавалеры? Где твои лукавые и предприимчивые прапорщики, на которых держался тыл? Продолжают ли сходить с ума от твоей десантуры псковские барышни? Видны ли еще в голубом небе Псковщины твои белоснежные купола, заслонявшие собою солнце? Услышу ли еще хотя бы раз на твоём плацу разудалую и героическую песню?

Наверх вы, товарищи, все по местам
Последний парад наступает,
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает...

В Пскове я встретился со своим приятелем, литературным критиком. К моей радости, он согласился поехать со мной в Пушкинские Горы и показать, где и что там находится. По дороге он говорил о природе Псковского края, о селениях и местных достопримечательностях, показал дорогу, по которой в зимнюю стужу везли гроб с телом Пушкина. Представляя эту печальную картину, я жал на газ, чтобы поскорее добраться до заветного «уголка».

— Ну, сколько же еще? — спрашивал я через каждые пять минут.

— Скоро, скоро будем! Потерпите, — отвечал мой приятель. Кажется, он волновался не меньше.

Ожидание встречи с пушкинскими местами было столь велико, что, когда наконец мне показали выглядывшие из-за холма Пушкинские Горы, я оторопел.

— Вот это?

— Да. Вон они, видите?

— Где же, где? — Вглядываясь в горизонт, я видел лишь какие-то невзрачные и едва различимые лесистые холмики...

Два дня находился в заповедных местах. Кроме Пушкинских Гор, побывал в Петровском, Михайловском и Тригорском, осмотрел окрестные деревни, прогуливался по знаменитым липовым аллеям, стоял над рекою, глядел на озера, ко всему прислушивался, во все всматривался и... почему-то ничего не слышал и не видел.

Вспоминаю, что первым делом поспешил в Святогорский монастырь, к могиле поэта. Как назло, именно в это время туда подошла шумная группа туристов. Побывать одному не удалось, но чуть позже пошел сильный дождь, который разогнал туристов и позволил мне остаться у могилы в одиночестве. Я неотрывно вглядывался в основание памятника, пытаюсь мысленно проникнуть сквозь толщу гранита. Но никакого отзвука не находил.

«Как же так? Почему не исходит ничего от могилы Пушкина? Почему не чувствую его присутствия?» — задавался я вопросами, но ответом было лишь безмолвие, словно закрылся он, отвернулся, загородился — и не только тяжелым могильным камнем.

После Святогорского монастыря мы с приятелем проехали в Петровское и бродили по вековым липовым аллеям, любовались озером, затем доехали до Тригорского и прогуливались по ухоженному парку. За два дня я побывал во всех окрестностях с надеждой уловить тень невидимого мне пушкинского духа, но ни в чем и нигде его не находил. Я даже не остановился, когда проходил через Михайловское. Может, потому, что оно представляло собой обыкновенную стройплощадку? Аллея Керн оказалась искусственной, если не сказать — мертвой. Отреставрированное или скорее полностью восстановленное Тригорское — с парком, прудами и свежеевыкрашенным длинным хозяйским домом — выглядело тоже декоративным.

«Где же Пушкин?» — допытывался я у своего приятеля, который, отдаю ему должное, старался не навязывать свои ощущения, но лишь молчаливо (и, кажется, с интересом) за мною наблюдал, отвечая на бесчисленные и, наверное, нелепые вопросы.

За два дня я лишь дважды почувствовал нечто особенное. В первый раз, когда мы поднялись на небольшой холмик, называемый Савкиной Горкой, и оттуда смотрели на озеро, извилистую Сороть и на такие же извилистые желто-зеленые луга, освещенные движущимися лучами солнца. Картину оживляли плывущие по небу облака, стада коров на лугах и фигурка женщины, которая полоскала белье в реке.

Во второй раз я испытал необычное чувство у деревни Воронич. Мы пытались пройти в Тригорское со стороны Сороти, но мешали болотца. Обходя их, мы поднялись к древнему кладбищу, прошли через него, спустились вниз и, петляя между холмами, поднялись на один из них. Здесь, проходя по сокрытым тенью вековым тропинкам, как нигде чувствуешь старину.

Вот, пожалуй, и все, что запомнилось после первого посещения пушкинского «уголка». Так и уехал, ничего не поняв, почти разочарованный. Еще мне показалось, что в нескольких километрах в сторону от Пушкиногорья ландшафт уже совсем иной, природа более статичная. Впечатление такое, будто покинул кратер вулкана. Только вулкан этот не имеет сопки для выхода огненной лавы наружу и потому невидим, но лишь ощутим.

По возвращении в Москву я все чаще признавался себе, что природа Пушкиногорья захватывает меня и не отпускает, что все эти «подвижные картины», невзрачные пейзажи и унылые, дождливые виды продолжают кружиться в моей голове и постепенно, медленно, но уже невозвратно пробиваются к сердцу. Спустя несколько дней я разглядывал фотографии, которые безо всякой цели снимал в Пушкиногорье, и понял, что уже никогда не смогу жить без этих мест.

С этого часа я стремился вновь вернуться туда и понять, почему же не увидел того, что явилось ко мне после. Или мое воображение, дополненное пушкинскими стихами и ореолом Святых Гор, сделало свое дело, внушив то, чего в действительности нет?

Кроме того, я хотел узнать: чем и как живут люди вокруг праха Пушкина? О чем думают, как разговаривают, что их заботит? Отражается ли на их жизни близость того, кто больше, чем кто-либо, смог выразить в своем творчестве и в себе самом нашу Россию, и если отражается, то как? Или теперь это другая жизнь и совсем иное бытие, бесконечно далекое от времен Пушкина? Словом, спустя две недели после возвращения из Франции я отправился в Пушкинские Горы.

7 ноября. Суббота

Шоссе, ведущее из Москвы в Ригу, а именно по нему удобнее добираться до Пушкинских Гор, оказалось пустынным. Еще до Волоколамска поток машин был интенсивным, но с началом Тверской области он иссяк. Московские дачники разъехались, и дальше машины были редкостью. Сообщение с Латвией в последние годы сократилось, и трасса Москва — Рига наглядно отражает политэкономические отношения с суверенным прибалтийским государством. Сказываются эти отношения и на тех, кто живет вдоль дороги. Нет потока машин — некому купить картошку, овощи, лесную ягоду, грибы. А ведь с их продажи местное население имеет хоть какие-то деньги.

В отличие от трассы Москва — Санкт-Петербург места вдоль дороги заселены негусто. Такие города, как Великие Луки, Старая Торопа, Западная Двина, Нелидово, Оленино, Ржев, трасса минует вовсе, а из сравнительно больших населенных пунктов, через которые проходит дорога, остаются лишь Волоколамск, Шаховская и Зубцов.

Пейзаж вдоль дороги однообразный, типично русский: леса, поля, речки, вновь леса, вновь поля и речки... Вот названия рек, которые встретились на пути: Истра и Лама — в Московской области; Шоша — на границе с Тверской областью; проезжающий Зубцов оказывается рядом с Волгой, но может ее и не заметить; далее путь пересекают Держа, Шишка, Возьменка, Межа, Велеса, Западная Двина, Торопа — все они в южной окраине Тверской области, которая незаметно переходит в Псковскую, и там дорога проходит через Ловать, Удрай, Алолю, Великую и Иссу.

Западная часть Тверской области еще более пустынна. Здесь, кажется, совсем нет населенных пунктов, еще меньше машин, а вдоль дороги уже не встретишь торговцев. Мчаться можно с предельной скоростью, благо и постов ГАИ здесь нет.

После Великих Лук ландшафт меняется. Природную однообразность сменяют холмы, низкорослые леса, которые здесь кажутся почему-то аккуратными, а дали временами открываются такие бесконечные, какие редко где встретишь. Впечатление усиливают небольшой морозец и ослепительное солнце, на котором серебрится все: воздух, небо, земля... То ли туман, опустившийся на деревья и траву, за ночь замерз, то ли застыло исходящее от земли тепло — последний, самый сладкий зевок засыпающей природы.

Дорога идет строго на запад, но после Пустошки я сворачиваю на трассу Санкт-Петербург — Киев — Одесса. Тут более оживленно, а дорога гораздо ухоженнее. Впрочем, и она узкая, рассчитанная лишь на двухсторонний поток машин. Во Франции таковы обычные деревенские дороги. Зато ландшафт меняется резко. Видимо, оттого, что теперь я двигаюсь на север и трасса пересекает холмы. Южнее Пустошки расположена Вязевская возвышенность, а ближе к Пушкиногорью — Бежаницкая. Здесь начинаются леса, но если бы мы увидели эту местность с большой высоты, то поразились бы обилию озер, которых не счесть. Связаны озера небольшими протоками и речушками.

Солнце исчезло. Небо оказалось затянутым плотными облаками, и теперь серебро на деревьях уже не искрится. Оно — матовое и оттого вызывает не радость, но грусть.

Узкая, местами извилистая дорога пробивается сквозь густые леса. В основном здесь растут сосны, но встречаются и березы. Деревья могучие, заросли непроходимые, множество холмов, овражков, и даже днем здесь темно. Все это невольно воспроизводит картины сказок и былин о лесных чудовищах, Бабе Яге, лешем, потому что им здесь прятаться было бы удобнее всего. Окажись я на их месте, выбрал бы для проживания именно эти темные и густые лесные чащи. Словом, дорога от Пустошки до Опочки стоит того, чтобы ехать по ней не спеша. К тому же здесь множество постов ГАИ. По авторadio слышна польская речь, причем сразу на нескольких частотах: сказывается близость к границе.

Наконец у Новгородки сворачиваю направо и уже по совсем пустынной, широкой дороге еду в Пушкинские Горы. Но, прежде чем въехать в поселок, решил оглядеть Тригорское: на месте ли? Затем направляюсь к Вороничу, проезжаю мимо старинного погоста и только теперь еду прямо к пушкиногорской гостинице. Этот путь я проделал для того, чтобы поздороваться с местами, куда так стремился, и чтобы миновать могилу А. С. Пушкина, куда пойду, лишь только устроюсь в гостинице.

Три месяца минуло, позднее лето сменилось поздней осенью, а впечатление такое, будто я отсюда не уезжал. Может, оттого, что мысленно с этими местами не расставался?

Я поселился в одноместном номере, с телефоном, телевизором АКАИ и отдельными сантехническими удобствами. Кроме того, в номере есть письменный стол, тумбочка, кресло и кровать. И хотя «фонды» здесь уже давно не обновлялись, всего перечисленного вполне достаточно для нормального проживания. Главное — есть горячая вода! Ввиду резкого похолодания это обстоятельство меня обрадовало особенно. Суточное проживание в таком номере стоит девяносто рублей. В пересчете на доллары — около семи. Об этой гостинице, на первый взгляд обычной и типовой, я еще расскажу. А пока спешу к Святогорскому монастырю, к могиле Александра Сергеевича. Уже стемнело, и, кроме того, пошел обильный снег.

Как и в первое посещение, именно в это вечернее время подъехали два «Икаруса». Появиться у могилы в толпе туристов в мои планы не входило, потому я решил немного пройтись, дожидаясь, пока они уйдут. Заметив меня, некоторые туристы, точнее — туристки, стали указывать в мою сторону и громко хохотать: «Смотрите, смотрите, Пушкин идет!» Моих курдей было достаточно, чтобы заподозрить во мне Пушкина... Ничего удивительного в этом нет. Всякий, кто приезжает сюда, находится в ожидании встречи с поэтом, пребывает в особом психологическом настрое, и потому все, что хоть немного напоминает Александра Сергеевича, вызывает повышенное внимание. Особенно это касается детей, которым незачем сдерживать эмоции. Мне рассказывали, что в Тригорском работал некий молодой человек, в отличие от меня действительно похожий на Александра Сергеевича. Он сидел на скамейке, и проходящие мимо экскурсанты даже не смеялись, как в случае со мной, а были в шоке. Что касается местных жителей, то у них все наоборот. Пушкина они знают как своего, родного и не признают его ни в ком. Думаю, появившись сам Александр Сергеевич, ему скажут: «Да какой же ты Пушкин? Пушкин был о-го-го!»

Несколько смущенный и невероятно польщенный, я проскочил мимо хохочущих туристов и направился в сторону площади, на которой некогда проходили ярмарки и где много раз бывал Александр Сергеевич, шокируя своим пастушеским нарядом новоржевский *beau monde*. Обойдя совершенно безлюдную площадь, возвращаюсь к монастырю и вдруг слышу звонкий детский голосок: «Дядя, дай копеечку!»

Я узнал девочку-цыганку, которую уже встречал здесь в августе. Еще тогда обратил внимание на ее красоту, пластику и необычное для попрошайки поведение. «Вот несправедливость,— думал я,— красота просит милостыню». Я дал девочке немного денег и стал расспрашивать, где она живет, как учится, почему попрошайничает. Пытался ее чему-то учить, что-то советовал, от чего-то упреждал, а она, помню, стояла рядом, вложив руки в карманы своей старенькой кофточки, смотрела на меня, делая вид, будто слушает. При этом не уходила и, что меня удивило, не просила больше денег.

И вот вновь вижу ее здесь, у стен монастыря. Она меня узнала и заговорила уже без того цыганского акцента, с которым просила «копеечку». Не останавливаясь, я дал ей пять рублей и пригласил прогуляться.

Зовут девочку Зайна. Как она объяснила, в честь героини индийского телесериала. Ей двенадцать лет, живет с бабушкой и младшей сестрой. Родителей у Зайны нет. Она не учится в школе и не умеет ни читать, ни писать. На мой укор она довольно складно ответила вопросом: «На что же тогда будут жить бабушка и сестра?» Зайна «зарабатывает» по десять — пятнадцать рублей в день, выпрашивая деньги у туристов. Вечером заходит в магазин, покупает продукты и идет домой. Так сказала она сама, и оснований ей не верить у меня было не больше, чем у Зайны мне врать. Денег больше она не просила, хотя цыгане, в том числе и в Пушкиногорье, обычно просят еще и еще. Зайна шла рядом со мною, отвечая на самые пустячные вопросы и выслушивая мои тревоги по поводу своего будущего.

Поразительно, но она совсем не знает, кто такой Пушкин. Не знает ни одной его строчки и даже не представляет, у чьей могилы простаивает ежедневно по несколько часов. Возможно, больше, чем она, здесь, рядом с Пушкиным, не бывает никто — ни туристы, ни сами жители.

Я упрекнул ее за то, что она не знает, кому обязана своим существованием. Как же так? Но Зайна, выслушивая упреки, ничуть не смущалась, а на вопрос, что она собирается делать в будущем, уверенно ответила: «Вырасту — буду работать».

— Не боишься гулять одна, ведь уже темно?

— Нет, — ответила Зайна. — Я уйду отсюда в шесть часов и допоздна не гуляю.

Мимо нас прошла цыганка с мальчиком. Увидав Зайну, прогуливающуюся с незнакомым мужчиной, цыганка сказала девочке что-то на своем языке. Зайна так же по-цыгански ответила.

— Что она сказала? — поинтересовался я.

— Чтобы я шла домой, — ответила Зайна и тут же спросила, не страшно ли мне ходить вечером одному. Как и положено мужчине, я, не задумываясь, ответил, что вообще ничего не боюсь.

— Даже Бога? — удивилась Зайна.

Я был сражен репликой этой неграмотной цыганской девочки и уже не мог продолжать нравоучительный разговор. Она, кажется, действительно умненькая. И — красивая! Одета Зайна в старенькую, тонкую для холодной погоды курточку, из которой давно выросла, обута в изношенные сапоги и совсем неухоженная... Эх, если бы ее прихорошить, украсить нарядами, обучить манерам — скольким бы отличным красавицам эта девочка утерла бы нос! Не такую ли была цыганка Таня, некогда восхитившая Пушкина романсом «Друг милый, друг милый, с далека поспеши» и которой он кричал в восторге: «Радость ты моя... бесценная прелесть!..»

Зайна никогда не читала Пушкина, не учила его стихов, даже не знает, в какое время он жил. Но этой совсем юной, не доросшей до возраста Джульетты девочке простительно такое незнание. Ей-богу, здесь, рядом с Пушкиным, она ближе к нему, чем многие из тех, кто цитирует поэта, заучивает его стихи или даже пишет о нем. Да она сама из мира Пушкина, как и ее далекая соплеменница Таня, тоже не читавшая Пушкина, не знавшая, кто такой: «Дыка, дыка, на не лачо, тако вашескери» («Гляди, гляди, как нехорош, точно обезьяна»). Как бы радовался Александр Сергеевич этой цыганочке, проводящей свое время рядом с ним, подыгрывал бы ее красоте, а может, и воспел бы ее в стихах! И уж точно смеялся бы над моими упреками, потому что юная красота заслуживает лишь того, чтобы ею любовались.

Я говорю Зайне, чтобы она шла домой и берегла себя, была осторожна и внимательна, чтобы не прельстилась соблазнами, которыми, конечно же, ее будут искушать заезжие туристы. Красота ее столь хрупкая, столь не защищенная, возможно, и не замеченная еще никем. Но все же как она будет жить? Что ее ждет?

Мы уже попрощались, как услышал, что Зайна кричит вдогонку:

— А я вечером пойду в клуб на дискотеку!

Так она, по-своему, по-детски, приглашала меня прийти туда же. Хотела, чтобы я увидел, как она танцует. Но куда же я пойду? На какие дискотеки?

А сейчас, когда пишу о Зайне, жалею, что не пошел. Она бы танцевала для меня. И, быть может, это было бы для нее важнее тех мизерных денег, которые я ей дал.

По крутым ступеням поднимаюсь на Святую Гору. За толстыми стенами Успенского собора идет неспешная вечерняя служба.

Сколько людей за полтора века вот так же приходили сюда и кто вслух, кто про себя с трепетом произносили: «Ну, здравствуйте, Александр Сергеевич!»

Как же здесь спокойно вечером, в тишине и одиночестве! Идет снег. Первый снег предстоящей зимы. Стою в безмолвии. Из головы не выходит маленькая цыганка: почему не пригласил ее сюда?..

Могила Пушкина находится прямо перед алтарной стеной храма. Для сохранности мраморный памятник накрывают в зимнее время прозрачным колпаком. Вся площадка вокруг могилы выложена гранитными плитами и огорожена мощной балюстрадой. Кроме того, ведутся строительные работы по укреплению самой Святой Горы. Успенский собор тоже в строительных лесах. Слева от памятника Пушкину — два старинных надгробия предкам поэта. Других могил я здесь не видел. Площадка меньше всего похожа на старинный погост и скорее напоминает мемориал...

К восьми часам я вернулся в гостиницу. От Святогорского монастыря до нее пять минут ходьбы. По пути насчитал пять прогуливающихся парочек. Это местные барышни прохаживаются, взявшись под руку. Такова старинная вынужденная традиция русской провинции, где царствуют скука и тоска. Некоторые щелкают семечки. Лиц девушек в темноте не разглядел. В гостиничном ресторане «Лукоморье» уже всю гуляли. Как мне пояснили — москвичи. Громыкает музыка, ей в такт топаят вырвавшиеся из столика туристы. До глубокой ночи они будут ходить по гостиничным коридорам, что-то выснять, стучаться в двери, бесконечно ими хлопать. Я понял, что меня ждет бессонная ночь.

Но ничего, все же в стране праздник. Седьмое ноября.

8 ноября. Воскресенье

Гостиница «Дружба» — типовая четырехэтажная гостиница с обязательным рестораном на первом этаже, тоже типовым. Кроме ресторана, здесь есть еще парикмахерская, единственная на шеститысячный поселок. Самая дорогая стрижка стоит тринадцать рублей. Гостиница и стоящее рядом здание районной администрации обрамляют собою площадь, увенчанную бюстом Ленина. На противоположной от гостиницы стороне площади находится Доска почета с большими фотопортретами передовиков района. Площадь во всякое время пустая, и лишь в рабочие дни ее пересекают сотрудники администрации. В этой части поселка смотреть особенно не на что. Что до гостиниц, то типовая она лишь по архитектуре. Что касается постояльцев, то эта районная гостиница может соперничать с любым столичным отелем, а может, и в этом случае соперников у пушкингорской гостиницы не найдется: здесь останавливаются те, кто приезжает на поклон к Пушкину.

Валентина Яковлевна, работающая одним из администраторов со дня открытия гостиницы, кого только не видела, с кем только не разговаривала и по одним лишь описаниям знаменитостей могла бы составить редкостную книгу. Здесь были многие выдающиеся писатели, поэты, артисты, композиторы, музыканты, художники, режиссеры, политические и общественные деятели, мэтры науки и культуры, церковные иерархи. Валентина Яковлевна помнит Кирилла Лаврова, Олега Ефремова, Михаила Ульянова, Андрея Миронова, Булата Окуджаву, Ивана Козловского, Елену Образцову, Расула Гамзатова. Дмитрия Лихачева и многих, многих других. Но что там все эти деятели культуры и науки, когда сюда приезжал Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр и где-то здесь, в одном из номеров, жил, да еще неизвестно, в люксе ли? Потому что, бывало, приезжали сюда персоны и позначительнее, страшно сказать, члены Политбюро — некто Катушев и даже сам А. Н. Косыгин. Походил, походил по вестибюлю, посмотрел по сторонам... да и вернулся к себе в номер. Вот как! Был здесь и Михаил Горбачев, но не ночевал. Наш реформатор — человек подвижный и легкий на подъем. Потому на ночь уезжал неизвестно куда. Вспоминает Валентина Яковлевна и Аркадия Райкина, который приезжал с сыном Костей. У Райкина тогда случилось расстройство желудка, и ему срочно варили борщ из крапивы, чтобы вылечить. Много раз бывал здесь Ираклий Андроников, писатель, великолепный рассказчик, председатель многих пушкинских праздников. Однажды его заперли в номере, куда-то подевала ключ, и он, бедный, просидел целый день взаперти. И такое было. Помнит Валентина Яковлевна и правнука Пушкина — Григория Григорьевича, и самого Патриарха.

— Помню, вышел из ресторана Алексей Второй. Его подозвали к телефону, и он сидел вот тут, на стульчике. С кем-то поговорил, затем направился к выходу. Я подошла к нему, и Патриарх меня благословил, хоть я и без платка. Такой светлый человек, такой светлый!

Я рассказываю о гостинице, а надо упомянуть и ресторан «Лукоморье», потому что все постояльцы завтракали, обедали и ужинали именно в этом ресторане. Здесь же устраивались торжественные приемы, банкеты и прочие мероприятия для высоких гостей. Шутка ли, за одним из столов пил горькую и заедал ее котлетой Жан Поль Сартр, а за другим хлебал русские щи Беньямин Бриттен. За столиком у окна вел судьбоносный разговор с женой героя «Заповедника» Сергея Довлатова (у окна, потому что выглядывал, не стоит ли перед гостиницей «Боинг»). А уж сколько раз этот его герой тут выпивал! Не меньше, чем сам писатель. Да мало ли кто еще здесь пил и ел! Ведь Валентина Яковлевна работает сутки, затем трое отдыхает, и, пока ее нет, тут еще столько всего происходит!

Один мой приятель рассказывал, как однажды в этой гостинице он спускался с четвертого этажа и услышал страшную брань, доносящуюся из лифта. (Его включали лишь в случае прибытия высоких гостей.) Оказалось, в лифте застрял какой-то большой начальник.

«Вдруг слышу — стук изнутри и громовой голос: "Я член ЦК! Немедленно откройте двери! Я вас всех снимаю с работы!.." Пока я,— продолжал приятель,— дошел до Александра Сергеевича, возложил цветы, постоял в раздумье, потом вернулся в гостиницу, прошло минут сорок, а может, и больше... Поднимаюсь по лестнице и слышу, как этот застрявший в начальник жалобно скулит: "Ну, будьте людьми! Выпустите меня отсюда, пожалуйста! Имейте совесть!"»

Так гостиница иной раз выполняла еще и сугубо воспитательные функции, чтобы даже самый большой начальник и выдающийся деятель не забывал, что рядом с Пушкиным он все же мелковат.

Бывает, что гости приезжают ночью, когда ресторан уже закрыт. Ладно, если это наши, а если иностранцы?

Как-то заявили англичане: профессор с женой. Приехали вкусить нашей духовности. Но прибыли в два часа пополуночи, и до утра им предстояло как-то дожить. Холодные, голодные — больно смотреть. Какая здесь духовность! Валентина Яковлевна звонит домой дочери Светлане, и та собирает все, что есть в доме: соленые огурцы, вареную картошку, квашеную капусту, яйца (что еще в наших домах может быть?), — и бегом в гостиницу, кормить едва живых англичан. Те в восторге, благодарят, ахают...

— Потом, уже из Англии, прислали благодарственное письмо с просьбой выслать рецепт. А как его вышлешь? — сетует Валентина Яковлевна. — Как англичанину объяснишь засолку огурцов или закуску капусты?

Вот в какой гостинице я живу и в каком ресторане ем!

Надо заметить, что в пушкингорскую гостиницу устроиться было невозможно. Только по заявкам свыше. А в первое воскресенье июня даже раскладушку получить было делом сверхсложным, и заимевший такую уже почитал себя избранным. Теперь же, если не считать шумную группу московских туристов, я здесь, кажется, один.

Солнечным морозным утром я отправился наблюдать жизнь пушкингорцев. Для этого, оказалось, не обязательно покидать гостиницу. Спустившись в вестибюль, я увидел трех старушек, которые разложили вязаные изделия: несколько пар шерстяных носков, варежки и черные перчатки. Пожилые люди внимательно следят за потоком туристов и, как только прознают, что к гостинице или на турбазу подъезжает автобус, мигом туда. Еще одно место их сосредоточения — автостоянка, находящаяся на Пушкинской улице, неподалеку от монастыря. В теплое время года женщины продают цветы. Это очень простенькие букетики, стоимостью от трех до пяти рублей, а самые дорогие не более десяти — пятнадцати. Всё выращивают на своих участках. В основном — тюльпаны, гладиолусы, хризантемы, бывают и вазильки. Роскошных и диковинных цветов здесь, конечно же, нет. Но благодаря стараниям этих пожилых женщин могила поэта большую часть времени усыпана цветами.

Приехали люди издалека: где им взять цветы? А вот они, рядом. И старушкам серьезное, иногда единственное подспорье, и туристы довольны: «Как с пустыми руками идти к Пушкину?»; и сам поэт тоже рад живым, выращенным в любимом уголке цветам. Где еще простой цветок приносит так много радости и выполняет столько разных задач?

Обычно продавцы цветов стоят напротив памятника Пушкину. Некоторые подходят к Анастасиевским воротам монастыря. Но, повторю, это происходит лишь в теплое время года. Теперь же основной товар пушкингорских старушек — вязаные носки, варежки и шапочки, а также различные соленья, сушеные яблоки, грибы. Пожалуй, все.

Итак, представлю пожилых женщин, торгующих в вестибюле гостиницы.

Старшая из них — Антонина Васильевна. Ей семьдесят два года. Родилась в деревне Кокорино, в трех километрах от Пушкинских Гор, рядом с Тригорским. Проработала тридцать пять лет учителем математики в средней школе имени А. С. Пушкина. Мужу шестьдесят восемь лет, по профессии шофер, но уже давно на пенсии. Проживают вдвоем в собственном доме.

Антонине Алексеевне семьдесят лет. Она родом из деревни Лопатино Пушкингорского района. Много лет проработала телефонисткой, а выйдя на пенсию, какое-то время торговала в киоске, затем недолго работала сторожем. Живет одна в маленькой квартире. У нее есть сын, семья которого здесь же, в поселке.

Третьей моей собеседнице, Галине Васильевне, шестьдесят пять. Она тоже родилась неподалеку, в деревне Приворот, что в пяти километрах от Пушкинских Гор. Происходит из крестьянской семьи и сама с десяти лет работала в колхозе, которому отдала всю жизнь. Муж — тоже пенсионер. Проживают в двухкомнатной квартире.

С большим трудом удалось уговорить женщин рассказать о себе. Они смущались, переглядывались и внимательно смотрели на меня, пытаюсь распознать, чего же в действительности от них хотят. Наконец, после того как я прибегнул к хитрости (потом скажу, какой), они согласились поговорить. Я пригласил их в небольшой холл на втором этаже и усадил за журнальный столик.

Разглядывая вязаные носки, я спросил, сколько времени уходит на то, чтобы их связать.

Наступила пауза. Мои собеседницы уступали друг другу первенство для ответа. Заговорила Галина Васильевна:

— Их надо вязать где-то дня два. Часов за шестнадцать...

— За шестнадцать не успеешь, — возразила Антонина Васильевна. — Мы их вяжем с промежутками. Кроме этого, дел полно. Иногда и за три дня выходит.

— А продаете за двадцать рублей. Чуть больше, чем за доллар, — перевел я разговор на уровень макроэкономики.

— А мы и не знаем, как в доллары перевести. Он один день столько стоит, другой — иначе, я слышала, что будет больше двадцати, — вступила в разговор Антонина Алексеевна.

— Следите, значит, за долларом? — Я лукаво посмотрел на Антонину Алексеевну.

— Так, между прочим, — глядя в сторону, ответила она.

— Вы продаете свой товар туристам. Какое впечатление они на вас производят?

— Есть богатые, есть средние, — говорит Антонина Алексеевна. — Мы с ними в разговоры не вступаем. Покупают сейчас немного, но все-таки что-то продаем. У нас же все очень дешево. Вот я платок вяжу почти неделю, а продаю за тридцать рублей, редко когда за сорок. Но ведь нужно еще купить нитки. Если бы не вязание, у нас вообще не было бы источника существования. Пенсии-то не платят.

— Вас никто не преследует за такую «коммерческую» деятельность?

— Нет. Видимо, идут на уступки, — ответила Галина Васильевна, а Антонина Алексеевна даже не поняла моей тревоги:

— Что же мы такого делаем? Не воруем, никого не грабим... Это нас грабят, а мы лишь стараемся выжить.

— Но вы занимаетесь тем, что зарабатываете, значит, бизнесом, в обход государства, — продолжал я отстаивать «интересы» властей и тем немедленно вызвал обиду и даже гнев со стороны собеседниц.

— Мы трудом занимаемся, — сказала с упреком Антонина Алексеевна. — Иногда всю ночь вяжешь, руки болят...

Интересно у нас устроено. Государство в одночасье освободилось от всякой ответственности перед своим народом, оставив людей один на один с бедами и невзгодами, которые власть сама же и породила. При этом ни одну из своих обязанностей государство не выполняет, ни одно из условий не соблюдает. Впрочем, одну функцию все же выполняет исправно в любое время и во всякую эпоху: когда надо что-нибудь отнять. В этом случае государство наше тут как тут. Сразу вспоминаются и законность, и конституция, и обязанности граждан, и прочее, что игнорируется, если речь заходит об ответственности самого государства.

В августе я наблюдал следующую картину: русская семья, вынужденно переселившаяся из Казахстана в Пушкинские Горы, решила открыть кафе. Заметьте, люди решили заниматься не грабежом на большой дороге, не воровством, не жульничеством, а печь вкусные домашние блинчики, заваривать крепкий чай и кормить посетителей Михайловского, у которых, как правило, денег на дорогую еду нет.

Добились разрешения на деятельность, с превеликим трудом преодолели бюрократические и иные препоны. При въезде в заповедник, рядом с Бугровым, установили вагончик и работают с утра до вечера. Поверьте, блинчики у них замечательные, особенно с повидлом. Но прибыли почти нет. Никак не могут купить новую микроволновую печь. Почему? Все уходит в налоги. А работают так: продадут блинчик и спешат записать в специальный журнал: «17 августа. Десять блинчиков с повидлом. Пять стаканов чаю с сахаром». И попробуй не зафиксировать. Налоговый инспектор явится — и конец свободному предпринимательству, хана малому и среднему бизнесу, смерть среднему классу — социальной опоре демократии.

В кафе на автовокзале румяная девушка продает стакан сока, пирожок с капустой и спешит зафиксировать эту куплю-продажу в журнал, который исправно проверяется налоговыми службами: а вдруг продаст втихаря пирожок-другой да наживется в обход государства! Это же губительно для бюджета, для экономики, для стабилизации и прочего, о чем день и ночь вещают наши политоракулы. А посмотрели бы холеные и ухоженные кремлевские начальники на то, в какие старенькие туфельки обута эта сельская девушка, какая у нее кофтенка, какое платье, спросили бы, как и на что живут ее родители, как часто ходит она в кино, когда в последний раз была в театре, да была ли там вообще... И так не только в Пушкинских Горах. Так везде. По всей стране.

Но посмотрите. Именно в тот день, когда я покупал блинчики с чаем у деревни Бугрово, в стране произошел «финансовый кризис», оставивший без денег и надежд на то, что они когда-нибудь будут, миллионы людей. Государство в очередной раз обокрало народ, действуя на этот раз не как бандит с большой дороги, а как шулер в провинциальном казино. Виновным же выставило невысокого молодого человека с незапоминающейся внешностью. Теперь будут исправлять его ошибки. Делов-то.

Интересно, знают ли наши реформаторы, что, например, двести пятьдесят тысяч (из миллиона) вполне западного и цивилизованного Неаполя живут за счет того, что незаконно торгуют сигаретами? Занимаются контрабандой на своих суденышках. И об этом известно всем: властям города, прокурору, налоговым службам, прессе... Но там понимают: пусть лучше занимаются незаконной продажей сигарет и как-то кормятся (если уж власти не могут прокормить), чем берут в руки оружие и устраивают революции. И это понимают не только в Италии. Мир несовершенен и далеко не всегда законопослушен. Даже тот мир, с которого мы так усердно переписываем для себя нормы и правила.

...Вернемся в гостиницу «Дружба» к моим собеседницам.

Какова их пенсия? У двоих по четыреста рублей, а у Антонины Васильевны на сорок больше. И вот эти-то деньги они не получают уже три месяца, лишь только следят, как еще не полученные четыреста рублей превращаются в триста, в двести, в ничто...

— Ведь это уже получают совсем другие деньги,— рассуждает Антонина Алексеевна.— Как на них жить?

— Дети помогают?

— Откуда? Я им помогаю... У меня невестка учительница...— Тут у Антонины Алексеевны полились слезы, голос изменился, стал едва слышным, она принялась искать в карманах носовой платок.— Говорить не могу... Двое детей на руках... Слава Богу, свой огород есть, я работаю по возможности...

— Что же будет? — отчего-то спросил я, будто и так не ясно.

— Ничего хорошего. Остается за оружие браться, да я старая, у меня и ходить сил нет.— Антонина Алексеевна вытирала слезы, и в ее словах звучала скорее беспомощность, чем гнев.

— Что для вас значит Пушкин? — Я попытался сменить тему и отвлечь собеседниц от насущных бед.

После некоторого раздумья первой ответила Антонина Васильевна:

— Хорошо, что Пушкин побывал у нас. Если бы не Александр Сергеевич, то и нашего поселка не было бы. Это его заслуга. Спасибо ему за то, что асфальт проложили, стали приезжать туристы. Мы благодаря этому выживаем... С детства ходили в Тригорский парк, там есть Дуб уединения...— У Антонины Васильевны проступили слезы, вызванные воспоминаниями.— С тех пор как стали отмечать день поэзии, мы каждый год ходили на праздники, не пропустили ни одного, каждый его день рождения отмечали... Не могу говорить...

— Ну, что же вы плачете? — старался я приободрить женщин.

— От жизни такой плачем, от жизни,— не успокаивалась Антонина Васильевна.— Не думали, что будем помирать вот так. Мы с мужем вышли на пенсию, и нам обещали, что не будут с нас брать налог, а теперь берут. Куда это годится? Раньше, бывало, приезжали друзья, знакомые, даже жить пускали к себе из Москвы, Ленинграда, Воронежа... Сейчас никто не приезжает.

— А люди какие вокруг? Как они живут? — обратился я к Галине Васильевне, давая возможность другим собеседницам прийти в себя.

— На людей больно смотреть. Особенно сочувствую молодежи. Нам-то уже ничего не нужно, и одежды хватает, и жить есть где, и планов особых нет, а им-то как-ково? Было время, приезжали молодые специалисты, и их обеспечивали жильем. А сейчас? Племянница окончила педагогический и сидит без работы, а у нее вот-вот родится ребеночек, его надо будет во что-то одеть, обуть, накормить. Чем могу помочь, чтобы хоть от голода...

Теперь уже вовсе плачет Галина Васильевна.

— Народ у нас хороший, не озлобленный, умеет поддерживать друг друга. Что еще сказать? Тяжело народу... Вы про Пушкина спрашиваете.— Галина Васильевна улыбается сквозь слезы.— Пушкин — это большой праздник! С самого детства из деревни мы приходили на его день рождения. Столько было народу! Даже из Африки приезжали, и для нас это было так необычно. Александра Сергеевича у нас любят все. Ничего плохого о нем не знаю. Только хорошее. Он нас всех соединил, приобщил друг к другу. Все нации.

— Если бы вы его вдруг увидели, живого, что бы сказали? — Я обратился ко всем сразу, и здесь мои собеседницы задумались.

Первой стала отвечать Антонина Алексеевна, глядя куда-то вдаль, видимо, представляя такую встречу:

— Я сказала бы: «Спасибо, Александр Сергеевич, что приезжали к нам в Михайловское». Ему-то, может, и не в радость это было, он же в ссылке был. Но здесь он разговаривал с крестьянами, посещал ярмарку.

— А я бы поблагодарила Пушкина за то, что он появился на свет, — сказала Антонина Васильевна. — У меня внук — Александр Сергеевич, в честь него! Спасибо, что сослали его не куда-нибудь, а к нам. Благодаря ему мы хоть как-то живем. Да и он набрался здесь у нас многого доброго.

Последней отвечала на этот странный вопрос Галина Васильевна:

— А я сказала бы: «Спасибо, Александр Сергеевич, за то, что столько сочинили для нашего народа, за ваши радостные и добрые стихи. Как бы жили без них?»

Слушая старушек, я живо представил их в молодости: красивых, румяных, одетых в народные костюмы, сидящих за прялками в натопленной избе и мечтающих: «Кабы я была царица...»

— Почему, когда спрашиваю о жизни, у вас текут слезы, а как только речь заходит о Пушкине, вы сквозь слезы улыбаетесь, оживаете, даже молодеете?

— Он же наш, родной, и мы его любим. Жаль только, что мало пожил. — Антонина Васильевна говорит о Пушкине, будто о своем родственнике или по крайней мере о добром соседе.

— Если бы подольше пожил, у нас бы и жизнь была другая. Получше этой, — соглашается Антонина Алексеевна.

— А вы его считаете своим?

— Чей же он еще? — отвечает вопросом Антонина Алексеевна, и, наверное, только в Пушкиногорье можно услышать т а к о й ответ.

...Да, здесь понимают, что благодаря поэту существует поселок, приезжают туристы и продолжается жизнь, но понимают также и то, что сам Пушкин во многом состоялся благодаря этой земле и таким же людям, как сидящие предо мною женщины. Вот связь! Попробуй разорви ее. Стань доказывать обратное, начни утверждать, что Пушкин был плохим, несносным, расскажи, что двигало им лишь тщеславие, неумное честолюбие... Кто станет слушать это?

«Народ любит не Пушкина, а скорее миф о нем», — возразит иной знаток биографии поэта. «По мне, — пишет один из них, — так все великие художественные прозрения гениального Пушкина есть ничто по сравнению с деянием некоего безвестного для публики отца, который успешно вырастил и воспитал в одиночку больного от рождения сына». (См.: Сатанинские зигзаги Пушкина, М., 1998, стр. 301.)

Убедительно? Конечно. Но только как воспитывать, да еще успешно, без «прозрений гениального Пушкина»? На таких же «гениальных прозрениях» других наших великих, менее грешных, более целомудренных? Но ведь почти все они, если не все, обязаны своими «прозрениями» — Пушкину.

Уже слышу: «Не сотвори себе кумира!», «Только один Бог благ. Все прочие — перед Ним ничто!». Кто спорит? Кто спорит? И разве сам Пушкин на смертном одре («...хочу умереть христианином») не ответил, не преклонил колени пред Тем самым Отцом, Который не только воспитал Сына, но и послал Его на Голгофу и там в самый страшный для Него час оставил одного. Во имя нашего спасения! Нашего. И Пушкина тоже.

«Чей же он еще?» — то ли спрашивает, то ли утверждает пожилая женщина. Так не отзываются ни о кумире, ни тем более о Боге...

— Есть ли у России шанс и надежда на то, что мы все-таки выживем? — Я спросил о том, о чем спрашивают обычно лишь политиков и ученых.

— Мы-то нет, — уверенно отвечает Антонина Васильевна. — Но хоть бы дети или внуки наши выжили. Вот чего хочется.

— Здесь сейчас вокруг целина. Земля совсем не обрабатывается. Какое тут будущее, если все заросло бурьяном и сорняками? — Галина Васильевна безнадежно помрачнела, а Антонина Алексеевна, самая решительная из моих собеседниц, предположила:

— Боюсь, что кончится терпение у людей и они пойдут кто с чем...

...Ох уж это терпение народное! Слышишь ото всюду стон, плач, вопль и вместе с ними ожидания того, что кончится это самое терпение и вот тогда... Что тогда?

Помню, впервые приехал за рубеж, в Германию, в старинный город Брауншвейг. Надо было проехать на рейсовом автобусе, и наш провожатый, немец, глядя на часы, сказал:

«Через три минуты надо быть на остановке».

«Почему через три?» — изумились мы.

«Потому что автобус подойдет точно по расписанию. Минута в минуту», — ответил провожатый.

«Не может быть!» — засомневались мы.

«Вот увидите», — уверенно и с гордостью сказал немец.

И действительно, автобус подошел ровно в назначенное время.

«А если бы он опоздал?» — спросили мы, находясь под впечатлением.

«Это невозможно», — утверждал немец.

«Но все-таки», — не успокаивались мы.

Тогда немец пояснил, что, если бы автобус опоздал на минуту, граждане бы возмутились и высказывали водителю свое отношение. Если бы он опоздал на три минуты, посыпались бы жалобы в магистратуру, а опоздай он на десять минут, была бы, наверное, демонстрация, к которой подключились бы все жители района, включая тех, кто городским транспортом не пользуется. Последствия были бы непредсказуемыми для городских властей.

Верилось в сказанное с трудом: ведь мы живем в стране, где подобное невозможно даже представить. Опоздавший или не пришедший вовсе автобус — для нас такая мелочь, что на это никто не обратит внимания. Напротив, чем дольше прождем этот автобус (трамвай, троллейбус, самолет...) — тем радостнее нам будет в нем оказаться. То, что другие народы ни за что не потерпят, мы на фоне наших великих невзгод даже не заметим. Что угодно можно с нами делать — терпение народа неисчерпаемо. Можно не платить месяцами зарплату и пенсии, забыть о стариках, не лечить больных, не защищать жизнь людей, не учить детей, не кормить немощных — все стерпим. Смолчим.

Почему? Почему нет всеобщего гнева при всеобщем недовольстве? Отчего никто не идет, как выразилась Антонина Алексеевна, «кто с чем»? И я сам часто задаю себе вопрос: «Когда же кончится терпение?» И все чаще отвечаю: «Н и к о г д а!»

Потому что тут же возникают и другие вопросы: «Ну закончится терпение где-нибудь в Смоленске — и что? А в Барнауле люди в это время уже готовятся ко сну — там терпение кончилось несколькими часами раньше. А в Хабаровске народ уже скоро начнет просыпаться, там еще день впереди... Это вам не Франция, где в Лионе свистнули, а в Париже отозвались и уже строят баррикады.

Ну, хорошо, представим, что терпение в России закончилось повсюду одновременно. Что тогда? Возьмешь оружие и куда пойдешь? На кого? А-у-у-у!.. На поезд — и в Москву? А если тетка-железнодорожница забудет стрелку перевести? Уйдет твой революционный состав вместе с такими же «нетерпеливыми» далеко-далеко в сторону, так далеко, что уже будешь только мечтать, как бы живым вернуться.

Ладно, представим, что добрался до Москвы. Дальше что? Ну придешь с палкой в тот же Кремль, взберешься на стену — и что? Прогонишь начальников, сядешь на их место и будешь править? Так ведь было такое в нашей истории, когда и за оружие брались, и в Кремль приходили, и прогнали начальников, потом садились, правила... Что изменилось?»

Знаете, почему автобусы в Германии ходят строго по расписанию? Не потому, что кто-то боится гнева народного или начальственного. А потому, что водителю не позволяет жить и работать иначе гордость. Его собственная и двадцати поколений предков!..

Не знаю, чего дольше дожидаться, то ли пока закончится у народа нашего терпение, то ли когда у него появится гордость...

Закончив разговор, я купил у каждой по две пары носков да еще одни вязаные перчатки: все же лучше, чем кожаные. Старушки заулыбались: появилась денежка. Вижу по лицам — каждая уже знает, на что эти деньги израсходуется. Сказали, что будут молиться за мое здоровье, а Антонина Алексеевна меня пожалела: «Разорили вас старые бабки».

Довольные встречей каждый по-своему, мы вышли на площадь перед гостиницей, и я сфотографировал старушек «на память».

...Знаете, как я уговорил их побеседовать со мной?

Сначала зывал к их гражданской совести, к жалости ко мне, литератору, приехавшему ради них из самой Москвы, апеллировал еще к чему-то — ни в какую.

«Что же вы? Так трудно живете, жалуетесь, а когда вас спрашивают, чтобы об этом написать, вы голову в песок. Как так можно?» — ругал я старушек.

В конце концов, склоняя старушек к разговору, решил схитрить: «Вот поговорите со мной — куплю носки».

Они переглянулись — и согласились. А эти шерстяные носки мне очень пригодились.

В то время, когда я фотографировал моих собеседниц, мимо гостиницы на своем «Запорожце» проехал Михаил Александрович, с роскошной белоснежной бородой старик, с которым я познакомился еще в августе у деревни Бугрово. Перед въездом в Михайловское, рядом с вагончиком семьи из Казахстана, он продавал мед. Разговор тогда получился любопытный. Видя перед собой бородатого, а значит, всезнающего старика, я заинтересовался, как было в этих местах при Пушкине.

— А кто ж яго знает, как оно было? Ничаво не было того, что щас есть,— тотчас ответил старик.

— Но пруд-то был?

— Да ня было здесь никакого пруда. Откуда ж яму здесь быть? — Михаил Александрович отвечал, едва мои вопросы доходили до его слуха, и на раздумья времени не тратил. (Постарайтесь также прочитывать этот диалог и вы, читатель.)

— А строения эти? Мельница водяная?

— Тоже ня было. Откуда ж мельнице взяться? Это все нядавно поставили.

— А что же было? — отчаялся я.

— А ничаво ня было.

— Так откуда же все взялось?

— А кто ж яго знает?

Вот такой разговор. Еще я успел сделать несколько снимков Михаила Александровича, расспросить про «Запорожец» и купить две пол-литровых банки меда. Угощая этим медом своих московских друзей, я хвастал: «Вот таким же лакомился Пушкин!» Я также обратил внимание на то, что Михаил Александрович, несмотря на подвижные руки, лицо и динамичную речь, от «Запорожца» не отходит ни на шаг. Увлеченный его речью и любуясь лицом, я не сразу заметил, что он стоит на протезах.

Уже в Москве, разглядывая его фотопортрет, я вспоминал старика, надеялся встретить вновь и расспросить о жите-бытье. Но более всего хотел его просто слушать. Меня привлекали голос и речь Михаила Александровича, интонации, выражения, едва уловимое лукавство. Конечно, такую колоритную фигуру в небольшом поселке я бы отыскал быстро. Но вот он сам проехал мимо на своем тарыхтящем агрегате в сторону турбазы. Теперь найти его не представляло труда: он ехал продавать мед.

Я решил не откладывать новую встречу и направился к турбазе. Там сразу же увидел Михаила Александровича. Он сидел в «Запорожце» и поджидал покупателей.

Я спросил, помнит ли он меня.

— Да нет, чаво-то ня припомню,— ответил Михаил Александрович, даже не взглянув в мою сторону.

— Ну как же? Я покупал у вас мед и фотографировал. В Бугрово, у въезда в Михайловское... Помните?

— Мядку-то многие брали. И москвичи, и из Ленинграда, и был тут один из Курляндии... Всех-то не упомнишь.— Михаил Александрович отвечал, как и летом, без малейшей паузы.

— Ну как «Запорожец»? — решил я развить тему, а вместе с ней и знакомство.

— Самая лучшая машина, слава Богу. Сколько езжу, а еще ня разу яму в душу ня заглядывал. Никаких иномарок ня надо. Иномарка тут и ня проедет.

В модернизированном под хозяйственные нужды «Запорожце» только одно сиденье — для Михаила Александровича. Остальные убраны — освободилось место для перевозки самых разных грузов. Вижу корзину с тремя баночками меда, а на месте заднего сиденья еще какие-то корзины и коробки, содержимое которых не разглядел. Я предложил Михаилу Александровичу встретиться и поговорить.

— А чаво со мной говорить? Я ня грамотный. Есть грамотные люди — они все знают, с ними и надо говорить.

— Но я хочу поговорить именно с вами,— настаивал я безо всяких аргументов.

— А я чаво? У меня и времени нет. Сейчас здесь сяжу, жду, должны за мядком подойти. Завтра поеду к сябе на огород, там у меня пасека. Надо картошеньки набрать да сготовить чаво. Живу-то один, а готовить ня люблю. Ой как ня люблю! Все колбаску, да все на сухую. А надо сварить чаво-нибудь, жиденького.

— Так давайте чего-нибудь сварим и поговорим.

— Так о чем говорить-то? Говорить-то не о чем. Так, живем потяхоньку.— Михаил Александрович наконец-то посмотрел в мою сторону.

— Ну вот об этом и поговорим.

— А чаво об этом говорить? Всем известно, как живем, и без разговоров. Как все живут, так и я живу. Потяхоньку, помаленьку... Вот, котика надо покормить, потом картошки набрать да свеколки сварить, а там и день прошел... Чаво говорить?

— Понимаете,— стал объяснять я,— хочу что-нибудь написать о Пушкинских Горах, о жизни людей вокруг Пушкина. Надо, чтобы все знали, как здесь у вас...

— А чаво об этом писать? Как везде, так и у нас.

— Все же давайте увидимся,— не отставал я, несмотря на безупречные доводы Михаила Александровича.

— Так вы меня сейчас видите.

— Ну нет! Это надо спокойно, не торопясь... Где вы живете?

— Да тут, нядалеко. За гостиницей. В микрорайоне.

— Так у вас и телефон есть?

— И теляфон есть.

Почувствовав, что Михаил Александрович уже сам не прочь поговорить, я записал телефон и направился к своей машине. Вдруг слышу, он что-то говорит вдогонку.

— Так и адрес запишите.

Я вернулся и записал адрес. Едва отошел, он вновь:

— Звонить будете, так подольше, а то я пока с кухни до теляфона дойду... Подольше звоните.

Не любит наш молчаливый народ болтать по пустякам. Но поговорить по душам — совсем другое дело. Иной всю жизнь проживет, да так и останется никем не услышан. Да что там «не услышан», даже не послушан.

Мы договорились, что я обязательно позвоню вечером.

После обеда в ресторане «Лукоморье» я зашел в гастроном и встретил там Валентину Яковлевну. Она еще утром сдала смену и теперь занималась домашними делами. Я похвастал разговором со старушками, рассказал, что встретил Михаила Александровича, а она, в свою очередь, посоветовала встретиться с бывшей учительницей русского языка и литературы Алевтиной Васильевной. «Вот с кем надо обязательно поговорить. Это просто клад, а не человек», — сказала Валентина Яковлевна. Более того, согласилась проводить меня к бывшей учительнице и представить ей.

Мы тут же направились к Алевтине Васильевне, благо ее дом расположен в двух шагах от гостиницы, прямо у памятника А. С. Пушкину.

Хозяйки дома не оказалось. Валентина Яковлевна предположила, что она где-то неподалеку, возможно, у соседей, или пошла за хлебом в дальний магазин: там он на сорок копеек дешевле. Мы перешли улицу, подошли к автостоянке и встретили несколько старушек, выставивших на продажу свой нехитрый товар. Кроме них, здесь находились двое детишек-цыган и мужчина, возраст которого определить довольно сложно.

Старушки продавали маринованные и соленые грибы, квашеную капусту, сушеные яблоки, вязаные варежки и носки, а также головки чеснока. Рядом с этим товаром лежала книга «У Лукоморья» С. С. Гейченко, легендарного директора музея-заповедника. Валентина Яковлевна поинтересовалась у женщин, не видели ли они Алевтину Васильевну, а я решил купить книгу.

— Сколько стоит?

— А сколько дадите.

Сошлись на шести рублях, и не знаю, кто из нас был больше рад этой «делке».

Затем я стал фотографировать старушек, и это мне дорого стоило. Они тут же на меня набросились с руганью и упреками. Валентина Яковлевна стала объяснять, что приехал я издалека, ничего дурного не замышляю, хочу лишь написать о жизни в Пушкинских Горах. Услышав это, старушки меня обступили, а одна, бранившая больше других, стала рассказывать... Впрочем, это был не рассказ, а сплошной отчаянный вопль.

— Здесь когда-то было все. Земли очень хорошие, плодородные. И скот был, и зерно было, а сейчас до того дошло, что даже фундамент и тот разворовали...

— Кто? — громко спросил я.

— А те, у кого машины. Купцы разные. Не такая же баба, как я: руки, ноги негодные. Я вот яблочек да грибков принесла — и все... И чего только глядят эти, которые там сидят, наверху, как их назвать, не знаю. Вот, дожили! — Женщина залилась слезами, стоящие рядом — тоже.

— Что же вы все плачете?

— Эх, сынок! Отец погиб в войну, и я с десяти годов добра-то так и не видела. Вот за то и плачу. Нервы не в порядке. Вот как! Дожили! Коммунисты не хороши были, воровали, обманывали, при них было плохо. А теперь кому хорошо? Бывало, заиграет гимн, а мы, хоть и старые и ноги больные, но какая-то гордость появлялась,

бодрость, жить хотелось! А теперь? Что происходит? Не понять ничего. Детей до чего довели? Наркоманы, пьяницы... А девочки чем занимаются?.. Раньше я работала на стройке, у всех была работа, кто дома строил, кто заборы красил, кто в поле пахал — все работали. А теперь? Безработица. Это при том, что все стоит: земли не обработаны, дети не кормлены, продукции нет! А у нас безработица! Как такое может быть, я спрашиваю? Коммунисты были нехороши. Согласна. Ельцин их ругает. Но почему он не даст приказ и не сделает, чтобы стало лучше, чем при коммунистах? Вот у нас ни у кого нет денег. И пенсии не платят, и заработать негде. А бывало, на выходные едешь в колхоз убирать лен. Многие ездили. Приедешь оттуда — рублей сорок пять, а то и семьдесят заработаешь. Я и то куплю, и другое, и ребеночку что-нибудь, и маме. Глядишь, там и зарплата подошла. А теперь? До чего довели! Поросянка держи — комбикорма не купить. В Пскове двадцать шесть рублей мешок, а у нас — пятьдесят! Как жить можно? Куда все делось? Я работала на стройке, и нам два раза в неделю привозили колбасу, а теперь если два раза в год укушу этой колбаски — и то хорошо.

— А вообще что едите?

— Чего едим? Да есть огород, сынок. Вот капуста посажена. Картошка нынче уродилась плоховато, гниет, мокрота-то была какая, одни дожди. Грибы нанюшены, ягоды, компоты наделаны, но теперь, смотри, песок — девять с половиной рублей! Ну, как жить-то? Буханка была семнадцать копеек, а теперь?.. Я думаю, зачем садиться в начальство, если не можешь? Ну как я, старая неграмотная баба, сяду в начальство? У меня и голова не работает. Надо в начальники сажать тех, которые могут. Чтобы и себе была польза, и людям. Ну что этот наш, как его, выглядывает по телевизору, рожа пьяная... Он обижается, что его оскорбляют. А зачем он дожидается, чтобы оскорбляли? Или у нас нельзя ничего говорить?

— Почему же нельзя? Вы же говорите, даже кричите — и ничего.

— Вот именно, сынок, что «ничего». Вот мы и думаем, а чего лезут в начальство, если толку нет? Толку нет — чего сидеть? Выберите того, от кого есть толк. Того, кто умеет, кто знает, как сделать, чтобы было людям хорошо.

— Ну вот будут выборы, вы и смотрите, выбирайте умного, честного...

— Без пользы, сынок, без пользы, милый! — Женщина пыталась вытереть слезы носовым платком, но у нее от волнения это не получалось, а я ужасался ее полной беспомощности и обреченности. И не только ее, но и всех остальных, обступивших меня пожилых женщин, да и своей тоже.

— Почему же «без пользы»? — делал я вид, что думаю иначе.

— А все одно — обманут. Наобещают, наговорят — и обманут! Они же там умные, головы у них работают. Знают, как нас, неграмотных старух, обдурить. И опять выберут такого, что будем помирать с голоду...

Женщина продолжала причитать, а я, глядя на нее, вспомнил наши выборы: танцующих на эстраде кандидатов; жизнеутверждающие телевизионные клипы, призывающие к доверию плакаты, листовки и огромные рекламные щиты вдоль улиц; бесконечные выступления политологов, аналитиков, имиджмейкеров и прочих специалистов по выборным кампаниям, их прогнозы, опросы, рейтинги. А еще обливание друг друга компроматами да, кроме того, подкуп, запугивание — словом, все то, что называется «избирательными технологиями». Разумеется, главным двигателем этих «технологий» является ложь. Чем она откровеннее, чем непостижимее, нелепее и наглее, тем, кажется, в нее охотнее готовы поверить.

«Таковы издержки демократии, — скажут нам, — так происходит повсюду, не только у нас». Ну, да Бог с ним, пусть все эти аналитики и имиджмейкеры зарабатывают деньги. В конце концов это их работа — обманывать таких, как я и мои собеседницы из Пушкинских Гор, тем более что мы и сами рады обманываться — так постыла убогая и нищенская жизнь. Но вот что позорно: почему этому наглому и циничному хору подпевает наша интеллигенция? Почему люди, кажется, весьма достойные и уважаемые, вдруг забывают и о своем призвании, и о чувстве собственного достоинства, и о том, что соучастие во лжи, в обмане своего народа есть высший грех для всякого мыслящего человека. И, посмотрите, они всегда на стороне власти, на стороне начальства, на стороне сильного.

«Что вы, что вы? Именно из чувства долга и сопричастности ко всему, что творится в стране, именно ответственность за судьбы народа и совесть не позволяют оставаться в стороне...»

Что может противопоставить всем этим «технологиям», интеллектуальным изыскам и потоку из высоконравственных аргументов стоящая передо мною пушкингорская старушка? Только слезы да упование на милость Божию...

— ...Я при немце жила, у нас папа с первого дня войны взят и погиб за два месяца до окончания. Сама с четырнадцати лет косила, пахала, сеяла, но как-то выжила. А теперь? Довели до основания. Гибель — и все! Молодежь не работает, старикам есть нечего, детям комбикорма дают. Как так можно?

Женщина, вытирая слезы, почти кричала. Ей кивали и поддакивали другие старушки и тоже плакали. Все это превращалось в какой-то сплошной стон, который я был не в силах остановить, и, чтобы как-то выпутаться, спросил о Пушкине... Все на мгновение затихли.

— А что Пушкин, сынок? Он хороший был, добрый, о людях-то заботился, плохого никому не сделал, за то и убили...

В разговор включились и остальные старушки, каждая стала говорить о чем-то своем, и я почувствовал общий упрек: как можно об этом спрашивать?

— Без Пушкина здесь ничего бы не было. Ни поселка, ни дорог... Слава Богу, что он здесь был. Сейчас таких, как он, нет.

Валентина Яковлевна пришла ко мне на помощь. Стала объяснять, что я всего лишь приезжий литератор и, кроме как выслушать, более ничем помочь не могу.

— Да мы и не надеемся. Просто хотелось высказать кому-то.

Мы с Валентиной Яковлевной покинули автостоянку и вернулись к гостинице. Встречу с Алевиной Васильевной пришлось перенести, а сегодня мне еще предстоял разговор с Михаилом Александровичем.

Я позвонил ему около четырех. Михаил Александрович сразу же снял трубку и, немного поартачившись («А чаво говорить?»), сказал, что ждет меня. Проживает он в микрорайоне, прямо за гостиницей. Это обычный, типовой жилой массив, состоящий из блочных пятиэтажек-хрущевок. Окажись в одном из дворов такого района, ни за что не определишь, в каком городе находишься, в какой области, вообще в какой части России. Впрочем, главное — не ошибиться в стране.

Спустя десять минут я находился в однокомнатной холостяцкой квартире Михаила Александровича, описать которую довольно просто, потому что ничего в этой квартире нет. Тумбочка, кровать, стол, стул... Есть, правда, импортный телевизор. На полу стопка книг и брошюр. Ни штор, ни занавесок на окнах. Зайти на кухню я не рискнул.

Михаил Александрович присел на кровать, а мне предложил стул. Один из протезов был отстегнут.

Первым делом я попросил Михаила Александровича рассказать о себе.

— А нечаво рассказывать о сябе, — без малейшей паузы, негромко, высоким и хриловатым голосом ответил Михаил Александрович.

— Ну, как «нечаво рассказывать»? — пытался я завести разговор.

— Ну если нечаво, то чаво же я могу рассказать?

— Как живется?

— Ну, как живется? Как сказать, хе-хе, когда как.

— Вот сейчас, например?

— Ну как сейчас? Рассказывать, как готовил, как за картошкой ходил, как кота накормил?... Вот это рассказывать? — Добродушный Михаил Александрович никак не понимал, о чем говорить.

— Да. Прямо так и рассказывайте. Вот проснулись сегодня...

— Проснулся часов, так ня знаю, в семь или восемь, наверное; пока протезы обувал, потом пошел кота накормить, пока с котом разбирался...

— А что, кота кормить трудно?

— Ай! Ня ест нячаво, — произнес с досадой Михаил Александрович. — Вот хлебаца яму потру-потру колбаской, а он все равно ня ест...

— Но где же этот кот живет? — Оглядев комнату, я следов какой-либо живности не обнаружил.

— А на другой квартире. — Михаил Александрович кивнул в сторону соседского дома.

— Как, один? — Я почувствовал, что здесь что-то не то.

— Один. — Мой собеседник явно уклонялся от продолжения темы, но я не отступал.

— И что, больше никто с ним не живет?

— Ну, там... — Михаил Александрович замаялся. — Как вам сказать... Там я с одной... жил... Ну она уехала к дочке во Псков, на няделю, может, на две, и мне тяперь надо ухаживать за котом. — Здесь старик рассмеялся, о чем-то вспоминая. — Пришел вчера или позавчера, гляжу — теляфона нет! Ай, как испугался! Думаю, уже и теляфоны стали красть. Смотрю, вроде нечаво не тронуту. Потом, слышу, что-то пика-

ет под кроватью. Смотрю, кот теляфон на пол свалено. «Чаво? — думаю.— Кто-то звонил, наверное, а он трубку хотел взять да послушать». Хе-хе!

— А какого вы года рождения?

— Двадцать пятого.

— А ноги где потеряли?

— Тут история большая. Как освободили нас в сорок четвертом... Я уже и забыл. У немцев в лагере был, потом из лагеря бжал, на передовой был. Воявал. А ноги потерял в Курляндии. Был в тылу у немцев заброшено. В окружение попали. Выходили из окружения, пошли за продуктами, там ня знаю, откуда снаряд взялся и оборвал ноги.

— Это, значит, вам еще не было и девятнадцати.

— Ня знаю, может, что и не было. Оборвало в марте, числа двадцать перваго.

Перед концом войны.

— Как же удается жить сейчас?

— Ну как? И волк живет, и собака — все живут, и я живу! — Михаил Александрович засмеялся.— По чужим подвалам ня хожу. Сроду ничаво ни у кого ня брал. Сам все выращиваю. Хоть на коленках ползаю, но выращиваю. Все продукты...

— И мед!

— И мед... А если б не мед, так пропал бы. Потому, что пенсию и ня знаю, когда принесут. Мядку вот сейчас продал, теперь до Нового года помаленечку доживу. Другой раз подзагуляю, пропью. Опять не на чужие...

— Любите выпить?

— Любить-то нет. Но как завядусь маленько, то могу и выпить. А так нет. Другие умирают, хотят выпить, а мне этого ня надо.

— Что думаете про жизнь?

— А что жизнь? Как Бог даст. Как здоровье ничаво — так и жизнь ничаво. А как другой раз с боку на бок ворочаешься и голова кружится, то какая жизнь? В больницу ня хожу, там делать нечаво. У меня свое лякарство: мядку попью, травку кое-какую заварю.

— А кроме мядка и травки, что еще едите?

— А когда чего... Тут два месяца газу ня было, так все на сухую. А так съезжу к сестре, молочка привязу, а когда и кофе попью, скипячу кипятыльничком... И то этот кипятыльничек стащили.

— Кто же?

— Я тут подзагулял один раз, привели меня... Ай, тут их много сидит, у гадюшника... Тут у нас есть такое «Бистро»... Вот они меня привели домой, а кипятыльничек стащили и еще кое-чего стащили, всего и не переговоришь. Друзья!

— А про Пушкина можете что-нибудь сказать?

— А про Пушкина я ничаво ня знаю, я его не застал,— без раздумья ответил Михаил Александрович и рассмеялся.— Особенно ня читаю, а что люди говорят — ня слушаю. Раньше много народу собиралось и я ходил и на машине ездил, а тяперь... Там делать нечаво. Народу там мало, я туда и ня хожу.

— Политикой не интересуетесь?

— Не-е-е! Я в это не вдаюсь. Зачем мне политика? Все равно по-нашему ня будет. Я и ня слушаю ничаво про политику, а начнут говорить, так я выключаю телявизор. Вот обсуждают, обсуждают, а зачем мне это? Если кто грамотный — он понимает, а я ня грамотный. Я и кино посмотрю, а через няделю забуду.

— Книги читаете? — Я посмотрел в сторону лежащих на полу книг.

— Читаю. Свои. Пчеловодные. Много разных книжек у меня. Есть, которые любят читать сберегательные книжки, а я про пчеловодство.

— Пожалуйста, еще немного о себе расскажите,— взмолился я.

— Ну, а чаво еще сказать? Нечаво особенно рассказывать. Когда газ есть, то я свеколки сварю, а то и щичек свеженьких — капуста своя, а так, бывает, цельным днем посяжу, поляжу... К зиме готовлюсь. К рыбалке.

Не зная, что говорить, Михаил Александрович мучился.

— Будете ходить на рыбалку?

— Ходить-то ня буду. Ездить буду, если машина ня подведет. Поезжу на рыбалку, по первому лядку. С Леонидом Константиновичем, есть тут такой. Мы с ним на пару. Поедем по озерам. Посидим. Половим рыбку...

— Тут много приезжает туристов. К Пушкину. Какое впечатление они производят? Что говорят? Что спрашивают?

— А я с туристами ня знаюсь. Вот в субботу, в воскресенье на турбазу связу мядку, продам и живу нядельку. А шас уже, можно сказать, и продавать нечаво. Для себя только немного мядку оставил. Летом, бывало, в Бугрово выезжаю. Там приезжа-

ют на машинах богатые люди. Постою, мядку продам. А больше с туристами ня знаюсь.

— Квартира у вас давно? — Я еще раз оглядел комнату.

— Давно уже. Как начал микрорайон строиться, так и квартиру получил. Как инвалид войны. У меня и хозяйка была. Тоже без ноги.

— Где она сейчас?

— А умерши. Уже больше десяти лет.

Меня поразило, что в ответе не было ни тени скорби или тоски. Сам голос тоже не изменился, хотя речь зашла о потере близкого, может быть, самого близкого человека. Что это? Равнодушие, безучастность, небрежение к памяти? Пожалуй, нет. Скорее смирение с судьбой. Полное, абсолютное принятие ее такой, какая выпала, какую дал Бог и какую он не в силах ни изменить, ни осудить.

— Чего же вы еще ждете от жизни?

— А чаво тяперь можно от жизни ждять? Только смерти. Больше нечаво.

И вновь ответ без паузы, без малейшей задумчивости над тем, над чем бы иной, прежде чем ответить, напрягся, сосредоточился, собрался...

— Теперь мне уже семьдесят с гаком. Сколько операций перенесено! Все перерезано, переворочано... Больше пятидесяти лет без ног, все волочу и волочу...

— А как в поселке молодежь? — решил я сменить тему.

— А что молодежь? Двери ломают.

— Как это?

— Хотят выпить, ломают дверь и рыщут. Вот у меня ничаво нет, а другой раз приду — все перерыто, деньги забрано. Был в дярвене, тут, километров десять, приехал, смотрю — дверь открыта, все перерыто. Милиция была. Составили акт: орден забрано, мядали взято, хозяйкино украшение — бусы, броши, что там у них еще, ня знаю, кто чаво носит... Все забрано.

— И вы на жизнь не жалуетесь?

— Не-е-е! А чаво на нее жаловаться?

— В церковь не ходите?

— А чаво там делать? Грешить? У меня сястра, мы блязнецы с ней, с Ленинграда сменяла квартиру. Щас тут живет. Так мы с ней даже ня знаемся. Вот она в церковь ходит... А я ня хожу. Чаво грешить?

— Еще что-нибудь хотите сказать?

— Ну, а чаво говорить? Нечаво говорить. Что крадут тяперь?..

— Так всегда на Руси крали, — поддержал я тон Михаила Александровича.

— Раньше ня так... Тоже крали, и коров уводили, и свиной зарезанных уносили. Бывало в дярвнях такое... А тяперь у меня в Бобрах, такая дярвеня есть, один уже восемь или девять раз сидел за кражу, а позавчера его самого обокрали. Он в больницу, а его в это время обчистили. Там и тушеночка была, и водочка, и еще кой-чего, ня знаю... Оказалось, соседи! Они тоже в тюрьме сидели. Хорошо, что сястра явная хватилася. Воруют...

— ...И пьют!

— А пить-то! Вон сидят на базаре... У гадюшника... Проходишь иногда, нет, нет да выпьешь. То спина не сгинается, то руки, то шея, а выпьешь — помогает. И сам, как говорится, душа не калека. Выпьешь, а они уже по запаху чувствуют: идешь ня так, а они уже видят...

Еще немного поговорив, мы попрощались. По пути в гостиницу зашел в гастроном — купить какую-нибудь еду. Как и у Михаила Александровича, у меня тоже есть кипятыльничек, которий, надеюсь, не стащили. Хожу по магазину, а все мысли о моем собеседнике...

Кто о нем слышал? Никто, кроме соседей да заезжих покупателей меда. И сам я тоже ничего о нем не знал. Да и сейчас, после нашего разговора, мало что выяснил. И сам Михаил Александрович никак не поймет, чего от него хотят, чего добиваются. Ничем вроде не проявил себя, неграмотный, никуда не ходит, ни во что не ввязывается, незаметно и тихо живет, котика кормит да «мядок» продает, и все с таким видом, что и проницательный глаз не сразу протезы заметит. А между тем, оставшись без ног в восемнадцат лет, почти юношей человек не пропал, не опустил, не перешел в разряд убогих и немощных, пережил не одну эпоху, не один кризис, сейчас очередной переживает, а все держится: «Хоть на коленках ползаю, а выращиваю». Вот и думаешь: меньший ли это подвиг, чем того, кто, потеряв ноги, выжил, вновь сел в самолет и полетел на фашистов с бомбами?..

Купил в магазине булку, печенье да еще сыра. В ресторан вечером зайти не рещушь. Там вовсю гуляют туристы. Сегодня у них последняя ночь, и утром они уедут. Вот когда я смогу спокойно жить.

У гастронома афиша, приглашающая пушкиногорцев в кино. Кинотеатр имени А. С. Пушкина закрыт, поэтому фильмы показывают в клубе. Там же, где проходят дискотеки. Вот названия кинофильмов на первую декаду ноября: «Кошмар на улице Вязов» (США); «Голая мишень» (США); «Сети любви» (Индия); «Черный кулак» (США); «Мольба о смерти» (США); «На следующее утро» (США); «Жажда смерти» (США).

В гостинице я пробыл недолго. Вскипятит небольшой фарфоровый чайник да еще принял горячий душ. Кроме граненого стакана, чайничек — единственная посуда в номере. Ну а за горячую воду можно вообще отдать все. Уже стемнело. За окном валит снег. На белоснежном фоне выделяется темный бюст Ленина, который стоит прямо под окном ко мне затылком.

Немного отдохнув, я направился к Святогорскому монастырю. У могилы Пушкина ни души, и я вновь смог побыть здесь один.

«Ну что, брат Пушкин?»

Смеемся, иронизируем, а ведь лучше гоголевского вопроса и не подберешь.

Вокруг белым-бело. Снежные хлопья опускаются на памятник, к его подножию. Снег скрыл мрамор, усыпал площадку вокруг могилы. Теперь здесь такой же вид, как в поле или в лесу. Проектора освещают обходящую монастырь улицу. Немного отойдя, вижу небольшой дом, самый близкий к могиле Александра Сергеевича. Светятся окна... Кто там живет?

Вновь и вновь обхожу памятник, останавливаюсь, пытаюсь вслушаться, вглядеться, что-то уловить. Тщетно... В Успенском соборе идет вечерняя служба. Я прошел в южный, во имя иконы Божией Матери Одигитрии, придел храма. Здесь, ранним утром 6 февраля, Пушкину служили панихиду. Сейчас тут продают церковные книги, свечи, иконы, а на том месте, где стоял гроб, горят свечи. Стою молча, глядя на огонь. Из северного, Покровского, придела доносится молитва. Приоткрыв тяжелую дверь, вхожу и попадаю в особую, почти домашнюю обстановку, теплую и близкую. Пахнет ладаном и воском. По освещенному свечами храму разливается густая дымка. Это ветхий свет застывшего времени. Его можно увидеть лишь вечером в таком небольшом православном храме или на полотнах Рембрандта. Ничто не отталкивает, не прогоняет, не раздражает... Несколько прихожан и монахов молятся. Молитву читает высокий бородатый монах лет сорока. Перед самым алтарем стоит на коленях худенькая девушка в черном. Наверное, монашка. Лица ее не вижу, так как стою позади. Она истово молится, наклоняясь к самому полу и почти касаясь его лбом. Десять раз, двадцать, тридцать... Ее худое, гибкое тело извивается, каждое новое движение с точностью повторяет предыдущее, и интервалы между поклонами совершенно равные. Сколько времени она так сможет? И чем же согрешила она? Озираюсь. Кроме меня, на девушку не смотрит никто. Поймал себя на том, что уже не смотрю на нее, как на монашку... (Что бы с нею стало, узнай она мои мысли?) Еще какое-то время стою, глядя на молящуюся девушку... Как же хочется увидеть ее лицо!

(Окончание следует.)



Если соль перестанет быть соленой...

Книжные прилавки завалены разноцветной глянцевою дребеденью — это победа Рынка, победа высокорентабельного над высококачественным. Но рынок — это всего лишь свобода потребителя за свои деньги заказывать угодную ему музыку (литературу). Иными словами, свобода и равенство губельны для культуры. Высокая культура — равно как любая сложная деятельность, требующая векового накопления приемов и критериев, требующая серьезной подготовки и усилий не только от творца, но и от потребителя — не может жить и развиваться без аристократии — общественного слоя, одновременно утонченного и влиятельного, имеющего возможность возвести свои вкусы в эталонные не путем демократического голосования, в том числе голосования рублем, способного лишь растворить знатоков в массе профанов почти до полной неразличимости, а через механизмы власти (государственного просвещения), через механизмы престижа, спроса... Если в слове «аристократия» кому-то слышится намек на автоматическую, наследственную принадлежность к этому слою, я готов заменить его словом «элита», относя к ней каждого, кто дорожит — до страсти! — хотя бы одним именем из длинного списка: Шекспир, Мольер, Толстой, Достоевский, Чехов, Герцен, Пруст, Кафка, Томас Манн, Джойс, Фолкнер, Платонов, Камю, Набоков... Отдельные имена в этом списке можно оспаривать, но ядро этого созвездия, я думаю, почти бесспорно.

Разумеется, при этом следует понимать, что элита — размытое и вовсе не однородное целое: разные ее части могут вести и нередко ведут — иногда бешеную — борьбу между собой. И все же признание художника есть признание его элитой. Разумеется также, что никакой отбор не гарантирует безупречной справедливости: в праве считаться «звездой», случается (и неизбежно будет случаться!), отказывают даже тем, кто составит впоследствии славу и гордость будущей элиты, — рождение новых «звезд», как все реальное, процесс трагический. Но отказ от самого понятия элиты, переход к плюралистическому «О вкусах не спорят, каждый по-своему прав» смертоносен для культуры: мастера будут вытоптаны толпой наглых дилетантов. Культ свободы и равенства — каждый может! — похоже, уже погубил эстрадную музыку, а музыку серьезную, возможно, спасает лишь то, что она слишком уж скучна для профанов. Наука тоже выстоит и при цунами плюрализма, омываемая мощными потоками таких «альтернативных течений», как астрология, хиромантия, знахарство, ведовство — слава Богу, внутри ее самой никому и никогда не придет в голову внедрять равноправие: отменить экзамены, каждому предоставить полное право иметь любое мнение по любому вопросу, ничем этого права не заслуживая, все вопросы решать голосованием, в котором голос специалиста весит столько же, сколько голос невежды... Эти принципы чрезвычайно опасны и в политике, но изгнать их оттуда скорее всего уже не удастся, хотя и красные, и коричневые, и зеленые революции всегда совершались и совершаются одним и тем же путем — демагоги, вооруженные примитивными мифами, натравливают толпу на элиту, которую не так легко провести ни панaceaми от социальных язв, ни панaceaми медицинскими.

Обеспечить сколько-нибудь заметный спрос на свои ценности сегодняшняя духовная элита абсолютно не в состоянии. Влияние ее на власть тоже не так велико, как хотелось бы, но все-таки оно неизмеримо больше, чем ее материальная сила: защищая себя путем забастовок или образования политической партии «За культуру», она не получила бы вообще ничего. Вместе с тем любой реальный политик, в собственной жизни которого культура не играет практически никакой роли, всегда готов среди более практических лозунгов написать на своем знамени и этот — «Спасение культуры».

Можно предположить, что культура при всей своей материальной бедности и физической слабости имеет в своем распоряжении довольно респектабельный миф, а все идеи овладевают массами лишь в мифологической оболочке. Именно на гребне очередного мифа имя того или иного писателя облетает земной шар, а когда мифотворческая волна спадает и книга, даже гениальная, опускается до своего собственного значения (ее значения в глазах духовной элиты), оно всегда оказывается очень небольшим, ибо мир живет не книгами. Мифами здесь и выше я называю не обязательно стопроцентную выдумку, а скорее ярко раскрашенную и предельно упрощенную (очищенную от противоречий и неопределенностей) модель реального явления, предназначенную не для того, чтобы его постичь, а для того, чтобы вызвать простое сильное чувство, не допускающее сомнений. В распространении культуры мифам принадлежит, пожалуй, еще более выдающаяся роль, чем в распространении идей политических, — роль как положительная, так и отрицательная: на симпозиуме в Зальцау мне пришлось услышать, что продвижению российских книг на германский рынок серьезно препятствуют, во-первых, отголоски гитлеровской пропаганды о «недочеловечестве» славянства, а во-вторых, представление о том, что личности, развивавшиеся под социалистическим гнетом, могут быть лишь однотипно забытыми и тусклыми, неспособными к сколько-нибудь интересной духовной деятельности. И если первый миф для каждого, кто слышал имена Толстого и Достоевского, не заслуживает внимания, то о втором пришлось высказаться специально: создав экономику, не направленную на прибыль, создав обширную науку, почти не ориентированную на практический результат, советская власть, сама того не желая, произвела на свет некое подобие духовной аристократии — многочисленный слой образованных людей, практически свободных от борьбы за социальное выживание, а потому, если на то будет охота, располагающих редкой в сегодняшнем мире возможностью хоть три рабочих дня подряд читать и передавать друг другу редкие книги и журнальные новинки, посещать кинофестивали, а потом еще неделю делиться впечатлениями. Самые «продвинутые» становились серьезными авторитетами даже при относительно слабых профессиональных заслугах. И эстетическое влияние этой аристократии — при нулевом политическом! — было вполне заметным: именно она соединенными усилиями сделала имя Трифонову и Тарковскому (список можно удлинить в десятки раз). Впрочем, и политическое влияние было существенным, если понимать под ним влияние на умы, добравшееся до самого Горбачева.

Быть может, именно мифы препятствуют проникновению на западный рынок нормальных, культурных писателей европейского склада: из «азиатской», «гулаговской» России ждут непременно чего-то экзотического — опаленного пламенем топки и КГБ кочегара из андеграунда, зека, лишённого зубов цингой и конвоем, шамана, пронесшего свои бубенчики сквозь всеобщее среднее, пещерного пророка, проклиная всю современную цивилизацию...

Но тамошние мифы по крайней мере далеко — гораздо более удручает тот факт, что сегодняшняя культурная элита, свалив партийную диктатуру под самоубийственным лозунгом «Рынок всегда прав!», продолжает творить мифы не самоутверждающие, а саморазрушающие: «Нынче стыдно одно — быть бедным», «Серьезная литература никому не нужна» и т. п. И хотя это очевидная неправда, последствия она имеет самые ощутимые — так ожидание финансового кризиса способно вызвать кризис вполне реальный. Процесс позитивного мифотворчества, разумеется, невозможно организовать рационально: чтобы опьянять других, прежде всего надо быть опьяненным самому. Тем, кто составляет почву и кислород литературы российской интеллигенции, необходимо преисполниться аристократической гордости: «Мы соль земли, мы украшение мира», — как пелось в гимне матмеха ЛГУ, где я когда-то учился. Эта гордость вовсе не требует нескромности в быту: истинный аристократ духа предельно жестко оценивает свои личные доблести и безоговорочно уважает в себе лишь «породу» — те ценности и критерии, которые — и благодаря ему тоже — перейдут будущим поколениям. Говоря упрощенно, я значительное лицо только потому, что боготворю Толстого и Пушкина. А если я покорюсь чужим мифам, я совершу предательство — отдам в равнодушные руки то, что было доверено именно мне.

Гордыня этого рода, пожалуй, могла бы произвести на свет какой-нибудь миф, способный захватить и посторонних. Я думаю, российской интеллигенции пора наконец перестать чувствовать себя заступницей широких масс — или по крайней мере предаваться этому не в ущерб своей особой миссии, которую вместо нее не выполнит никто. В области же культуры — в сфере хотя бы того же книжного рынка — эта миссия решительно расходится с интересами массы: высшие достижения потому и называются высшими, что доступны немногим, оттого и защищать их по доброй

воле всегда будут немногие. А массы и сами сумеют за себя постоять: что-нибудь сметут, перекроют, низвергнут, пока не вынесут наверх какую-то новую — политическую, но не духовную — элиту, духовная же будет в лучшем случае растворена, а в худшем — уничтожена. Колибри не стоит самоотверженно защищать слона — пусть лучше она постарается сохранить и развить доставшуюся ей по наследству красоту. От этого обе стороны только выиграют, ибо то самое свойство, которое обуславливает величайшие взлеты духа — тяготение к крайностям, — до крайности опасно в реальной политике, требующей компромиссов и компромиссов тысячи противоборствующих одинаково необходимых начал.

Сказанное вовсе не означает, что литературная элита должна замкнуться в секту, — результатом был бы мертвенный академизм. Толпы, поглощающие увлекательную для них макулатуру, — это все-таки наш резерв. Между человеком, читающим Пруста, и человеком, читающим Маринину, лежит пропасть. Но между ними обоими и человеком, вовсе ничего не читающим либо ищущим в книгах исключительно «информации», — бездна. Самая серьезная опасность для литературы — перерождение ее главного потребителя, человека фантазирующего, в человека прагматического, ибо человека отличает от животного вовсе не умение использовать орудия труда — многие животные орудуя ими очень изобретательно, — а способность относиться к плодам своей фантазии как к реальным предметам — и даже гораздо более серьезно. Человек же прагматический, всерьез интересующийся только реальностью, никогда не станет чем-то жертвовать, чтобы сохранить в нашем воображении какого-нибудь Дон Кихота или Гамлета, которых и на свете-то никогда не было. В борьбе с человеком прагматическим даже человек некультурный, но фантазирующий может оказаться «попутчиком». Как его задействовать и не быть при этом им раздавленным — вот вопрос. Но перебежчики из этого стана в стан культуры часто являют собой самые жизнеспособные элементы элиты.



Апрель

1.4.1969

В этот день открылся IX съезд Компартии Китая, на котором было официально заявлено о том, что «культурная революция» закончена. Это значило, что пришел к концу один из самых трагических и причудливых периодов в истории человечества.

2.4.1982

Аргентинские вооруженные силы заняли Фолклендские (Мальвинские) острова. Факт сам по себе вряд ли заслуживающий особого упоминания, тем более что соперничество за эти острова между Аргентиной и Великобританией длилось к тому моменту почти сто пятьдесят лет. Куда важнее события, следовавшие затем. Бросок британских войск, их высадка на островах и недвусмысленное превосходство показывают, сколь относительны в XX веке понятия «пространство» и «время». Они покоряются при помощи технологий. Расположенная в непосредственной близости Аргентина проиграла вооруженный конфликт стране, отдаленной на многие тысячи километров, но с более развитой экономикой и лучше оснащенной. На земном шаре перестали существовать «отдаленные точки». Прежде огромный мир сжался до размеров теннисного мяча.

3.4.1913

Английская суфражистка Эммелин Панкхерст была признана виновной в подстрекательстве. Она убеждала своих сторонников заложить взрывчатку в лондонской резиденции тогдашнего министра финансов Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа. Эммелин Панкхерст была осуждена на три года заключения. Министерство внутренних дел запретило все публичные митинги суфражисток. Борьба за равноправие при помощи оружия и террора, то бишь средств подавления, постепенно делалась явлением все более привычным, даже обыденным.

4.4.1946

Врач Марсель Петю приговорен к смертной казни за убийство двадцати семи человек (что было доказано), хотя сам признался, что на его совести шестьдесят три жертвы. Во время оккупации Франции немецкими войсками он предлагал тем, кому грозила опасность (чаще всего евреям), за определенную плату помочь покинуть страну. Используя яд или ядовитый газ, он умерщвлял своих жертв, тела которых затем бросал в негашеную известь. Хотя личностью доктора Петю заинтересовались еще немецкие власти, они не смогли предъявить ему каких-либо обвинений, подкрепленных доказательствами. А к тому времени, когда неопровержимые доказательства были (пусть и по случайности) обнаружены, доктор Петю успел скрыться. Он появился лишь после освобождения Франции. Более того, появился в военной форме, которую носили участники Сопrotивления. И все же доктор Петю был арестован, предстал перед судом и после вынесения приговора гильотинирован. Интересно даже не то, что, по слухам, в результате своих преступных действий он приобрел состояние, превышающее полтора миллиона долларов. Интересен маскарад, разыгранный доктором. Форму участника Сопrotивления он надел вряд ли только из маскировки. В действиях Петю чувствуется некая метафоричность. Он и вправду сопротивлялся историческим обстоятельствам — предлагал своим жертвам способ побега. От угрозы смерти они спасались смертью (так поступают и самоубийцы, однако без посторонней помощи). Предполагают, будто Марсель Петю был садистом — плотно пригнанные двойные двери его кабинета, за которыми и умирала жертва, были снабжены специальным глазком, дававшим возможность наблюдать за происходящим внутри. И все-таки странной кажется сама очертания докторского кабинета, спланированного в виде треугольника. Хотя бы уже потому, что треугольник в иуда-

изме и христианстве является знаком Бога. Но судьи не вдавались в такие подробности, да и что бы это могло изменить. Убийство — всегда убийство, возмнил ли себя человек Богом или же дьяволом.

5.4.1989

Базирующаяся в Лондоне благотворительная организация Мэри Стопс выступила с необычной инициативой. Парам всякий раз, когда они вступают в половую связь, было предложено жертвовать по 25 пенсов на помощь странам третьего мира. Таким образом, «скальпель Оккама» как бы поворачивался своей тупой стороной. А свобода сексуального порыва вводилась в рамки причинно-следственной зависимости, получала некий материальный эквивалент.

6.4.1965

Первый коммерческий спутник связи, названный «Эрли Берд» («Ранняя пташка»), был запущен Соединенными Штатами. Возможность свободного обмена информацией напрямую связывалась с благосостоянием носителя информации. Иными словами, право говорить обеспечивалось богатством. Бедности оставалось одно право — молчать.

7.4.1943

В швейцарской лаборатории Альбертом Хоффманом был впервые синтезирован диэтиламид лизергиновой кислоты — ЛСД, ставший одним из главных символов современной мифологии.

8.4.1986

Американский киноактер и кинорежиссер Клинт Иствуд был избран мэром города Кармела (Калифорния, США). Вряд ли тут имели какое-либо значение политические взгляды и пристрастия самого Иствуда. Но наверняка на мнение избирателей повлияли роли, сыгранные им в кино. Он играл смелых, сильных и упорных людей, до последнего отстаивающих свои позиции. Это и Человек Без Имени в «спагетти-вестернах» Серджио Леоне, и Грязный Гарри в фильме Дона Сигела. Если бы те же избиратели судили по фильмам, которые Иствуд ставил в качестве режиссера, неизвестно, завоевал бы он хотя бы минимум электората. «Сыграй мне «Туманно» или «Непрощенный» — фильмы почти изысканные, в них отразились и тонкость душевного склада, и высокий интеллект режиссера (качества явно излишние для мэра города). Но об Иствуде судили по тому, что очевидно, а не по тому, что скрыто.

9.4.1905

Скандал, разыгравшийся на представлении оперы Н. Римского-Корсакова «Кашей Бессмертной», — пример того, как интенсивно воспринимают современные люди природу символа, порою находя символику там, где ее вовсе нет. Царство Кашея почему-то ассоциировалось с царской Россией, а сам Кашей — с обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым. Любопытно, что оперу (преьера которой состоялась тремя годами раньше) сейчас восприняли одинаково и зрители, и полиция, предложившая немедленно очистить театр.

10.4.1924

В Нью-Йорке опубликована первая книга кроссвордов. Таким образом, книжная культура теряла свои позиции, а книга из сферы чистого интеллекта переходила в сферу прикладную, делалась частью повседневности.

11.4.1902

Фред Гайсбург из граммофонной компании сделал первые записи Карузо, получившего по тем временам неслыханный аванс в размере ста фунтов. Главное — создать прецедент. Пройдет время, и Карузо получит за свои записи опять-таки неслыханный гонорар (в совокупности более миллиона фунтов). Он и здесь стал первым — никто до него подобных гонораров не получал.

12.4.1961

Советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток» обогнул земной шар и приземлился, пробыв в космосе 1 час 48 минут. Факт, не требующий комментариев, разве лирическое отступление по ходу дела. Юрий Карлович Олеша любил рассказывать придуманную им историю. На каком-то очередном банкете или торжественном заседании, где чествовали героя, Гагарин осторожно нагнул к сидящему рядом Хрущеву и сказал ему на ухо, чтобы никто не слышал: «Никита Сергеевич, а Земля-то плоская!»

13.4.1943

Германия заявила, что под Смоленском, в Катynie, обнаружено массовое захоронение. Это тела четырех тысяч польских офицеров, которые были расстреляны в 1940 году НКВД. Советский Союз твердо стоял на своем и перекладывал вину на фашистскую Германию. Справедливость обвинения будет признана только сорок семь лет спустя.

14.4.1930

Покончил с собой В. В. Маяковский. То, что это было не убийство (как ныне утверждают), а самоубийство, легко понять по тексту предсмертного письма. Сейчас не к месту рассуждать о причинах такого поступка. Был ли этот выстрел вызовом действительности или же побегом от нее, в данном случае все равно. Но вот как восприняли эту смерть другие — очень важно. Это было похоже на день объявления войны, записано в одном личном дневнике. Стоит добавить: Маяковский был одним из первых, павших на той войне.

15.4.1988

Северокорейский президент Ким Ир Сен отпраздновал свой очередной день рождения. В общей сложности он получил сорок три тысячи подарков, в том числе машину. Вероятно, самым приятным подарком стал перевод на арабский язык книги создателя теории чучхе «Движение неприсоединения как мощная антиимпериалистическая революционная сила нашего времени». Иногда кажется: сколь мало надо сильным мира сего для того, чтобы испытать неподдельную радость. Загвоздка в том, что радостью хочется поделиться с другими. Например, в обязательном порядке обучить всех граждан своей страны арабскому языку, дабы они могли оценить красоты перевода, сравнивая его с оригиналом.

16.4.1934

Учреждено звание Героя Советского Союза. Создание разного рода государственных наград и званий уточняет, делает определеннее, то бишь облекает плотью, идеалы данного общества, формулирует нравственные критерии, положенные в основу государства, не просто при помощи слов, но и на языке ритуала.

17.4.1912

Реальное событие, постепенно обросшее, окутанное мифологическими смыслами. В этот день подавлено выступление рабочих сибирских золотых приисков. 270 человек убито. Считается, будто псевдоним «Ленин» взят в память о Ленском расстреле. Сущий вздор. Но не вздорно желание истолковать каждую подробность, связанную с тем или иным мифологическим персонажем либо объектом. Между тем личность и поведение Ильича во многом непоследовательны и алогичны. В том-то и заключалась его сила.

18.4.1927

Начал свою работу IV съезд Советов, на котором утвержден принцип пятилетнего планирования. Достойна пристального интереса именно выбранная единица отсчета. Когда пятилетка впоследствии оказалась на время заменена хрущевской семилеткой, подобная замена была и проста, и оправдана. Семь — сакральная цифра. Но пятерка — что это? Половина круглого десятка? Попытка новой сакрализации? Единица, связанная с мануальным счислением? Загадка, которую мог бы разгадать сфинкс, лежащий где-нибудь возле Спасских ворот.

19.4.1988

Китайское радио впервые стало передавать западную поп-музыку. Репертуар был довольно широк, включал и Гленна Миллера, и Мадонну. Однако «Рок вокруг Бетховена» оказался запрещенным как проявление неуважения к великому композитору. Скорее всего в основе такого запрета лежала неосознанная борьба с подделками.

20.4.1902

На выставке в Париже впервые широко представлен стиль арт-нуво. Казалось, будто и новый век придет под знаком декоративности.

21.4.1901

Огюст Роден шокировал Париж, выставив своего полуобнаженного «Виктора Гюго». Скульптура затем экспонировалась в Гранд Паласе. Художественного кода, в пределах которого можно было бы истолковать роденовскую скульптуру, пока не существовало.

22.4.1915

Немцы впервые использовали хлор в качестве отравляющего вещества на Западном фронте в Ипре. Это еще не знаменитый иприт, а пробы и пробы не совсем удачные. Атакующие рассчитывали, что жертв окажется значительно больше.

23.4.1932

Вышло постановление ЦК партии «О перестройке литературно-художественных организаций». Существовавшие организации распускались, вместо них создавались централизованные союзы — писателей, архитекторов, композиторов. Начинаясь фантазмагория социалистического реализма.

24.4.1980

Попытка американской администрации освободить заложников, которые около полугода находились в посольстве США в Тегеране, провалилась. Диверсионная группа, высадившаяся в Иране, так ничего и не смогла сделать. Вьетнамский синдром стал переживаться еще острее. Лечение больной психики нации затянется надолго и обойдется во много десятков убитых и раненых в разных точках земного шара. Психотерапия по-американски не закончена и поныне: Ирак и Югославия — проекция тех же болезненных комплексов нездоровой психики целой страны.

25.4.1989

Бывшая кинозвезда фильмов в категории «горячее порно», член парламента Италии Илона Сталлер, более известная как Чиччолина, находясь на родине в Венгрии, выпустила символического белого голубя, чтобы отметить вывод из страны советских танков. Голубь не улетел, а сел тут же, на дороге, и его раздавил танк, возглавлявший колонну. Так смерть птицы оказалась вдвойне символичной. Хотя отчасти происходящее походило на гран-гиньоль.

26.4.1986

Взрыв на Чернобыльской АЭС. Последствия катастрофы в полной мере неясны и поныне. Запоздание, с которым власти сообщили о случившемся, свидетельствует и о полном бессилии властных структур, и о какой-то детской наивности их (наивность — не обязательно положительное свойство).

27.4.1978

В Афганистане произошел государственный переворот. К власти пришел Таракки и афганская коммунистическая партия. Это стало отправной точкой долгой афганской войны. Войны локальной и в отличие от больших войн не объединяющей общество, а разрушающей его. При локальных войнах кто-то действует, а кто-то остается пассивным наблюдателем, вуайеристом (имеющим в дальнейшем возможность откреститься от происходящего, утверждать, что он ни при чем). Вуайеризм, опасность которого тогда не заметили, в полную силу развился во время штурма Белого дома, войны в Чечне и т. п. Наблюдатели, спокойно прогуливавшиеся с собаками и рассматривающие, как из пушек расстреливают здание, где сидят — хорошие ли, плохие — десятки людей, наблюдатели, расположившиеся у телевизора, чтобы посмотреть репортаж из горячей точки, — симптоматичные фигуры. Но не учитывается то, что наблюдателям, вуайеристам, постоянно следует обновлять впечатления, впрыскивать новую, большую дозу зрелища. Ведь к зрелищам привыкают, словно к лекарствам.

28.4.1987

Было официально объявлено, что в течение первых шести недель более трех тысяч жаб прошли по специальному жабьему туннелю на Хенлион-Темз. Этот туннель, прорытый между лесами, уменьшил на девяносто пять процентов количество жаб, погибших при переходе дороги.

29.4.1987

Музыкальная постановка «Кабаре» в лондонском театре «Стрэнд» проходила без музыки. Оркестр объявил забастовку после того, как пять оркестрантов были уволены. Прежде чем стороны договорились о перемирии, до тех пор состоялось два представления, во время которых оркестр молчал. Сомнительно, и все же хочется верить, что забастовки музыкантов и артистов не менее действенны, чем шахтерские.

30.4.1945

Самоубийство Гитлера.

Алексей ВЛАСЕНКО

Категория «ужасного» в эстетике Волошина

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД

Я хочу только бросить горсть новых идей — и посмотреть, как они взойдут... Пусть читатель найдет собственные — и тогда он будет считать эти мысли своими. И только тогда они дадут всходы.

Максимилиан Волошин

13 января 1913 года в Москве, в Третьяковской галерее, был совершен акт вандализма: некто Абрам Балашов с криком «Довольно крови!» порезал картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» (1885). Из хора голосов, солидарных в своем крайнем возмущении, выделялся один. Это был голос Максимилиана Волошина, который возвысил его с целью защитить Человека.

Хроникально события «репинской истории» (именно так в своих мемуарах Волошин озаглавил этот эпизод) развивались в следующем порядке:

13 января, как уже было сказано, Балашов буквально исполосовал картину.

Уже на следующий день, 14 января, Репин обвинил представителей нового искусства (художников группы «Бубновый валет») в том, что они *подкупили* Балашова.

16 января в газете «Утро России» Волошин публикует статью «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина». В ней, «заранее подписавшись под всеми формулами выражения сочувствия и протеста», автор сосредотачивается на анализе *психологической* стороны происшествия. «Я совершенно сознательно,— подчеркивает он,— говорю — психологической, а не патологической, потому что меня интересует вовсе не степень душевной болезни Абрама Балашова, а тот магнит, который привлек его именно к этой, а не к иной картине». Перед этим Балашов простоял довольно долго перед картиной Сурикова «Боярыня Морозова», «но на нее он не покусился».

Многokrатно повторенные публичные обвинения Репина (о подкупе Балашова) Волошин принимает и на свой счет «как участник прошлогодних диспутов об искусстве». Ответить на эти обвинения он считает своим долгом.

Волошин выбирает форму лекции-диспута. 12 февраля 1913 года он читает в Политехническом музее публичную лекцию «О художественной ценности пострадавшей картины Репина».

После прошедшего в Политехническом музее диспута литературное имя Волошина было предано общественной обструкции. Запись в «Автобиографии»: «В 1913 году моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для моих статей закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам».

Такова, повторим, основная хронологическая канва общественного резонанса, вызванного поступком Балашова. Остановимся подробнее на публичном выступлении Волошина. Сама лекция, прочитанная им в Политехническом, явилась, по сути дела, развитием мыслей, которые были представлены докладчиком уже в упомянутой газетной публикации от 16 января. Она заканчивалась утверждением: «Поступок

Абрама Балашова никак нельзя принять за акт банального музейного вандализма. Он обусловлен, он непосредственно вызван художественной сущностью репинской картины». Узнав перед лекцией, что в аудитории находится сам мэтр, Волошин поднялся к Репину на верх амфитеатра, поблагодарил его за личное присутствие. «Мне гораздо приятнее, — записал он позднее, — высказать мои обвинения против вашей картины вам в глаза, чем вы стали бы потом узнавать их из газетных передач». Психологически атмосфера диспута вполне походила на дуэль. На предупреждение Волошина, что нападки его будут корректны, но жестоки, Репин сухо ответил: «Я нападков не боюсь. Я привык». Затем они пожали друг другу руку, и Волошин, спустившись вниз, начал говорить.

Прежде всего он остановился на объяснении не частных, но общественных мотивов, заставивших его публично выступить. Как только выяснилось, что картину возможно восстановить в прежнем виде, все слова «о национальном бедствии и национальном трауре», по мысли лектора, «превратились из бескорыстного сочувствия в настоящую художественную опасность». Именно в силу этого обстоятельства «обсуждение вопроса об истинной художественной ценности пострадавшей картины Репина стало настоятельно необходимым».

Итак, если в газетной статье Волошин особое внимание уделил психологической стороне происшедшего, то в лекции он поставил себе более трудную задачу: через эстетический анализ картины Репина обосновать *психологическую предопределенность* экстатического поступка Балашова. Для этого, по мысли докладчика, необходимо прежде всего разграничить такие понятия, как *реализм* и *натурализм*, стоящие подчас очень близко и в силу этого обстоятельства «сбивающие при определении категорий искусства». Эта задача, по крайней мере теоретически, вполне выполнима. Слово «реализм», развивая далее свою мысль Волошин, происходит от корня «ges» — вещь (в широком смысле — реальность), то есть под «реализмом» вполне закономерно будет понимать «изучение внешних свойств и качеств вещей» и — через это — «познание законов, образующих вещи». «Натурализм» же происходит от слова «naturalis» (то есть натуральный, естественный) и «в пластических искусствах схожий с природой, напоминающий природу». Таким образом, «реализм создает вещи, которых раньше не существовало, потому что творит согласно открытым им законам, по которым образуются вещи», а «натурализм повторяет вещи, уже существующие, ищет только внешнего сходства». Реализм в искусстве, заключает Волошин, при своем углублении «приводит к идеализму в платоновском смысле, то есть в каждой переходящей случайной вещи ищет ее сущность, ее идею». Натурализм же лишь накапливает факты и образы без всякого отбора. «Это простое копирование природы вне всякого обобщения... Портрет — реален. Фотография — натуральна».

Переходя далее к анализу собственно репинской картины, Волошин обнаруживает, что она отмечена ярко выраженными чертами натурализма: опрокинутое кресло в углу картины указывает на то, что была борьба (Репину, видимо, важна была эта художественная деталь, подчеркивающая драматическую непоправимость случившегося); однако возникает вопрос: «Как могло быть опрокинуто такое низкое, широкое и тяжелое кресло одним движением внезапно вставшего Иоанна?»; композиционный центр всей картины — глаза Иоанна, но и они неестественно расширены и круглы, как глаза женщины, «страдающей базедовой болезнью»; Волошин указывает на изображение раны царевича, как «на образец анатомической ошибки», ссылаясь при этом на авторитетное мнение профессора медицины: при такой ране в висок «крови не может вытечь больше полустакана», на картине же ее изображено в избытке (вспомним балашовское: «Довольно крови!»). «И хотя она только что пролита, она успела уже стать черной и запекшейся»; нереальность, сценическую условность происходящего, по мысли лектора, подчеркивают и схематически пририсованные к лицам фигуры.

Волошин предлагает проделать следующий эксперимент: закройте мысленно лицо Иоанна и его левую руку — и что же? «Закрывши лица, по фигурам и по всем остальным деталям этого большого холста» нельзя решить в точности, что же здесь происходит. И так далее и тому подобное...

Все эти рассмотренные малореальные (а подчас и физиологически невозможные) детали картины написаны художником «в высшей степени натурально, преувеличенно-неестественно, и этим производят впечатление». Следовательно, стремление к вызывающей, нарочитой натуралистичности изображаемого могло быть для Репина художественной задачей: достигнуть «потрясающего впечатления». А если художник добивается такого эффекта, то не все ли равно, вправе спросить мы, каки-

ми средствами это достигнуто? На заданный вопрос надо ответить отрицательно. Нет! Для Волошина не все равно, потому что душевные эмоции могут быть вызываемы не только произведениями искусства. Например, несчастный случай в нашей обыденной жизни может произвести «не менее сильное впечатление, чем картина Репина». Волошин не устает настаивать: «Потрясающее впечатление — еще не признак художественности». Далее он, несколько лет проработавший парижским корреспондентом газеты «Русь», дает пронизательную характеристику европейской жизни: «В Европе за последние четверть века создалась известная, но вполне определенная жажда ужасного. Эту психологическую потребность обслуживают газетные хроники несчастных случаев и самоубийств... Фотографические снимки «женщин, разрезанных на куски» и портреты гильотинированных весьма дополняют впечатление. Синемаграфы обслуживают то же самое любопытство к сырым фактам жизни... Вся эта полоса перечисленных зрелищ является наиболее чистым выражением современного натурализма. Их единственная цель быть внешне похожими на жизнь; повторять ужасы, множить их, делать общедоступными и популярными». И все это для того, чтобы вызывать все более и более сильные душевные эмоции, произвести потрясающее впечатление. Это — «наркотики ужаса».

Волошин ставит необычайно важный для него вопрос: «Где же черта, отделяющая Достоевского от уголовного романа, трагедию — от театра ужасов?» И сам же отвечает: «Вся разница — в подходе». Объяснимся. Спор, который ведет со своими оппонентами Волошин, не сродни эвристическим заключениям. Для него этот спор не «духовное фехтование» в шопенгауэровском смысле, потому что в логике волошинских построений определяющее место отводится духовному выбору Человека, его нравственному поступку, причастности «страдательному опыту». «Вся разница — в подходе» потому, что, по Волошину, безусловно, *нравственнее быть самому жертвою, чем свидетелем несчастья, если нет возможности оказать активную помощь*. «Естественная, — утверждает Волошин (понимай: нравственная), — мысль свидетеля: лучше это было бы со мной». Поэтому, «если художнику удастся изобразить несчастье с такими подробностями и так похоже, что оно кажется совсем сходным с действительностью, — тем хуже: вызванное сочувствие и ужас обессиливающим бременем ложатся на душу зрителя». «Особое впечатление тупой безвыходности, тупого ужаса» — вот что остается в душе после таких произведений. «Оно (это чувство. — **А. В.**), — заключает Волошин, — с полной достоверностью говорит о том, что в данном случае автор не преодолел ужаса, не был сам героем своего произведения, а был лишь безвольным и жалким свидетелем...»

Теперь необходимо сформулировать центральный вопрос волошинского доклада: какова роль категории «ужасного» в действительном (не мнимо натуралистическом!) произведении искусства? Она, оказывается, к очень многому обязывает автора (художника, писателя), так как, по мысли докладчика, «изображать ужас имеет право лишь тот, кто сам в себе преодолел его», то есть стал духовно сильнее и богаче «на всю величину пережитого». В противном случае «искусство становится отравленным источником, рассадником самоубийств». *Лишь преодоленный ужас дает автору «личный страдательный опыт», который, в свою очередь, предостерегает его от «игры в слова», от «ужасающей натуралистичности*, — такой вывод мы могли бы сделать, прослушав лекцию в Политехническом.

В качестве образца подобной меры художественного такта Волошин (еще в первой публикации от 16 января) приводит картину Сурикова «Утро стрелецкой казни» (1881), написанную, заметим, четыремя годами ранее репинского «Иоанна». Сам сюжет картины — массовая казнь стрельцов — казалось бы, давал более чем достаточно оснований добиться «потрясающего впечатления». Однако Сурикову хватило художественного такта и мастерства: не изображая вовсе кровопролития, он сумел дать «строгий и сдержанный пафос смерти». «Ужасное» в искусстве не должно проявлять себя натуралистически явно, но только лишь опосредованно, через восприятие его духовно зрелой личностью автора. Иначе говоря, «ужасное» как эстетическая категория не должно иметь материального выражения (ни пластического, ни дискурсивного), но может быть лишь рефлексивно реконструируемо в эмоциональной сфере зрителя (читателя, слушателя) в меру его нравственного опыта и духовного возраста.

«Зло, принесенное репинским «Иоанном» за 30 лет, — делает вывод Волошин, — велико. Репин был предтечей и провозвестником всего того, что теперь так пышно разрослось в романы о сыщиках, в театры ужасов и в литературу Леонида

Андреева*. Он больше, чем кто-либо, способствовал той путанице понятий реального и натурального, которая господствовала в нашем искусстве». Это заключение, безусловно, прозвучало вызывающе резко. Сам художник по досадному недоразумению не нашелся, что ответить, и, произнеся прежде: «Балашов — дурак, и такого дурака, конечно, легко подкупить», — спешно покинул аудиторию. Зато газеты не преминули вступить за «гениального Репина».

«...то обстоятельство, что все диспутанты до сих пор находятся на свободе, — писал «Московский листок», — следует объяснить лишь чрезвычайным переполнением помещений на Канатчиковой даче. По Сеньке и шапка». «Стоит посмотреть, — читаем в другой газете, — хотя бы как изображен тот же Максимилиан (неприменно Максимилиан, Максима ему мало) Волошин с его физиономией кучера, но в «костюме богов», в котором он расхаживает целое лето по крымским окрестностям... чтобы почувствовать себя в мире карикатур». В «Русском слове» отмечали: «Г. Волошин всегда верен самому себе: г. Волошину всегда нужно только одно — покочетничать перед публикой новыми взглядами и словечками». «Меня, — пишет автор очередной корреспонденции о прошедшем диспуте, — вовсе не интересует, признает ли г. Волошин Репина-художника, который в течение более сорока лет стоял во главе русского искусства, создав в нем эру, или ему угодно считать его за бездарного маляра, — мнение г. Волошина меня мало интересует просто потому, что я не знаю, какие у г. Волошина права на то, чтобы провозглашать в области живописи свои приговоры». Возражение, бесспорно, серьезное.

Что оставалось делать Волошину в этой ситуации; ему, «ожидавшему ответа по существу»? Он предпринимает последнюю попытку объяснить свою позицию и свое понимание случившегося: собирает вместе все материалы по этому вопросу и издает отдельной книжкой в частном издательстве «Оле-Лукойе», организованном Цветаевой и Эфроном**.

Но на этом «репинская история» не закончилась. Она логически завершилась, как нам представляется, по крайней мере лет семь спустя, в декабре 1920 года, в зимней, застывшей Феодиссии, когда Волошин стал свидетелем массовых расстрелов, производимых там; а также в период «красного террора», объявленного весной 1921 года в Симферополе. По данным Волошина, в Крыму под командованием Белы Куна «за первую зиму было расстреляно 96 тысяч на 800 тысяч всего населения, то есть через 8-го» (из письма Волошина к Кандаурову от 15 июля 1922 г.). Обо всем этом он знал как очевидец. В августе 1921 года Волошин с горькой иронией писал М. Петровой: «Современность доходит до меня в виде угроз: знакомые и друзья считают долгом осведомлять меня о разговорах, ведо́мых по моему адресу. По очереди все меня предупреждают: «Берегитесь Чека — она очень настроена против вас и непременно вас арестуют как сочувствующего белым». А с другой стороны: «Ну, как только будет перемена, мы расправимся с Волошиным в первую голову. Он еще заплатит за свой большевизм... Приятно родиться поэтом в России...»

Как-то в своей работе о Сурикове Волошин прозорливо отметил: «Обычно судьба, когда ей надо выплавить из человека большого художника, поступает так: она рождает его наделенным такими жизненными и действенными возможностями, что ему их не изжить и в десяток жизней. А затем она старательно запирает вокруг него все выходы к действию, оставляя свободной только узкую щель мечты, и, сложив руки, спокойно ожидает, что будет»***. Теперь мы могли бы повторить: обычно судьба, когда ей надо выплавить из человека духовную личность, помещает его, тонко чувствующего и эстетически развитого, в ужас чрезвычайек, тифозных бара-

* Волошин прежде всего имеет в виду рассказ Л. Андреева «Красный смех» (впервые опубликован в «Сборнике товарищества «Знание» за 1904 год», кн. 3, СПб., 1905, посвященном памяти А. П. Чехова). Андреев предпринимает, по его собственным словам, «дерзостную попытку, сидя в Грузинах» (Грузинская улица в Москве, где в то время в Средне-Тишинском переулке жил Андреев. — А. В.), дать психологию настоящей войны. Вересаев, участник русско-японской войны, в своих мемуарах не мог скрыть иронии по этому поводу: «Мы читали «Красный смех» под Мукденом, под гром орудий и взрывы снарядов, и — смеялись. Настолько неверен основной тон рассказа: упущена из виду самая страшная и самая спасительная особенность человека — способность ко всему привыкать. «Красный смех» — произведение большого художника-неврастеника, больно и страстно переживающего войну через газетную корреспонденцию о ней» (Вересаев В. В. Собрание сочинений в 4-х тт. М., Правда, 1985, т. 3, с. 384).

** Волошин М. А. О Репине. М., книгоиздательство «Оле-Лукойе», 1913.

*** Волошин Максимилиан. «Путник по вселенным». М., 1990, с. 200. Волошин начал писать монографию о Сурикове в январе 1913 г. Она была заказана ему И. Э. Грабарем для серии «Русские художники. Собрание иллюстрированных монографий». Работа была закончена в сентябре 1916 г. и опубликована в том же году.

ков, в окружение каннибалов. Затем она оставляет ему свободной только узкую щель нравственного выбора и, сложив руки, спокойно ожидает, что он будет делать, этот человек, который когда-то так красиво рассуждал о реализме, об ответственности художника, о «страдательном опыте». *Что он будет делать?!!*

И тогда во мраке страха и отчаянья человек начинает творить молитву...

Из письма к Е. Я. Эфрон (25 мая 1923 г.): «Времена террора провел все время лицом к лицу с истребителями, живя с ними в одной квартире. Тут-то и понял всю силу молитвы (когда молишься не за жертву, а за палачей), так как она на глазах может преображать человека». Нельзя не упомянуть также и еще одно характернейшее признание Волошина: «...не все молитвы доходят потому только, что не всегда тот, кто молится, знает, за что и о чем надо молиться. Молятся обычно за того, кому грозит расстрел. И это неверно: молиться надо за того, от кого зависит расстрел и от кого исходит приказ о казни. Потому что из двух персонажей — убийцы и жертвы — в наибольшей опасности (моральной) находится именно палач, а совсем не жертва. Поэтому всегда надо молиться за палачей — и в результатах можно не сомневаться».

Молитва одолевала Ужас. И только затем рождалось *слово*. Слово, еще слово... Так складывались поэтические строки, но не «обессиливающим бременем» ложатся они на нашу душу; вам не найти в них «тупой безвыходности»:

Потомкам (во время террора)

Кто передаст потомкам нашу повесть?
 Ни записи, ни мысли, ни слова
 К ним не дойдут: все знаки слижет пламя
 И выест кровь слепые письмена.
 Но, может быть, благоговейно память
 Случайный стих изустно сохранит.
 Никто из вас не ведал то, что мы
 Изжили до конца, вкусили полной мерой:
 Свидетели великого распада —
 Мы видели безумья целых рас,
 Крушенья царств, косматые светила,
 Прообразы Последнего Суда:
 Мы пережили Илиады войн
 И Апокалипсисы Революций.

Мы вышли в путь в закатной славе века,
 В последний час всемирной тишины,
 Когда слова о зверствах и о войнах
 Казались всем неповторимой сказкой.
 Но мрак, и брань, и мор, и трус, и глад
 Застигли нас посередине дороги:
 Разверзлись хляби душ и недра жизни,
 И нас слизнул ночной водоворот.
 Стал человек один другому — дьявол,
 Кровь — спайкой душ, борьба за жизнь — законом
 И долгом — месть.

Но мы не покорились:
 Ослушники законов естества —
 В себе самих укрыли наше солнце,
 На дне темниц мы выносили силу
 Неодолимую любви, и в пытках
 Мы выучились верить и молиться
 За палачей. Мы поняли, что каждый
 Есть пленный ангел в дьявольской личине,
 В огне застенок выплавили радость
 О преосуществленьи человека
 И никогда не грезили прекрасней
 И пламенней его последних судеб.

Далекие потомки наши, знайте,
Что если вы живете во вселенной,
Где каждая частица вещества
С другою слита жертвенной любовью
И человечеством преодолен
Закон необходимости и смерти,—
То в этом мире есть и наша доля!

1921

Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932), поэт, художник, критик, который когда-то лишь умозрительно декларировал целостность морального поступка и художественной оценки, в час испытания имел мужество прожить свою жизнь *в неразрывном единстве жертвенного выбора и его нравственно-эстетической мотивации*. Этот факт его личной биографии есть не только последний и неопровержимый аргумент в былом споре, но и духовное завещание нам.



Игорь Иртеньев — зеркало русской капиталистической революции

К современному стилю жизни относится привычка смеяться при любых обстоятельствах.

М. Ларни

Кончался век, XX век,
Мело, мело во все пределы.
Что характерно, падал снег,
Причем, что интересно, белый.

Причем, что интересно, упомянутый снег падает именно в наше время: попробуйте заменить в первой строке XX век на любое смежное столетие — и строфа сразу рассыплется. Но и без обозначения номера столетия чувствуется, что поэзия Иртеньева стилем, интонацией целиком вписана в сегодняшнее российское пространство — редкий в постперестроечное время пример гармонии поэта с окружающей средой.

Вообще в искусстве попадают в *свое* время без драматических коллизий лишь редкие счастливыцы. Менее удачливых обстоятельства вынуждают подстраиваться, эволюционировать вместе с исторической генеральной линией (хрестоматийное: «Наступал на горло собственной песне»). У одних авторов это получается, другие эволюционируют вяло, без огонька. Они просто пишут, как *Бог на душу положил*, и терпеливо ждут, не пожелает ли окружающее их время-пространство измениться таким образом, чтобы художник оказался необходимым своим вдруг прозревшим современникам. Такая вот рулетка от искусства. И шансов выиграть в нее у Иртеньева в годы его поэтического ученичества и первых выходов «на публику» практически не было. Переполненным комплексами советской полноценности гражданам поэты иронического направления были не очень-то интересны.

Это было время, когда мы, окруженные лучшими в мире советскими пограничными войсками, не страдали боязнью замкнутого пространства, потому что какое же оно замкнутое, если есть третье измерение: высота? Высота космоса, духа... Высота поэзии наконец. Помните, как открылись вдруг нам Цветаева, Мандельштам, Ахматова, Гумилев? А проза, прекрасная русская проза из небытия... Какой же это был насыщенный импульс духовной энергии, доставшейся нашему поколению то ли по халатности, то ли в силу излишней самоуверенности Главных Пограничников.

Да, вскоре они спохватились, приняли меры. Но было поздно, потому что, как учили нас супруги Пёрышкины (авторы популярного учебника физики для средней советской школы. — С. А.), импульс силы равен-таки изменению количества движения: толчок — и пошла новая поросль писателей и поэтов. Гордых тем, что в стране закончилось время большой лжи, и терпимых ко лжи, немногим меньшей. Ниспровергателей — в частностях и конформистов — в главном: они продолжали верить в Город Солнца, ведь партия исправила досадные ошибки в проекте. От громадьи планов кружилась голова, хорошим тоном считались раздумчивые беседы с Вечностью, Космосом...

Звезды тогдашнего поэтического небосклона собирали стадионы любителей изящной словесности. Поэты — счастливыцы, востребованные своими несвободными от иллюзий современниками всерьез и, казалось, надолго. Заметим, что на весь этот советский «пир духа» падали уже отблески третьего тысячелетия. Мания величия

среди поэтов любого калибра числилась тогда по разряду профзаболеваний и обыкновенно не сопровождалась госпитализацией. Словом:

Какое время было, блин!
Какие люди были, что ты!
О них не сложено былин,
Зато остались анекдоты.

А что же наш герой «...на фоне мощного пейзажа»?

Иртеньев с самого начала расположился чуть в стороне от бурного тогда поэтического потока, так и не попытавшись вступить в более-менее интимные отношения с Астралом, Вечностью и прочими, столь привлекательными для его собратьев по перу субстанциями.

Если кто на спину мне бы
Присобачил два крыла,
Я б летал себе по небу
Наподобие орла.
Я бы реял над планетой,
Гордый пасынок стихий...

Страна развитого социализма ждала от своих поэтов других полетов. В звенящую высь! А Иртеньев, сами видите...

Упаси меня Бог выставить поэта этаким бойцом невидимого антитоталитарного фронта. Да нет же, просто «каждый пишет, как и дышит, не стараясь угодить» (если бы только действительно — каждый). В конце концов во все времена у жанрового множества существуют бесперспективные окраины, а значит, и художники, там пребывающие. И не всегда в силу малости таланта или отсутствия честолюбия. Чаще за странным их выбором — интуиция, предчувствие перемен, которые приведут к новым жанровым приоритетам.

Но это легко сказать: перемены. А каково ожидать их в суперстабильной советской империи? Тем неожиданнее:

Вот и настало оно, время великих свершений,
Вот и настало оно, вот и настало оно...

Заря капитализма взошла над разом *одемократичавшей* Россией. Страна прощалась со сказкой о Городе Солнца, прощалась с прошлым, в котором:

Какие мощные умы
Торили путь каким идеям,
А что теперь имеем мы?
А ничего мы не имеем.

«Ничего» — это, конечно, сказано поэтом в полемическом задоре. Кое-что имеем, но список российских постперестроечных потерь действительно велик. В их числе — поэзия. Точнее, потеряна не поэзия, а читатели тех стихов, что «на разрыв аорты». Потому что когда бывший посетитель поэтических вечеров вырвался расхристаным из горнила революционных капиталистических сражений и побрел в сторону родного очага, улыбаясь «нагловатой улыбкой обесчещенного» (Ф. Искандер), он мог уже воспринимать только очень прозаические категории.

Сегодня на бесконечных российских книжных развалах стихотворные сборники — большая редкость. Рынок... Он знает потребности «лучших в мире читателей» и потому стихов им не предлагает. Почти не предлагает; исключения есть. Вот ведь стихи И. Иртеньева в наше смутное время издают, покупают, читают...

«Ну и что? — возразят усталые организаторы семинара «Похороны современной российской поэзии». — Иртеньев — это ирония, секция сатиры и юмора, прямо по коридору — в сторону секции детской литературы». Хорошо, пройдемте по указанному адресу, где теоретики глубокомысленно разъяснят нам, что ирония — отрицание в гуманной упаковке — выходит на первые роли тогда, когда всерьез — нелепо, или страшно, или просто неловко как-то.

Представьте, задумал бы Иртеньев — гражданин обновленной России — написать высоким стилем Оду русской святыне — Красной площади. Пятистопным ямбом, да так, что по прочтении ее сограждане преисполнились бы гордостью за свою державу. Набрасывается план поэмы, но в это время сублинный немецкий юноша по фамилии Руст опошляет весь патриотический замысел до полного неприличия. Красную площадь переименовывают в *Шереметьево-3*, а пристыженный Иртеньев пишет:

..Кружит адово страшило,
Ищет, где ловчее сесть.
Клим Ефремыч Ворошилов,
Заступись за нашу честь!

Острой шашкою своею
Порази врага Руси,
Чтоб не смог у Мавзолея
Супостат раскрыть шасси.

<.....>

Но безмолвствуют герои,
Крепок их могильный сон...
Над притихшею Москвою
Тень простер Армагеддон.

Забавно, правда? Ирония позволяет сегодня сохранить лицо не только поэту, но и его читателям. Ведь если у большинства строителей Города Солнца не получилось быть умными «до», понятно их желание задним числом обзавестись *ретроспективным* ироническим взглядом. Жаль только (или к счастью), что ирония, как и взятый напрокат смокинг, к лицу далеко не каждому гражданину.

Но мы отвлеклись от поисков темы для Оды. А если о борцах за обновленную Россию? В советском искусстве тема эта была раскрыта, мы все знаем — как. Правда, в годы оттепели отмечались попытки ревизии краеугольного постулата «Отдай жизнь за Родину и партию» мыслями, глубоко чуждыми советской ментальности. Например: всякая человеческая жизнь — священна. Спорный тезис этот, как и любую диковинку с Запада, восприняли у нас поначалу с добродушным любопытством, даже подискутировали немного. Но тут начались в стране катаклизмы: от застоя к полному переделу собственности, с четким преискурантом цей жизнью наших сограждан в \$ или другой СКВ по курсу ММВБ на день исполнения заказа киллером.

В результате мысль о бесценности человеческой жизни так и не прижилась на российской почве. Представители самого передового отряда борцов за движимость и недвижимость могут рассчитывать в случае чего на пышные похороны с разгульными поминками для всей братвы, на дорогие рукотворные памятники. А вот оды «со слезой» памяти этих прогрессивных ребят поэты не больно-то пишут. Стесняются...

Творческий же метод Иртеньева позволяет ему и в деликатном жанре эпитафии отразить жизнь «в формах самой жизни», пусть не «на разрыв аорты», но все-таки помянуть и Юного кооператора, убитого при всем честном народе из бандитского ружья, и иных героев, потому что:

...Ряды героев поредели
В течение считанных недель.
Друзья, мне страшно за Фиделя,
Скажи, ты жив еще, Фидель?

Я не могу без седуксена
В тревожной мгле сомкнуть очей,
Все представляю Ким Ир Сена
В кровавых лапах палачей.

На этом хочу закончить свое похвальное слово иронии как универсальному методу отображения сегодняшней российской жизни. Была еще мысль для большей солидности трансформировать разрозненные наблюдения в *тенденцию*: взять звезд сегодняшнего книжного рынка Вен. Ерофеева, Ю. Алешковского, С. Довлатова, И. Губермана и, конечно, Иртеньева — да и объединить их в группу (любимое занятие чекистов и критиков) *иронических пост-нео-...-реалистов*. От опрометчивого шага в глубины теории уберег меня не кто иной, как Иртенев. У него есть стихотворение «Землекоп» с такими вот строчками:

...Русоволосый, конопатый,
Предрасположенный к вину.
Сжимая верную лопату,
Кряхтя, уходит в глубину...

В *глубину* идти под воздействием столь яркого образа мне сразу расхотелось. Зато на поверхности этих заметок, помимо моей воли, проступила огорчительная мысль: ирония, более чем любой другой литературный прием, есть художественно оформленная неуверенность в себе и окружающем мире. В этом заключены сила и слабость стилистического приема, прививающего иммунитет сразу и от глупости, и от дерзких художественных открытий. Ирония не самодостаточна. Но это уже проблема не стили, а тех, кто его придерживается. Да и проблема ли это, если нарушение стилиевых границ ненаказуемо?

Вот и Иртеньев, устав от вопиющей бескрылости своего лирического героя, нет-нет да и воспаряет над родной землей со всеми ее внешними революционными водами:

Летит по воздуху орел,
Расправив дерзостные крылья,
Его никто не изобрел,
Он плод свободного усилья.
В пути не ведая преград,
Летит вперед,
На солнце глядя,
Он солнца брат
И ветра брат,
А самых честных правил — дядя.
Какая сила в нем и стать!
Как от него простором веет!
Пусть кто-то учится летать,
А он давно уже умеет.
Подобно вольному стиху —
Могуч, но малопредсказуем —
Летит он гордо наверху,
А мир любуется внизу им.
Но что ему презренный мир,
Его надежды и страданья?
Он — одинокий пассажир
На верхней полке мирозданья.

Замечательно серьезные стихи... почти серьезные; и орел — птица с российско-го герба. Уж не эскиз ли это Оды во славу возрожденной державы? Если так, то поэт, думаю, на правильном пути. Ирония обречена в конце концов занять подобающее ей в благополучных странах место на периферии жанрового пространства. Дело за малым: за благополучной, процветающей Россией. А пока:

...Грядет в стране великий голод,
Гудят подземные толчки,
Тупеет серп,
Ржавеет молот,
Хрустят разбитые очки.
Лишь я, не изменив присяге,
Судьбой прикованный к перу,
Забив на все,
Слагаю саги
На диком вечности ветру.



О П О Н И М А Н И И

Книга Льва Аннинского «Серебро и чернь. Русское, советское, славянское, всемирное в поэзии Серебряного века» (М., «Книжный сад») попала ко мне поздновато, как вообще нередко доходят сегодня к читателю подобные книги. Но тема ее если и не вневременная, то, во всяком случае, рассчитана для обсуждения не на один-два года.

Книга Аннинского написана и напечатана в рамках проекта «Учебники нового поколения» Института «Открытое общество». То есть перед нами не просто очередная книга известного критика, но — учебное пособие, рассчитанное на учителя и ученика.

Однако Аннинский не был бы Аннинским, когда бы не начал свой труд изрядным зарядом дискуссионности, казалось бы, взрывающим изнутри всякое представление о нормальном учебнике. Провокативность книги явствует из названия, еще и усиленного подзаголовком: понятие «серебра» как бы дважды «затемняется», лишается изысканности; и если название в отдельности еще можно воспринять «изысканно» («серебро с чернью»), то подзаголовок с его неожиданным элементом «советского» все решительно меняет: за «чернью» видится уже то, что видели поэты XIX века, — «толпа». «Серебро» и «чернь» благодаря подзаголовку начинают враждовать.

Для человека, мало-мальски знакомого с советской и нынешней ситуацией в системе школьного обучения литературе, тотчас становится понятным, что и провокация здесь будет двойная. Вообразите себе типичного провинциального учителя-словесника 11-го класса... Женщина средних лет, но скорее — далеко запенсионного возраста. Ученики читать ничего не хотят, так как они уже выключены из старой доброй системы, когда читать в советских семьях *заставляли*.

Раньше в последних классах изучали «советское» и заставляли его читать — вроде как было положено. За последние лет десять публицисты-«демократы» без устали объясняли учителям, чего они, бедные, лишились и лишали своих учеников. На место Горького пришел Набоков, на место Островского — Газданов. Серебряный век, Русское зарубежье обрушились на учителей подобно лавине, справиться с которой они не в состоянии. А тут еще появляется Аннинский и вновь путает карты. Оказывается, «советское» заложено было еще в Серебряном веке. Две лавины сходятся вместе, и выбраться из этой ситуации уже не представляется решительно никакой возможности. Что делать бедным учителям?

Ответ, конечно, ясен, как дважды два. Читать, думать... Сопоставлять разные точки зрения. Приучать делать то же своих учеников.

Все, однако, не так просто...

Вот характерный пример из начала века. В 1905 г. вождем и организатором новых направлений в искусстве — Сергеем Дягилевым — была предпринята небывалая акция: он собрал по всей России три тысячи живописных портретов XVIII века, составил подробный каталог и выставил в Таврическом дворце на общее обозрение в окружении фарфора и мебели той же эпохи. Цель акции была не только показать значение XVIII века для истории живописи, но и подчеркнуть преемственность нового и старого искусства. Выставка имела огромный успех; однако в одном из своих публичных выступлений Дягилев сказал следующее: «...мы живем в страшную пору перелома, мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой мудрости... Мы — свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой, неведомой культуры, которая нами возникнет, но и нас же отменит.

А потому, без страха и недоверья, я подымаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов, так же как и за новые заветы новой эстетики».

Внимательно вслушайтесь в эти слова и попытайтесь оценить ситуацию. Крупнейший знаток мировой культуры и богатейший человек России (выходец из среды богатых пермских промышленников) поднимает бокал за разрушение дворцов «во имя новой, неведомой культуры», которая его же и «отметет»! И вы поймете, что понятие «декадана» в начале века вовсе не совпадало с буквальным значением этого слова — «упадничество». Культура в это время находилась не в упадке, но в высшей точке своего цветения, что было подготовлено еще XIX веком, но именно в начале XX сошлось как бы в едином фокусе. В частности, в поэзии произошел настоящий «взрыв» новых имен и течений (символизм, акмеизм, футуризм, крестьянская поэзия). То же самое происходило в театре, живописи, философии. И все это имело материальную поддержку со стороны русского капитализма, который в начале века как бы «дозрел» до осознания необходимости культурного развития России.

В наивысшей точке культурного развития и рождается «декаданс», понятие «усталости от культуры», которое с особенной силой выразил Блок в своих поздних статьях и стихах:

Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда...

Как это могло быть?

Нам это сложно понять. Но наиболее чуткие люди Серебряного века считали «неправильным» такой буйный рост культуры, которого сами же и были участниками. Они жили ощущением страшного разлада между своей культурой и жизнью России, которая в то время все еще оставалась страной крестьянской; и основная масса населения этой страны не имела своего голоса в культуре Серебряного века. И оттого собственная страна, в которой они родились и жили, представлялась людям культуры таинственным Сфинксом, который молчит, но однажды скажет свое слово, и это слово посеет бурю.

Именно пребывая «в высшей точке развития», русская культура прониклась ощущением своего «конца», своей избыточной сложности и изощренности на фоне гигантской, непонятной крестьянской страны, жившей по своим законам и не имевшей с этой культурой никаких точек соприкосновения. Революция казалась неизбежной. За ней должны были наступить новая эпоха и новая культура, в которой представители Серебряного века пытались заранее определить свое место, но часто понимали, что этого места просто нет, что революция их «отметет». И тем не менее они приветствовали ее; больше того — делали все, чтобы она случилась быстрее...

Почти невозможно разобраться, что здесь было первичным и что вторичным: «бытие» или «сознание»? Серебряный век отличался крайним субъективизмом восприятия мира; в это время необычайной популярностью пользуются философия идеализма, оккультные учения, визионерство, антропософия и т. п. «Реальное» отношение к действительности испытывает серьезнейший кризис; и это заметно не только в лагере символистов, но и в стане новых реалистов: в творчестве Горького, Куприна, Леонида Андреева. Литература перестает быть правдивым отражением реальности и выражает скорее внутренние, субъективные переживания интеллигенции.

Жизнь и искусство обычно разделены какими-то границами. В искусстве присутствует элемент игры, условности. В жизни все серьезно, основательно, реалистично. Серебряный век размыл эти границы. В своем бытовом поведении люди Серебряного века «играли»; однако в это время искусство всерьез определяло и их судьбы, и жизнь целой страны. Среди самых жестоких чекистов были бывшие поэты-декаденты (Держинский, Менжинский), о чем поведал в своих эмигрантских очерках Роман Гуль. Казалось бы, ни о чем не говорящий факт. Но случаен ли он? Случайно ли то, что крупный советский партийный и государственный деятель Г. В. Чичерин, подписавший от имени пришедших к власти большевиков знаменитый Брестский мир с Германией, до революции был ближайшим другом и «мистическим корреспондентом» поэта-декадента Мих. Кузмина, одного из самых ревностных посетителей философских вечеров на Башне Вяч. Иванова и автора красочных театрализованных представлений в «Бродячей собаке»? Случайно ли, что наиболее талантливым приверженцем революционной идеологии стал поэт-футурист Маяковский, до революции шокировавший публику своей желтой кофтой и вполне по-«декадентски» отразивший распад городской цивилизации в поэме «Облако в штанах»?

Если посмотреть внимательно, карнавальнй характер эпохи имел самые серьезные последствия, каким-то боком отразившись в кроваво-карнавальном характере революции с бесчисленными «переменами ролей», когда вчерашний матрос становился вершителем судеб, а почтенный профессор падал до состояния нищего. Иван Бунин в своем дневнике под названием «Окаянные дни» обратил внимание на роковую связь революционного террора с шутовской манерой жизни писателей.

Лев Аннинский играет «наоборот», искусственно внедряя «советское» в Серебряный век. Сам по себе этот принцип, возможно, и оправдан художественно, но едва ли вполне историчен да и просто корректен. Уместнее говорить о «серебряном» в «советском». Откуда пошла брань в неистовой рапповской критике? Не от Андрея ли Белого, писавшего о своих братьях-писателях — «обозная сволочь»? Не от Дмитрия ли Мережковского, обвинявшего Леонида Андреева в «реакционности» (статья «В обезьяньих лапах»)? Разве не «карнавальными» были наши писательские съезды? Разве не чувствуется горьковатый привкус «декаданса» в фигуре Николая Островского? Поразительно, но в это же время другой, «тенево́й» «Николай Островский» — поэт и критик Серебряного века Борис Садовской — в подвале Новодевичьего монастыря, умирая от сифилиса и свято веруя в Бога (!), писал монархический роман «Пшеница и плевелы» (опубликован «Новым миром» лишь в 90-е годы) — писал с той же неистовой страстью и непререкаемым убеждением в последней правоте.

Книга Льва Аннинского заставляет думать об этом. Читать ее интересно. Значит, интеллектуальная провокация удалась. Но волей-неволей приходит мысль: а ведь и сам Аннинский — наследник *той* эпохи. И оттого с такой настойчивостью тянет нас «назад», в «проклятые вопросы», от которых Россия старательно освобождается. От которых, кажется, уже свободно новое поколение — тех самых одиннадцатиклассников, которые *не читают* либо читают совсем *не так*, как Лев Аннинский. Я-то его — *еще понимаю!*



Пол КАРТЕР, Роджер ХАЙФИЛД. ЭЙНШТЕЙН. Частная жизнь. М., «Захаров», «АСТ», 1998. Тир. 11 000 экз.

Книга открывает серию скандальных жизнеописаний (также вышли биография леди Черчилль и автобиографическое сочинение Марии Арбатовой, решившей к сорока годам подвести некоторые итоги и поделиться выводами с публикой). Показательно, что тайная жизнь человека многослойна и открывается вовсе не сразу. Так, когда книга об Эйнштейне была уже переведена и подготовлена к публикации, появились новые, самые неожиданные подробности его частного существования. Оказывается, в пятидесятых годах (а может, и в сороковых) у него был бурный роман с советской шпионкой, выполнявшей особое задание. В чем задание заключалось, предстать трудно. Возможно лишь фантазировать. Вдруг любвеобильный Эйнштейн попал в поле деятельности русской разведки еще тогда, когда разрабатывал основы теории относительности, и сама теория, подсказанная ему извне, должна была шокировать и тем ослабить западную цивилизацию, что, собственно, в некотором роде и произошло? И тогда, по окончании второй мировой войны, наступил очередной момент воздействовать на западное сознание, и без того растерянное и не находящее опоры в этом страшном мире. К сожалению, постаревший Эйнштейн был не способен выдумать что-либо новое, а потому его пассия одновременно разыгрывала роман с другим великим физиком — Оппенгеймером. Тот как раз трудился над созданием ядерного оружия (а чего не сделаешь ради любви!).

Виктор КРИВУЛИН. ОХОТА НА МАМОНТА. СПб., «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 1998. Тир. 1500 экз.

Автор заранее уточняет жанр своей книги: «...это прежде всего охота. Но не на косматого доисторического зверя, а на время, совсем недавнее время, которое выщелается за нашими спинами как некая неосмысленная, живая гора. Гора мяса, крови и шерсти». Как все изменилось. О. Мандельштам писал о другой охоте — век-волкодав бросался ему на плечи, борьба с ним грозила смертью. Здесь же на время и вправду устраивают облаву, как на мамонта, гоняют до тех пор, пока оно не рухнет в яму, и тут, словно мамонта, добивают камнями и палками. Такого рода воспоминаний, где время беспомощно перед хитростью и решительностью людей, появилось огромное множество. Задним числом сводить с прошедшим счеты опасно, его и впрямь легко истребить, как мамонтов или бизонов. И времени больше не станет. Азарт охоты не искушает греха убийства.

Пауль ЦЕЛАН. СТИХОТВОРЕНИЯ. Киев, «Гамаюн», 1998. Тир. 300 экз.

Хотя такой сборник давно необходим, можно сказать, что на сей раз он не состоялся. Вряд ли похожи на целановские стихи строки вроде этих:

Рута что ли, то ли мята
по-за домом не примята.

Скорее это вольная вариация на тему из Виктора Бокова:

Лето-мята,
Лето-лен,
Я-то, я-то,
Я влюблен.

Цитата приведена на память, но не очень отличается от оригинала. По крайней мере в ней заметен и почерк стихотворца, и определенная доля поэзии, чего не хватает в переводах, составивших этот сборник. Между тем Целана переводили — и переводили удачно (то есть переводы становились фактом русской поэзии):

Париж-кораблик в рюмке стал на якорь.
Я пью с тобой и за тебя так долго,
что почернело сердце, и Париж
плывет на собственной слезе — так долго,
от нас укрыли дальние туманы
от мира, где любое «Ты» — как ветка,
а я на ней качаюсь, словно лист.

Эти строки не только возможно читать, их возможно перечитывать (высшая степень приятия стихов).

Освальд ШПЕНГЛЕР. ЗАКАТ ЕВРОПЫ. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. М., «Мысль», 1998. Тир. 12 000 экз.

Это скорее не научный трактат, а цикл стихотворений в прозе, перемежающихся теоретическими рассуждениями, каковые служат в качестве композиционных связок. «В существе животного заложена некая двойственность. Растение лишь растение, но животное — это растение плюс что-то еще. Стадо, которое, чуя опасность, сбивается в плотный сгусток, ребенок, который с плачем виснет на матери, отчаявшийся человек, который ищет убежища в своем Боге,— все они желают возвратиться из бытия на свободе назад, в то связанное, растительное, из которого были отпущены в одиночество»,— любая философская концепция неизбежно проигрывает рядом с такими фрагментами (они самодостаточны).

Я. Э. ГОЛОСОВКЕР. ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ СЕКРЕТ. Томск, «Воледей», 1998. Тир. 1000 экз.

«Сожженный роман» начинается фразой: «В апрельскую пасхальную ночь, в годы нэпа, в Москве, из Психейного дома таинственно исчез один из самых загадочных психейно-больных, записанный в домовый книгу под именем Иисус». Не в самом сюжете, но и в интонации прозы, ее поступи, слышится нечто знакомое. Булгаковский роман вряд ли бы состоялся без этого сочинения. Между тем Яков Эммануилович Голосовкер вовсе не беллетрист. Определение, данное себе самим творцом, наиболее точное из возможных, ибо он (вольно либо невольно) использует слова и понятия, наиболее полно описывающие его судьбу и деяния. Автобиографию Голосовкер назвал «Миф моей жизни», и следует рассматривать сочиненное или переведенное им как единую мифологию, где автор присутствует в качестве одного из мифологических персонажей. Не учитывая этого, вряд ли стоит читать и книгу о логике мифа, и трактат о Достоевском и Канте, и исследование, посвященное лермонтовской прозе, и переводы античной лирики. По той же причине ошибкой было бы сопоставлять «Мастера и Маргариту» с «Сожженным романом». Так картина, хранящаяся в музее (даже в запаснике), и та же картина, напечатанная на почтовой марке, суть произведения разные.

Лидия ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ. ТРИДЦАТЬ ТРИ УРОДА. М., «Аграф», 1999. Тир. 3500 экз.

Загадочная фраза из аннотации требует пояснений: «В России издается впервые». Что, собственно, подразумевают издатели? И повесть, давшая название книге, и сборник рассказов «Трагический зверинец» давно известны, и публикуются они по дореволюционным книгам, вышедшим именно в России. Может быть, имеется в виду, так сказать, «новая Россия»? Но тогда вряд ли стоит стараться. Кто станет читать старую повесть о лесбийской любви, снабженную культурологическими комментариями? Только явные извращенцы: «Утром увидела ее ноги. У Веры ноги прекраснее моих. Они прекраснее даже ее плеч божественных. Она спала. Я стала на колени у ее постели. Целовала их богомольно». Надо же такое придумать! Нормальный человек пойдет и купит книгу из серии «Бульвар крутой эротики» или замечательную брошюру «Попка по имени Оля», что будет свидетельствовать о его духовном здоровье, не нуждающемся в каких бы то ни было комментариях и примечаниях.

Жак ДЕРРИДА. ЭССЕ ОБ ИМЕНИ. М., «Институт экспериментальной социологии», СПб., «Алетейя», 1998. Тир. 2000 экз.

Очередной спекулятивный труд (столь типичный для французской культуры в целом), устанавливающий произвольные связи между явлениями и воздвигающий некую расплывчатую, оттого и глубокомысленную концепцию. Смысл таких книг можно охарактеризовать хрестоматийной фразой: «Если книжечка эта вышла, следовательно, где-то сидит и ее читатель», единственно заменив последнее слово на слово «автор». Подобные книги должны свидетельствовать о присутствии их сочинителя в культуре.

Александр МАЙКАПАР. НОВЫЙ ЗАВЕТ В ИСКУССТВЕ. Очерки иконографии западного искусства. М., «КРОН-ПРЕСС», 1998. Тир. 10 000 экз.

Тема этой монографии много шире, чем скромно заявленное в подзаголовке. Предмет рассмотрения не столько живопись, сколько весь мир Нового Завета, его герои, страсти, перипетии. Должная выступать в качестве справочного пособия, эта книга сопротивляется беглому пролистыванию, она — для неспешного чтения.

Б. ФИЛЕВСКИЙ.

*В мае журналу «Октябрь»
исполняется 75 лет.*

*Читайте в пятом,
юбилейном номере*

ПРОЗУ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ АВТОРОВ:

Юрия БУЙДЫ, Юнны МОРИЦ, Олега
ПАВЛОВА, Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Евгения ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА,
Михаила РОЩИНА, Сергея ЮРСКОГО.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*В 1999 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Григорий КАНОВИЧ. **Шелест срубленных деревьев.** Повесть.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Последняя газета.** Роман.

Владимир КРАКОВСКИЙ. **Стрельба холостыми из самопала и револьвера.** Повесть.

Михаил ЛЕВИТИН. **Чешский студент.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Лабиринт.** Рассказы.

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Понедельник роз.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Владислава ОТРОШЕНКО, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.
